

180717

ОКТАБРЬ
1944г.
N.9.

Октябрь

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

№ 9

О Г И З
Государственное издательство художественной литературы

1944

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

Лето

I

Идет ручьи ручьев и речек
Взбродит вольнолюбивым тесны.
В туман вышел март-разведчик
Бескать дорогу для весны.

Он знает, что здесь, по Приднепровью,
Среды войны еще свежи,
Что ватушкой впрохом и кровью
Безмолвными рубежи.

Премат, проливных нет в долине,
Он должен сам везде пройти,
Чтоб где-нибудь на вражьем мнне
Но звончавая весна в пути.

У него жас сухие губы,
Нелегкая предвещая день,
И застыло солнышко срубю
На вершинах деревень.

С утра в сумки пелся пылы,
Нервношаркались шпоры...
И вдруг он почувал: солнышко сны
Земля твоя до поры!

И там, где после жасной схватки
Тышь четкая плакала навзрыд,—
Или он может без оглядки
Повсюду путь прямой открыт.

И на стальной, в стороне
Звонком блиндажа,
Прида он на краю воронки,
Тонким легучим дорожка.

Еще от снега было сыро,
Тучка пронизывает пасмурно,
Но солнышко солгоренье мира,
Он это видел, началось!

II

В прозрачном воздухе апрельском
Зари далекая жена.
Шумят грачи по перелескам,
К реке спускается весна.

Идет, ступая ооз облачки,
Пред ней, затоптанные в ирах.
Ржавлеют вражеские каски,
И тлеют кости на буграх.

Ей видеть весело, смуглянке,
Простор, распахнутый вокруг.
Как ни промсают землю тучки—
Все снова выравнивает плуг!

Она спешит до пологолья,
Но тропкам сократила путь,
Нешком проити свои уголья
И на деревни завернуть.

День от ее улыбки светел,
Просторно небо, даль жепала...
А бригадир весну приметит
И поджидает у окна.

Он скажет ей с веряливой лаской,
Улы сечье терсбя:
«Не зря в бригаде партизанской
Я с немцем бодлся за тебя!

Колочей проволокой ржавой
Тебя враги не оплетут!
Иди ж, гонясь своей терскастой,
И будь хозяйкой полной тут!»

И, сдвинув брови, смотрит зорко
Туда, где в гомоне грачей
Весна спускается с пригорка
И вслед за ней спешит ручей!

— не даст — помахнет благосклонно
Она в окошке — не просрочь! —
На асфальту из ралона
Лицом прохожая точь-в-точь!

III

Земля соридами изрыта,
Черна, как скорбная жена,
И приторженная ракета
Вся до корней обожжена.

Но верь —
на этом перекрестке
Звезды связующая нить!
Здесь
каждый шаг твой даст отростка
В неистребимой жажде жить!

Все ратенны и все вороны
Залезт зеленая трава,
Вновь будут птичьи песни звонки,
Беззвучна неба синькова.

IV

Смоет дальний отгул боя,
И над всем прифронтовым
Светит небо голубое,
За своей сапкой тает дым.

Нет ветром, теплым и упругим
Воздухом жизнью зацветет,
И в поле довушка за плугом
В один день войны идет.

Нет так легко босой подошвой
Коснуться сапальной борозды
И увидеть, как в сосащей роте
Или в штыке дрозды.

Варихра, почувствовать впервые
В первом залпы тишины,
Что скоро вехом, яровые
Завтра здесь следы войны.

И ты, жена на поле боя,
А ты на минуту затерлась,
Вспомнишь в дилно ее худое,
Знай — за что ты любишь жизнь!

V

В одну всеобщую за дубровой,
И в копнам счет луна ведет,
Вздохнул поля золотобровый
И стер со щеки горячий пот.

В последний раз ему зорянка
Поет в малиннике густом,
Как просыпался спозаранку
Он под рабитовым кустом.

Как ночь, в полод набрав туману,
Старалась скрыться поскорей,
Когда слезил он на поляну
К ночному стану косарей.

А на стану, в тени березки,
Что песням утренним сестра,
Сидели русые подростки
У догоревшего костра.

И он не знал, что делать с ними,
Как выводить их на прокос, —
Таким над плесами лесными
Ловить бы солнечных стрекоз.

Их захлеснут густые травы
И обжгут в цветные сны.
Но собрались не для забавы
Сюда солдатские сыны!

Для них, прица дорогой дашной
Из-за дымящейся ремя,
Заря наполнила малиной
Берестяные кузовки.

Для них в потемках петушиных,
Допли матеря коров,
Чтоб в ушках глиняных кувшиках
Им скорый завтрак был готов.

И по-мужски расправив плеча,
И сдвинув брови по-мужски,
За всех, кто близко и далеко,
Они шагали вдоль реки.

Топтался день у переправы,
Просил кулик испить воды,
И под косой дожидать травы
В крутые ровные ряды.

И вот, на пойме за дубровой,
Где копнам счет луна ведет,
Вздохнул поля золотобровый
И стер со щеки горячий пот.

У ног его туман распластан,
Над ним сквозная сымега —
С открытым серпом вырвется он
Сегодня августу права.

А завтра утром спозаранку
Его не будет под кустом
В последний раз ему зорянка
Поет в малиннике густом.

VI

Когда за речкой над калиной
Дрожит рассвет, росой пыля,
Под переплеск перепелиный
Выходит август на поля.

Проходит он по звездной кромке,
Цо. теплой тропке тишины,
Где отгремевших битв обломки,
Как сон вчерашний, не страшны.

Покуда ночь не раскололась,
Рассвет не вышел за гумно,—
Он должен взвесить каждый колос,
Проверить каждое зерно.

А колос рос четороплевко,
Он в пору вызрел и окреп,
Зерно отменного налива,
Духмян и сытен будет хлеб.

Хозяйка вспомнит, вынимая
Пирог из печки расписной,
И голубые лавки мая,
И золотой июльский эпой.

Хозяин скажет, с шальной чаркой
К столу широкому шприсев:
«Давно ли после битвы жаркой,
И вышел в поле на посев!..»

Не быль становится бытвной,
Где зерна с пеплом пополам...
Нет переплеск перепелиный
Проходит август по полям.

VII

Закат в полях открыл ворота
У поворота большака.
Вокруг высокого омера,
Толкаясь, бродят облака.

Дымок курится над овняном,
Завиться в ниточку готов,

Из сада тянет духом винным
Опавших листьев и плодов.

Теснятся сумерки к забору,
Сторонкой пятясь от луны,
И вечера в такую пору,
Бак песни девичьи, длинны.

Уж протрубили время сбора
Грачи за речкой у ольхи,
И ждут невесты: скоро, скоро
Домой вернутся женихи!

Они, в походах вспоминая
Родные палки и дуга,
Дошли до синего Дуная
По следу черному врага.

А те, кто в путь их снаряжали
И провожали до реки,
Косили травы, жито жали
И вышивали рушники.

И, как заведено во веки,
Твердя любимых имена,
Они наполняли сусеки
Текучим золотом зерна.

Здесь над золой пережженного,
В тени седящих раковит,—
Для доброй встречи все готово,
И дом открыт и стол накрыт.

Не опуская долу взора,
Проходит осень вдоль стрехи.
Невесты верят — скоро, скоро
Вернутся с фронта жёныхи.

Навстречу сердце им послать бы,
— Иди, зарю с зарей сблизжай!

Да будет год богат на свадьбы,
Как был богат на урожай.

Четвертое лето

И день и ночь и сутки прочь.
Последние заслоны пали
Мы в зное боя день и ночь
На этот город наступали.

Лежит ташкетка на боку,
Опалена дыханьем тола,
Глядятя в светлую реку,
Сквозь зелень, башенки костела.

У ближних западных застав
Еще судачат автоматы.
Но, в рост над пожелавшем встав,
По городу идут солдаты.

Они идут сквозь едкий дым
По набережной на рассвете.

Из-за руин навстречу им
Выходят женщины и дети.

И гладит волосы детей
Гвардейский старшина усатый.
Нет благородней и святей
Отцовской нежности солдата.

Она чиста, она ясна,
Как это солнце в дымной раме.
Гордись, родимая страна,
Своими смелыми сынами.

Они, свершая правый суд,
Идут на запад неуклонно
И до Берлина донесут
Твои победные знамена.



Частоболы, колючки, траншеи, рвы
От пожарниц в глазах черно.
А вокруг погляди — по полям Литвы
Наливное зреет зерно.

Нынче жито в полях в человеческий рост.
И высок, и усат ячень.
На горе село, за селом погост,
На погосте прохлала, тень.

Под крестами погоста пехотный взвод
В зное полдня разбил привал.
Он пылит по дорогам четвертый год.
Он и Волгу, и Дон знавал.

Смерть изгрызла железом его ряды,
Но живуч, упрям человек, —

Поклялись бойцы зачерпнуть воды
Из далеких немецких рек.

Взвод три года шагал сквозь дым и тьму
Позабыл и сон, и покой.
И сказали вчера, что теперь ему
До траншеи лодать рукой.

Он в поход сегодня подтяжка, чуть свет
Он идет, рассекая зной.
И на свете такого заслона нет,
Чтобы встал перед ним степой.

Он равняет шаг, суров, как судьба.
Этот все испытавший взвод.
Вдоль дорог Литвы лоднялись хлеба
И торопят его вперед.



Над хлебами битыми и мятыми
Облака белы и высокие.
Здесь когда-то бегали ребята
Красные лагтышские стрелки.

Здесь они, бездомные, батрачили.
Но не научились спины гнуть.
И отсюда, яростные, начали
Свой октябрьский легендарный путь.

С нами в ряд мы шли с восток ветер
бешеный.
И у приднепровских камышей
С нашей русской кровью братской
смешана
Кровь неукротимых латышей.

В даль зовет пехоту поле ровное,
В той дали балтийская весна.

Снова в битвах наше братство кровное
Осеяет знаменем война.

Трудная дорога нами пройдена.
Мы у грани радости стоим.
Снова все твои народы, Родина,
Соблались под знаменем твоим.

★

Я лежу в секрете за оградой,
Пули градом хлещут по стене.
Ты была мне солнцем и отрадой.
Отзовись! Письмом меня порадуй,
С письмами повадней на войне.

Третий раз весну мы встретим вместе.
Отзовись! Любимым назови!
Из далеких городских предместий

Всех скорей сюда приходят вести
По прямому проводу любви.

Не прикинешь, сколько жить на свете.
Отзовься! С ответом поспеши.
Всякое случается в секрете —
Может оборвать железный ветер
Провод озядающей души.

Мы научились отыскивать деревни, которых нет на карте и вообще нет на земле, ибо они сожжены и сравнены с землей, будто бы им прошла гусеница гигантского танка... Научились ценить тепло крохотной земляники с железной печкой и спать сидя и стоя, спать в шферекской кабине и в кузове, на обледенелых сварядных ящиках, на словых ветках, брошенных прямо в снег...

Научились знакомиться с людьми и вступать с ними в дружбу с первого слова... Мы многое пережили и многому научились.

В ту зиму наш фронт наступал. Был сделан прорыв и взято много деревень и железнодорожных станций силами кавалерийского корпуса генерала Гусева.

Наша войска двигалась по линии железной дороги, соединяющей Москву с Ленинградом. Глубина фронта равнялась расстоянию между двумя станциями на этой дороге. «Стрела» проходила это расстояние за час с четвертью. Сейчас тысячи вооруженных людей, тысячи орудий и бронепоезда штурмовали эти несколько десятков километров.

Многих названий деревень и станций, в которых теперь заключался для нас такой огромный смысл, я раньше и не знал.

Для нас слово «Ленинград» не было только географическим обозначением. Оно приобрело значение лозунга. Оно стало синонимом слова «жизнь».

Среди нас было много ленинградцев. Они изредка получали письма отсюда. В тот вечер письмо из Ленинграда получал Губин. Он читал его, держа на коленях и опустив голову.

«...И Женя умерла, и Галя умерла, а мама еще не умерла, но наверное, умрет на днях, потому что ей очень плохо... — прочел Губин вслух, и рот его стал толквом, как всегда, когда он волновался: — и не можешь ли ты написать нам немного лука...»

И не получал писем из Ленинграда. Я не знаю — почему. Там жила женщина, которая значила для меня больше всех остальных людей. В свободное время мы часто писали друг другу. Я приезжал к ней по нескольку раз в год. Она встречала меня на московском вокзале и брала из моих рук маленький чемодан. У нас не было бурных встреч, мы встречались так, как будто вчера лишь расстались. Иногда мы шли и пей, за Нарвскую заставу, где жила ее мать и маленькая дочка, но чаще ко мне. Мы садились на подножку, раскрывали окно, если это было весной или летом, и смотрели на Пискацкий и на широкую площадь. Мы не ездили на

Ее звали Лида. Я перестал получать от нее письма с декабря. Я почувствовал себя так, как будто всю жизнь летал и вдруг упал на землю. Все вокруг меня еще летело куда-то из инерции, но я стоял на месте. Я отправил много писем ей и ее знакомым — ответа не приходило. Я думал: «Завтра, ну еще завтра, ну послезавтра...» Но ответа все не было.

Я перечитывал ее старые письма, стараясь забыть о датах, и каждый раз ее слова звучали для меня по-иному. Подумать только, что я был от нее в четырех часах езды в «Стреле». И я был совершенно беспомощен.

Когда Губин прочел отрывок из своего письма, — я вздрогнул. Мне это не приходило в голову. Я не допускал даже мысли, что именно это — причина ее молчания. Я попросил Губина дать мне прочесть все письмо. Там было много страшного. Я несколько раз перечитал подпись: чужое мне имя. В этом было естественное утешение, — убедиться, что это писала другая...

Вечером я сидел в радиорубке и слушал музыку. Передавали 6-ю симфонию Чайковского. Но я повернул рычажок и стал слушать фокстроты с машинным металлическим темпом. Под них не думалось. Потом я пошел спать.

Это было ночью. Я проснулся от грохота отодвигаемой двери. Кто-то шарил по стене, отыскивая выключатель. Зажегся свет. Приоткрыли Венцель и Губин. Они еще не сняли мешки с плеч. У них были красные разгоряченные лица, и когда они говорили, шел пар.

Венцель был, видимо, в хорошем настроении. Он стал стягивать мешок, папаяла песенку. Он пел всегда только одну песенку, вставляя в текст отсебятину. Получалось так: «Но ты уйде-шь... — куда ты уйдешь, — холо-одной и далекой... укутав сорпце, — во что, — в ме-ех и шиния-я...» В редакции его считали специалистом по юмору. Он вообще был веселым, обаятельным человеком. В него влюблялись и женщины и мужчины. У него были волосы с проседью, детское лицо и палутые губы. Ему было сорок лет. Во сне он иногда стонал и вслипывал: «Ах, мама моя...»

— Вставай, — сказал Венцель. — вставай и благодари. Он вытаскил из мешка флягу.

— Письмо получил? — спросил Губин. Он был уже навеселе.

— Нет, — ответил я.

— Ну, получай, — сказал Губин. — Печка виновата. Письма возят через Лядогу.

Водка ударила мне в голову. Мне стало легко, и все вокруг меня потеряло глубину.

— Я знаю об этом случае, — сказал Венцель, — слушай меня, я знаю. Что? Это

вот... — Он всегда вставлял «это вот» между фразами, — ты слушай меня. Я встретил одну женщину. У нее сын на фронте. Полгода не писал. А потом — бац, — десять писем подряд. Это все почта. Ты слушай меня...

Я слушал его и верил. Я верил во что угодно, кроме одного. В это я не мог поверить.

— Конечно, это почта, — сказал я.

— А теперь будем спать, — предложил Венцель.

— Нет, я сначала прочту стихи, — сказал Губин.

— Завтра прочтешь, — оборвал его Венцель.

— Нет, сегодня, — крикнул Губин.

— Пусть прочтет сегодня, — примирительно сказал я и полез к себе на полку.

Губин начал декламировать Блока. Первые строфы я слышал. А потом заснул.

★

Наш фронт не знал черных дней отступления. Мы не видели дорог, забитых людьми, и не слышали горьких вопросов жителей: «Куда же вы уходите?» Мы по колена вросли в лужи болота, и если нам трудно было идти вперед, то идти назад уже было невозможно.

У нас не было громких побед. Мы завязывали Западному и Южному фронтам, читая сводки Информбюро, но мы уверенно продвигались вперед.

В просторном, трехкомнатном блиндаже у командующего на стене висела карта нашего фронта: черная полоса показывала линию нашего фронта на 1 сентября 1941 года, красная — на 1 января 1942 года. Между полосами было значительное расстояние.

В то время всем нам казалось, что основная цель нашего фронта — прорыв блокады Ленинграда — близка. Я, зажав дыхание, слушал разговоры о вариантах соединения с армией Ленфронта. Но победа пришла гораздо позже, чем мы предполагали.

...Как-то редактор сказал, подавая мне листок бумаги: надо написать листовку. Я прочел бумагу. Это был приказ о наступлении, подписанный Военным Советом. Я написал листовку к войскам. Она заканчивалась словами: «Ленинград нас ждет, вперед к Ленинграду». Мне было очень трудно писать. Всегда трудно писать, когда чувства больше, чем слов.

Я сдал листовку редактору... Он сообщил, что наши танки прорвали оборону немцев и начали рейд по тылам противника.

— Попрошенься к танкистам? — спросил редактор.

— Попробую, — сказал я.

— С Венцелем поцелуй, — сказал редактор, — «эмку» мою возьмете. Я пошел отыскивать шофера, а Венцель стал укладываться. «Эмка» уже стояла у вагона.

Раньше это было такси. Красная вадилась «такси» еще не стерлась на переднем стекле. Фамилия шофера была Шелехов. Венцель сидел рядом с шофером, а я — в кабину, а мы тронулись.

Нас ожидал длинный путь — сто двадцать километров по отвратительной дороге. Нескандино наступило потепление. Мы уже привыкли к шуткам ленинградского климата и не удивлялись. Но стеклам кабины лениво ползли капли воды. Венцель перешел ко мне и начал рассказывать одну из своих бесконечных пограничных историй: он когда-то служил на границе. Я слушал его и смотрел в оттаявшее окно.

Нам предстояло проехать двадцать километров до реки, пересечь ее и проехать еще километров тридцать. Внезапно посыпались артиллерийские разрывы.

— По переправе бьют, — сказал Венцель.

— Почему ты думаешь, что по переправе? — спросил я.

— Не по чему им больше тут бить. Они всегда бьют по переправе.

Впереди не было машин, и мы ехали быстро. Канопа становилась все слышней.

— Вот и Городище, — сказал я. Через переднее стекло кабины уже были видны очертания разрушенных кирпичных домов. Издали городок казался огромной красной кучей.

Шофер дал газ, мы свернули с дороги, ведущей на переправу, и уже через десять минут ехали по красноватому от изрытой пыли снегу. В этом разрушенном миреке все было красным.

Немецкая артиллерия была по умолкая. Снаряды жались правее нас, где-то в районе переправы. Подул холодный ветер, начал морозить.

Было видно, как горят костры в подвалах сохранившихся домов. Я заткнул в один из подвалов. Там тоже горел костер и дружина бойцов грелась у огня.

Никто не обернулся, когда мы вошли. Бойцы сидели вокруг костра и слушали чью-то речь. Говорила женщина. Мы не видели ее лица, она сидела спиной к нам.

Мы тихо обогли круг, чтобы увидеть лицо говорившей. Это была совсем еще молодая девушка. На вид ей нельзя было быть больше семнадцати. У нее был очень высокий голос.

Через несколько минут я уже перестал слышать ее голос. Я слышал только то, о чем она говорила. Она говорила о Ленинграде. Я понял это не сразу. Она не произнесла слово «Ленинград». Она говорила «он», и мне сначала показалось, что речь идет о каком-то человеке.

Девушка говорила о бомбардировках, артиллерийских обстрелах и о пожарах в городе. Она сказала, что Гостиный двор сгорел. Гот пазад я ходил с Лидой по Гостиному двору. Она хотела купить мне вечную ручку. Она перебрала десятков ручек, прежде чем выбрала одну. Когда я попробовал писать, — ничего не вышло; ручку надо было встряхивать, как градусник, чтобы показалась капля чернил. Я потерял ее по дороге на фронт.

Наполеон девушка кончила говорить.

Я спросил, давно ли она из Ленинграда. Но девушка ответила, что никогда там и не была. Она все это только слышала и читала. Она агитатор полка и всю жизнь провела в Забайкалье.

Я почувствовал, как холодно в подвале. Пахло сыростью.

— Вот кончится война, — сказала девушка, — тогда обязательно в Ленинград поеду. А вы ленинградец? У нас в дивизии тоже есть ленинградцы. Врач. Он где-то в соседнем подвале. Хетите — пойдем к нему?

Но ~~ты~~ в одном из подвалов врача не оказалось.

Я стоял на ветру. Артиллерия замолкла. Стало совсем темно. Я не знал, для чего собственно, пишу этого врача. Я не знал, о чем буду говорить с ним. Ведь было бы бессмысленно спрашивать одного из трех миллионов ленинградцев, — не знает ли он такую-то...

И все-таки мне очень хотелось увидеть врача. Это шло уже не от разума. Мне просто хотелось увидеть перед собой ленинградца.

У подвала с мешком за плечами стоял Венцель.

— Где ты шагаешься? Надо ехать, пока перестали «долбать». — Кого ты там искал? — спросил Венцель.

— Врача, ленинградца, — ответил я.

— О ней узнать хотел?

— Нет. Откуда ему знать. Просто хотел поговорить с ленинградцем.

— Земляка ищешь? Все в армии земляков ищут. Это уж так положено. Политруки даже работу специальную проводят.

— Почему это? — спросил я.

— Что «почему»?

— Почему всем так хочется встретить человека из одной деревни, из одного города...

— Что ж тут непонятного. Хочется старое вспомнить. Как жили раньше.

— А тебе не кажется, что именно на войне особенно любишь человека. Не людей вообще, а человека.

— Ну, это уж философия, — сказал Венцель. — Где же наша машина?

В темноте мы отыскали машину. Шелехов спал. Мы разбудили его, и он с трудом завел мотор.

На переправе было пустынно. Мы съехали с пригорка и через несколько минут были на той стороне реки. Опять начала бить артиллерия. В перерывах между залпами слышались пулеметные очереди.

Теперь мы ехали по лесной опушке. Шелехов включил фару, и стало видно, как дорога уходит в темную промаду леса.

— Заяц — крикнул вдруг Шелехов.

Посреди дороги, ослепленный светом фарной лампы, сидел, прижав уши, заяц. Мы быстро приближались, и он вырастал в размерах. Потом он вдруг очнулся, сделал резкий скачок и исчез в лесу.

— Вот какой чорт! — восхищенно сказал Шелехов. Он помолчал немного и добавил: — А я письмо получил из дома. Жена спрашивает, когда война кончится. Ты, говорит, там лучше знаешь. А чего я ей отвечу?

— Надо ответить, — сказал я.

Я подумал о том, что, когда идешь в дальнюю дорогу, никогда не надо высчитывать — сколько прошел и сколько осталось: так измучаешься. Надо идти и думать о другом.

Мы ехали молча до тех пор, пока не увидели быстро приближающуюся к нам черную массу.

— Опять пробка. — сказал Венцель и выругался.

Шелехов затормозил, и я выскочил из машины.

Артиллерийские разрывы стали отглушительно громкими. По небу ползли светлые черточки трассирующих очередей. Пули как бы нехотя отрывались от земли и плыли в небо.

Впереди было какое-то движение. Видно было, как в темноте люди в полушубках сновали около машины. Шумели моторы.

Вдали показалась машина. Фары волевыми и гасли. Машина быстро приближалась. Регулировщик поднял свой фонарь и помагал им. Машина, резко тормозя, остановилась метрах в трех от нас.

— В чем там дело? — спросил я.

— Долбают, — хрипло ответил шофер. При свете «летучей мыши» я увидел его грязное, потное лицо, — по горловине долбают.

В километрах в трех от нас находилась «горловина» — самое узкое место нашего «коридора». Немцы преследовали горловину, чтобы поменять подвозу снарядов и эвакуации раненых. Я вернулся к Венцелю и рассказал ему, в чем дело.

— Поедем, — сказал, подумав, Венцель. — Проскочим. Знаю я эту обходную дорогу. Ни черта там на «эмке» не проедешь. А тут пробочник. Садись!

Манювада усиливалась.

Мы поехали со скоростью сорока километров. Машина резко подпрыгивала на ухабах. Со всех сторон слышались артиллерийские разрывы. Трассирующие пули бороздили небо, и звезды казались тусклыми. Внезапно в машине стало светло, как при вспышке магния. Справа от нас в небе повисла ракета. Она горела ровным бело-синим цветом и висела неподвижно, как лампа.

— Газуй, газуй! — крикнул я.

Но быстрее нельзя было ехать по этой дороге. Я смотрел в оттаявшее окно. Мелькнул силуэт танка. Танк стоял сбоку, у дороги. Мне казалось, что ракета никогда не погаснет. Она погасла внезапно, очевидно ее подбил наши. Снова все погрузилось во тьму. Трассирующие пули ползли совсем низко над землей. Мне показалось, что одна из них проплыла вровень с нашей машиной.

Мы молчали. Внезапно машину трянуло, я почувствовал сильный толчок и удар по голове...

...Очнувшись, я увидел, что лежу в яме. Было темно. Я поднял голову и ударился обо что-то. Я понял, что лежу под нашей «эмкой». Рядом лежал Венцель.

— Прошло? — спросил он, когда я поднял голову. — В воронку угодил. Я перетащил тебя под машину, тут спокойнее.

Я ничего не видел, но слышал частые разрывы и свист пуль.

— Голова болит? — спросил Венцель.

— Нет.

— Потом будет болеть.

— Мы долго будем так лежать? Надо хоть посмотреть обстановку, — сказал я.

— А по-моему, надо лежать, — возразил Венцель.

— Ну и долежишься, пока тебе «хенде хох» скажут.

Я стал вылезать из-под машины, Венцель помог за мной.

— Врать все равно нельзя, — сказал Шелехов нам вслепую. — Разбитор осколком пробил. Вся вода вытекла.

Со всех стороны доносились звуки боя. Там слышались выстрелы, часто, как град по стеклу.

Трудно было понять, паши это стреляют или немцы. «Очень вероятно, что немцы, — подумал я. — Они стремятся перерезать горловину». Мне показалось, что я вижу между деревьями людей в белых балахонах. Трассирующая пуля проплыла совсем низко, мимо лица Венцеля.

— Ты видишь? — спросил Венцель и лег в снег. Я лег рядом с ним. Потом я выпул наган и взвел курок. Мне снова показались люди между деревьями. Они приближались. Я уже видел очертания их автоматов, прижатых к бедру.

Потом я услышал русскую речь. Это были наши автоматчики. Очевидно, они прочесывали лес. Я спустил курок, придержав его большим пальцем, и сунул наган за борт подубока.

Справа с мягким треском лопнула ракета. Стало нестерпимо светло. Темная громада леса разделилась на сотни видимых деревьев. Дорога, наша «эмка» и мы сами очутились под резким голубоватым светом. Это выглядело феерически, но нам было не до восхищения. Этот свет действовал на нервы сильнее, чем обстрел. Нам казалось, что мы делаем вид, что нас отовсюду видно, как на ладони. Минуты, пока ракета висела в воздухе, были настоящей пыткой. Потом ракета потухла, рассылавшись тысячами искр.

Мы лежали неподвижно.

— Ну, что будем делать? — снова спросил я.

— Вот ты и решиай, — зло ответил Венцель.

— Ты старший, — сказал я.

Венцель был майором.

— А когда мы сидели под машиной — ты был старший?

Я ничего не ответил.

— Ты видел танк, когда мы проезжали? — спросил Венцель. — Так вот пойдем проверим там места вытянуть нашу «эмку» из воронки. Ставим ее под деревья и замаскируем.

На первый взгляд это показалось глупым — искать боевую машину и провезти таксистов вытягивать «эмку». Но если бы они согласились — это было бы выходом, по крайней мере, до утра.

— Ладно, — сказал я, — а как быть с Шелеховым.

— Я никогда не пойду от машины, — отозвался Шелехов из-под кузова. — Обстрел обстрелом, а наш брат — шифер под землей. Огнем к машине никто не придет.

Мы пошли искать танк.

Мы шли по узкой лесной тропе. Слышались звуки боя. Мы шли, не зная, куда идем, и не зная, где враги.

лось быть уверенным, что другой тоже боится. Я знал, что горловина в этом месте равна километрам трем. Может быть, немцам уже удалось ее перерезать. Нам не поналось на встречу ни одной машины. В перерывах между разрывами я слышал треск сучьев в лесу. Я шел, держа наган в руке. Барабан был полный — семь патронов. У Венцеля был трофейный парабеллум и запасная обойма. Он тоже держал пистолет в руке. Мы прошли молча километра полтора.

— Нет танка, — сказал я.

— Он должен быть дальше, — ответил Венцель.

— Ну, конечно, будет он стоять и ждать тебя.

— Что ты огрызаешься? Может быть, танка и нет, тогда вернемся к машине и переждем до утра.

Мы замолчали.

— Поступай, — сказал я, — а ведь копато по этой дороге ездили колхозники и было тихо...

— Никто тут не ездил, — раздраженно ответил Венцель. — Тут и дороги-то никакой не было. Ес вырубил в лесу.

Он был прав, как всегда. Тут не было никакой дороги до войны. Мы опять замолчали.

— Ну, танка нет, — сказал Венцель.

Мы прошли уже не меньше трех километров. Игнорировать было бессмысленно.

Мы вернулись назад.

На восточке «эжка» не оказалось. Она стояла обочью дороги в лесу, тщательно замаскированная ветками.

— А меня вытянули, — весело сказал Шелехов, высовываясь из кабины. — Нашлась добрая луна. Шофер один с трехтонки пожалел и вытащил... Только ехать нельзя. Радиатор-то тую-то!

— Ну, вот что, — сказал Венцель Шелехову, — ты теперь буксируйся к проходившей, — и назад до автобата. В Мисном Бору нас в жид. А мы двинем вперед.

Я молча согласился с ним. Мы действительно потеряли много времени зря.

★

Командный пункт танковой части занимал во дворе восьми квадратных метров. Скрава за узким столом, лицом к входу, сидел полковник в серой, накинутаой на плечи бекете. Полковник брлся. Когда я вошел, парикмахер мыл ему лицо. Одна щека была белой от мыльной пены, другая казалась серой и осунувшейся. Напротив полковника сидел майор — командир штаба. Слева от него сидел капитан — командир роты. Они были одеты в серую форму с электрической лампой. Давно...

нарах ждали люди, но их лиц не было видно. Было тихо, только слышался звук скользящей по коже бритвы. На парах у радиоприемника сидел радист с наушниками на голове. Одна трубка была съеднута с уха.

— Есть ответ? — спросил полковник.

Радист вздрогнул, схватил микрофон и заговорил в трубку:

— Роза, Роза, говорит Буря, жду ответа на радиограмму, жду ответа... Прием, прием.

Он передвинул рычажок на радиоприемнике.

— Не отвечают, товарищ полковник, — сказал радист.

Полковник резко отвел руку парикмахера с бритвой, шагнул к радиоприемнику и взял микрофон. Он поднес его ко рту так близко, что мыльная пена попала на черную пластмассу.

— Роза! Роза! — кричал полковник, — почему не отвечаете, Роза...

Затем он снял наушники с головы радииста и поднес к уху не падевая.

— Молчат! — сказал полковник, бросая наушники на колени радиисту. Он вернулся на свое место. Я увидел порез на его свеженыврированной щеке. Парикмахер тоже увидел кровь.

— Извините, кровь, товарищ полковник, — сказал он. — Я сбегал за ватными тампонами...

Парикмахер вышел из блиндажа.

Начтаба повернул голову, заметил меня и кивнул.

— Пойдемте, — сказал он мне.

Передвигаться по блиндажу ему пришлось согнувшись. Он был очень высок. На нем была безрукавка, мехом наружу.

— Хочу подышать воздухом, — сказал начальник штаба, когда мы вышли. — Слишком тесный блиндаж.

Была ночь. В темноте мы наступали какое-то бревно и сели. Майор объяснил мне обстановку.

Наши танки прорвали оборону противника, вырвались на дорогу и продвинулись вглубь. Но немцы успели подтянуть резервы и поставили на дороге, в тылу наших танков, сильный противотанковый заслон. Положение танков тяжелое. Боеспособны на исходе. Нетехническое подкрепление еще не подтянуто. Уже скоро минут, как от танков нет радио. Принимаются меры... Вот, пожалуй, и все.

Майор вздохнул, взял в пригоршню снега и приложил его ко лбу.

Мы молчали. Я чувствовал сильный голод. Венцель, который пошел в другую часть, по ошибке унес мой мешок. Я вытащил сухарь из кармана.

— Сухарь жуеете? — спросил майор.

— Сухарь.

— Дайте и мне.

Я отломил кусок сухаря и подал ему. Майор взял сухарь и поднес ко рту.

— Не могу есть.— сказал он, встал и пошел к блиндажу.

Я пошел за майором.

В блиндаже все было по-старому. Полковник сидел с намыленной щекой. Но рядом с ним мы увидели нового офицера. В погонах старшего лейтенанта. Его левая рука была забинтована. Но близкие бинты и по розовому оттенку проступавшего кровавого пятна я заметил, что перевязка сделана недавно. Старший лейтенант положил большую руку на стол, а правой неуклюже свертывал папиросу. Когда мы вошли, полковник пощипал голову и провел пальцем по намыленной щеке.

— Где же парикмахер? — спросил он.

В ту же секунду начался артиллерийский обстрел. Снаряды рвались в районе нашего блиндажа. Я слышал разрывы справа, слева, впереди, почти без промежутков, без пауз, чтобы отдышаться. Я чувствовал, как взрывная волна бьет по стенкам. Пламя копилки дрожало при каждом ударе. Грохот кругом не умолкал. Мне казалось, что все смешалось. Был только грохот и дрожащий язычок пламени. Потом все прекратилось. С последним разрывом погасла копилка. Стало тихо. Люди тяжело дышали в темноте. Майор вынул спички и зажег копилку. Я спросил его, сколько накатов над нами. Начштаба поднял вверх один палец.

Все мы молчали. Кто-то хрипел на нарастающую так сильно, что его не могла заглушить никакая артиллерия. Я сел на землю и прислонился к стене. Земля в блиндаже влажная. Есть мне уже не хотелось, но очень хотелось спать. Я закрыл глаза и стал считать разрывы где-то вдалеке. Я досчитал до восемнадцати. Одновременно с восемнадцатым раздался громкий голос радиста:

— Роза, Роза говорит.

Я открыл глаза и поглядел вперед. Полковник стоял у радики. Говорила Роза — радистка командирского танка, одного из тех шести, что дрались в десяти километрах от нас.

Командир докладывал, что положение танков критическое. «Несколько немецких пушек ведут по нас стрельбу термитами снарядами. Из леса показались около десятка немецких танков. Один из них горит, но экипаж не прекращает стрельбы. Боеприпасы на исходе. Будем драться, пока живы. Все». Радист лихорадочно расшифровывал цифры радиограммы, и они страшными словами прозвучали здесь.

А потом Роза начала дьявольский об-

стрел, от которого хотелось лечь на землю и зарыться в нее так, чтобы совсем исчезнуть с поверхности.

— Засекли нашу радику, наверное, — сказал начштаба.

— И засекать не надо, — ответил кто-то с пар.— Сутки назад тут немцы сидели. Неосось, свои дома-то знают.

Рвануло дверь блиндажа, погасла лампа, и с потолка посыпалась земля.

— Выключите радику на десять минут, — приказал полковник. — Да где же, наконец, брадобрей?

— Парикмахер убит, товарищ полковник, — сказал кто-то у дверей. — Бежал с кассетами этими, а его осколком...

— У вас мыло на лице, Борис Григорьевич, — сказал начштаба.

Полковник вынул платок и вытер остатки мыла.

Потекли страшные минуты. Радиста молчала. Люди там, в танках, чей голос казалось, мы только что слышали, стали вдруг бесконечно далекими от нас. Я шепотом спросил майора, как зовут командира того танка, что торит, но не сдается. Я закрыл глаза, и мне показалось, что я вижу перед собой горящий танк. Все молчали и смотрели на радиста. Он снял телефонный дремал, откинувшись на спинку. Он не спал вторые сутки. Было тихо, но мне казалось, что я слышу крик гусениц.

— Я поеду, — сказал внезапно старший лейтенант с забинтованной рукой и встал.

— Нет, Пашковский.

— Мне нужны две машины — и я проворюсь.

— Вы не поедете, — сказал полковник, чуть повышая голос. — Вы ранены.

— Я командир батальона. Мой батальон там, а я здесь. Разве это правильно? — возразил Пашковский.

В это время в землянку вошел капитан. Он наклонился к уху полковника и что-то шепнул ему.

— Пехота подошла, — сказал полковник виновато, ни к кому не обращаясь. — Вы действительно в состоянии ехать? — спросил он вдруг Пашковского?

Пашковский вскопчил.

— Я могу идти?

— Идите. Пехота сосредоточивается на танковой исходной. Там же получите боеприпасы.

Пашковский выбежал из блиндажа.

— Выключите радику, — приказал полковник.

Я вышел вслед за Пашковским. Он шел быстро.

— Я корреспондент, — сказал я, настигая его. — Где стоят ваши танки?

Пашковский ничего не ответил, но показал рукой на опушку леса.

Мы шли молча. Я едва поспевал за ним. Подойдя к опушке, я увидел несколько замаскированных танков.

— Андрианов! — крикнул Пашковский.

Голова в шлеме показалась над люком одной из машин.

— Давай, завод! — весело крикнул Пашковский и сказал, впервые обращаясь ко мне: — Это мой оруд. Механик-водитель. Три танка немецких утром подбил. Вот вернемся, вы о нем роман напишите...

Андрианов снова скрылся в люке. Из леса выбежали бойцы и стали рассаживаться на броне танка.

Пашковский тоже исчез в люке. Загрохотал мотор. Танк стал разворачиваться, вздымая снежную пыль.

★

Я вернулся на КП, когда было уже светло. Вокруг чернели воронки. Осколков было так много, как листьев осенью. Но каким-то чудом уцелел наш блиндаж... Там ждали ожидания Пашковского. От него уже поступила радиogramма. Он прорвался через горюшину. Он уже видит шашки танки, ведёт танки. Он спешит к ним на выручку. Часть десанта он высадил на дороге, чтобы дать соединиться разрубленной цепью...

Снова началось ожидание. Вернется или не вернется? И снова начался обстрел.

— Он вернется, — убежденно сказал полковник.

— Конечно, вернется, — подтвердил штабтаб.

— Это Пашковский-то не вернется? — непонятно тому возражая, сказал из темноты нар человек. — Да он из-под земли вернется.

— Уезжая горюшину, — сказал штабтаб весело молчаливо.

— И все-таки пробьется.

Голос с нар пребасил:

— Нашковский? Обязательно пробьется. В одну в ад и обратно. Это Пашковский-то? Хо-хо!

Полковник молчал. Потом он сказал:

— Парчмахера жаль.

Снова стало тихо. Было слышно, как капает с потолка талая вода.

Звук падающих капель казался громким, как удары молотка.

Полковник посмотрел на часы. У него были большие карманные часы с ключиком, белавшимся на цепочке.

— Ему пора бы уже возвратиться, — сказал полковник. — Наверное, он уже возвращается. Я уверен, что он уже возвращается.

— Передают! — крикнул радист.

Он стал записывать радиogramму, повторяя вполголоса цифры шифровок: «одиннадцать, сорок один, шестнадцать... — И подпись, — Пашковский». Через минуту он расшифровал:

«Задание выполнил. В тылу противника пытаются вновь закрепиться на дороге. Возвращаюсь и одновременно ликвидировать заслон на дороге. Пашковский».

— Так, — сказал полковник и положил на стол перед собой свои большие часы.

Я вынул блокнот и попытался записывать все, что вижу и слышу, но ничего не получалось. Нельзя было описать воздух, которым мы здесь дышали, звук артиллерийских взрывов, мысли людей...

Мы ждали Пашковского. Нам казалось, что нет ни ночи, ни дня. Два раза прерывалась радиосвязь. В третий раз мы сами выключили радио после сумасшедшего сигнала.

Пашковский явился под утро. Его лицо было в саже, а повязка на руке — черная как земля...

...Я вышел из блиндажа. Взошло солнце. Все вокруг стало как-то радостней. Я снял шапку и подставил голову холодному ветру.

★

Я решил пройти на огневые позиции артиллеристов. Пушки стояли в полкิโลметре от КП танковой части, где я провел ночь.

Но я не дошел до пушек. И вот как это случилось. Сначала я шел, отпускаясь в воронки и вылезая из них. Воронки было так много, что земля казалась одной сплошной воронкой. Когда начинался артиллерийский палет, а он «начинался» каждые четверть часа, я прижимался ко дну очередной воронки. В первой же паузе я решил смонтировать мое «бомбоубежище» на более глубокое. Этого, конечно, не следовало делать. Я убедился в этом несколько позже... очнувшись в передовом пункте медпомощи. Я сидел на скамье, опустив голову на грудь девушки-медсестры, а она гладила меня по волосам.

Я смутно припомнил, что летел куда-то или все вокруг меня куда-то летело или я плыл по воздуху, причем — это я уж наверное помню, — я плыл как-то задом наперед. Потом я остановился от какого-то резкого толчка, и все перед глазами стало медленно перемещаться. Ну вот и все, больше я ничего не помню.

Когда я очнулся, то услышал, как медсестра говорила, очевидно, диктовала кому-то: — Коптузня. Раненый пет. Эвакуировать.

Затем мои зубы стучнулись обо что-то, я открыл глаза и увидел другую девушку. Она держала у моих губ кружку с жидкостью. Я хлебнул. Это был коньяк. Я сделал большой глоток, затем второй, но тут же все поплыло куда-то, и девушка стала медленно перевертываться вниз головой. Затем я почувствовал тошноту и, уже совсем куда-то проваливаясь, услышал голос:

— Нельзя ему коньяк давать...

Второй раз я очнулся в санях. Я лежал рядом с двумя ранеными. Ездовой сидел впереди и время от времени давил своим задом на наши головы. Я откинул одеяло и посмотрел вокруг. Было уже темно. Мы ехали очень медленно.

Затем я услышал над собой голос:

— А этот куда ранен?

— Он контуженный, — ответил ездовой.

Говорили, видимо, об мне. Я попробовал приподняться, но в голове тут же зашумело, и тошнота подкатилась к самому горлу. Меня взяли под руки с обеих сторон санитары и помогли встать. В большой санитарной палатке, куда меня ввели, горело электричество. Во всю ее длину, над землей, были установлены горизонтальные шесты. На них стояло несколько десятков носилок. На носилках лежали люди. Они стонали, звали санитаров, ругались и плакали.

Врач, осмотрев меня, направил в стационар. Меня снова взяли под руки и вывели из палатки. Была тихая ночь. Звезды ярко сияли. Пахло весной, хотя был январь. Мне хотелось никуда не ходить, а лечь вот здесь, между елками, и смотреть на небо...

Мы подошли к палатке. Один из санитаров приподнял полог, другой помог мне войти. Влажный полог задел меня по лицу, когда я проходил в палатку.

По обе стороны палатки вплотную стояли длинные ряды носилок, превращенных в койки. Все носилки были заняты, кроме одних у самого входа. В конце палатки стоял стол, заставленный спонж-пузырьками и банками с камнями-то жидкостями. Над столом висела электрическая лампочка. Две девушки в белых халатах, палатых поверх шивелей, стояли у стола, когда меня ввели. В палатке было тепло. Топились две печки. Полная девушка со снокобным и широким лицом, взяла у санитаря мой листок.

— Уложите его на койку, — распорядилась она тихо, но так, что я слышал.

Санитар вернулся и начал было меня раздевать.

— Я сам могу, — сказал я и стал отгивать сапоги. Левый сапог я снял легко, и когда стал снимать правый, стопа и носилки поплыли перед моими глазами, и я услышал голос девушки:

— Я вам сказала раздеть, а вы что делаете?

... Я не знал, который был час, когда я открыл глаза. Горело электричество. Воздух в палате был мертвый и жаркий. Вокруг стонали люди, но стоны эти как-то не доходили до меня, задерживались где-то около ушей. Рядом со мной, на приподвинутой вплотную койке лежал человек, укрытый одеялом с головой. Он, видимо, спал. Его голусогнутая нога лежала на моей койке. Я осторожно попробовал отодвинуть ногу, но она упиралась в другую ногу, и я никак не мог ее сдвинуть.

Поднялась сестра, та самая, с широким полным лицом. Я спросил, как ее зовут. Она улыбнулась спокойной улыбкой, — такой, что не замечаешь, как она появляется и как исчезает, и ответила:

— Люба.

Она принесла мне ячичнику из порошока вино в белой кружке.

Я попросил ее помочь мне убрать ногу с моей койки.

Люба отодвинула ногу. — Осторожно, ему же больно! — закричал я.

— Нет, — ответила Люба, — ему уже не больно.

Внезапно вино показалось мне горьким. Я вернул Любе кружку и закрыл глаза. Я открыл их, потому что кто-то дотронулся до моих ног. Двое санитаров стояли около меня и явно смущались, когда я открыл глаза. Они потоптались на мосте, затем вернулись к соседней койке, один из них с трупом двинул к изголовью моего соседа и поднял его за плечи. Другой взял труп за ноги, и они занесли его из палаты.

Рядом со мной оказалась пустая койка. Люба сменила на ней простыню и вложила подушку. Я попытался уснуть, но не мог.

Напротив меня лежал боец-татарин. Ему было лет сорок. Он был ранен в живот. У него было маленькое лицо и редкие волосы. Иногда он начинал метаться на кровати. Тогда к нему подходили санитары и Люба. Они брали его за плечи и ноги и переносили к постели. Татарин успокаивался и просил тонким, как инжир, камаром, голосом: «Воды, воды». Люба приносила ему воды в белой кружке, и татарин пил.

Было, повидимому, очень поздно. Когда меня это не помню, прошло несколько минут, как я...

мя потеряло для меня всякий смысл. Мне захотелось допить то вино, которое я оставил в кружке. Люба принесла мне полкружки портвейна. Затем я начал изучать свою голову: кожа на правой стороне была чувствительной, но левая половина была попрежнему мертва.

Железная печь раскалилась докрасна. Жара стала нестерпимой, но приоткрыть полог у входа не удалось. Раненый рядом запротестовал: его знобило. Он был накрыт двумя шинелями поверх одеяла, но ему было холодно. Я сказал санитару, чтобы он покрыл его моим полушубком.

Раненого, лежащего через две койки от меня, все время рвало. Кроме того, его мучила жажда. Он беспрестанно просил пить. Он выпивал несколько глотков, и его злить рвало. Тогда он снова пил. Люба сказала мне, что у него началось воспаление брюшины.

В эту палату направлялись раненые в живот и в голову.

★

Утром палата, наполненная ярким светом, выглядела гораздо веселее, чем вечером. Место на койке рядом со мной было уже занято. На ней лежал человек, закрытый одеялом с головой. Лица его не было видно, но слышался его дыхание.

Я лежал и думал о том, как скверно все получилось. Я ни строчки не передал в газету. Андрианова я уже, конечно, не увижу.

Мысль, что в редакции сидят без материала, не давала мне покоя. Вся надежда была на Венцеля...

Ко мне подошла Люба и спросила, как я спал.

— Отлично,— ответил я.

— Ну и хорошо,— улыбнулась Люба.— А это ваш новый сосед. Наеюсь, подружитесь. У него тоже, что и у вас. Контузия, но более тяжелая. Он только под утро пришел в сознание.

— Где его контузило?

— Точно не знаю. Он танкист. Кажется, командир танка. Снаряд ударил в броне. Впрочем, я точно не знаю.

Люба ушла.

В маленьком окне, в потолке виднеется слезая ветка. Освещенная солнцем, она казалась очень зеленой. Зеленый цвет действовал успокаивающе. Мне захотелось чтобы все вокруг было очень зеленое.

Человек на соседней койке застонал. В эту минуту подошла Люба. Она подошла к койке раненого. Она взяла руку больного

стала считать пульс, смотря на ручные часы. А я смотрел на лицо своего соседа. Мне казалось, что он улыбается во сне, а стонет за него кто-то другой. На вид ему было лет двадцать пять.

— Шестьдесят два,— сказала Люба вслух и закрыла раненого одеялом.

— Как его зовут?— спросила я.

Люба посмотрела в листок.

— Андрианов, Николай Сергеевич. Младший лейтенант.

Я вздрогнул, услышав это имя. Вот где довелось нам встретиться. И тут же во мне заговорил журналист. «Если Андрианов чувствует себя мало-мальски прилично,— подумалось мне,— распрощу его обо всем и здесь же, в госпитале, напишу о нем короткую заметку, а затем попрошу любимым средством передать мою корреспонденцию в газету».

В этот момент вошел доктор. Он был без халата, в меховом жилете, перетянутом ремнями. Выслушав меня стетоскопом, он сказал: «Все в порядке»,— и хлопнул меня по спине ладонью. У доктора были хмельные твердые руки.

— Отлично!— сказал он.— Пу-с, Люба, а как Андрианов?

— Он все время спит,— ответила Люба.— Пульс — шестьдесят два.

— Разбудим,— сказал доктор и потормошил лейтенанта за плечо.

Андрианов открыл глаза. Я следил за выражением его лица. Сначала на нем отразилось удивление, потом он улыбнулся. Ей-бо стал еще более курносеем.

— Как дела, Андрианов?— громко спросил доктор.

Губы лейтенанта раскрылись, но все услышали только прерывистое мычание. Мне показалось, что для самого Андрианова это было неожиданностью. Улыбка исчезла с его лица. Он поднял руку к глазам. Уголки его рта задрожали.

— Так, так...— сказал доктор и посмотрел на Любу.

— Почью он разговаривал,— тихо сообщила Люба.

— Вы меня слышите, Андрианов?— громко спросил доктор.

Лейтенант быстро закрывал головой. Доктор просунул руку под меховой жилет и вынул зеленую книжку с карандашом.

— Напишите, как вы себя чувствуете.

Андрианов схватил карандаш, книжку и что-то написал.

— Так, так,— сказал доктор прочитав,— очень хорошо. А насчет голоса.— это ве

странно, Андрианов. Это бывает часто при контузиях. Скоро все будет в порядке.

Он улыбнулся. Андрианов тоже улыбнулся.

Доктор повернулся к Любе и что-то тихо сказал ей. Затем они пошли к столу.

Кто-то дотронулся до моего плеча. Это был Андрианов. Он промывал что-то и показывал рот.

— Ничего, — сказал я, — это пройдет. Это бывает очень часто. — Я заметил, что слово в слово повторяю доктора и добавил: — со мной тоже было. А теперь вот прошло. И у тебя будет все в порядке.

Андрианов растерянно пожал плечами, провёл пальцем по одеялу, будто шинует.

Люба подала карандаш и бумагу. Андрианов что-то написал и передал мне. Я прочел:

«Вот так штука у меня с голосом. Мычу, как корова. А вы из какой части?»

Я ответил и передал лейтенанту лист. Через минуту Андрианов вернул мне бумагу. Там было написано:

«А я из танковой части. Часть Горобца слышали? Так я отсюда. Командир машины. Еще вчера немцев утюжил. Ну и скука же тут. Ну, шитого, пробьюсь».

Я рассмеялся. Андрианов смеялся вместе со мной, только гораздо громче.

Подшел доктор.

— Лежите спокойно, Андрианов, — сказал он. — Вам надо лежать спокойно.

Андрианов что-то написал и протянул листек доктору.

— Остричь можете, — сказал доктор и улыбнулся, — но только тихо.

Лейтенант замычал и тоже улыбнулся. Потом и заснул. Когда я проснулся, в палате уже горело электричество. Люба разносила обед. Андрианов ел. Он посмотрел на меня, помахал вышкой и улыбнулся.

— Хорошо кормят? — спросил я.

Лейтенант забивал голову и подмигнул.

★

...Я проснулся ночью. Было тихо. Это были те редкие минуты, когда никто не стонал. Я увидел Любу. Она переходила от койки к койке, прислушиваясь к дыханию людей. Когда она подходила ко мне, я закрыл глаза. Потом я почувствовал, как ее руки направляют мое одеяло, взяла ее за руку и открыл глаза.

— А вы и не спите? — тихо сказала Люба и улыбнулась своей широкой улыбкой.

— Не сплю. А вы-то когда-нибудь спите?

Она тихонько высвободила свою руку.

— Мое дело такое. А вам доложено спать. Спите!

— Не хочу, — сказал я. — Посидите немного со мной. Ведь вы уже всех обшили. Моя койка последняя.

Она послушно села.

— Трудно вам здесь? — спросил я.

— Всем трудно.

Она смотрела на меня своими спокойными всегда полузакрытыми глазами.

— Сейчас бы в лес, на лыжах, — сказала я, — а потом — к огню. Вы откуда сами?

— Из Лури я, — тихо сказала Люба.

— Что ж вы там делали, в Луго?

— Училась. В медицинском техникуме. Врачом думала быть.

— И муж есть?

— Был. Все было. Ну, вам спать надо.

Она сделала движение, чтобы подняться, но я опять удержал ее.

— Нет, вы посидите, — сказал я, — значит, все было: и муж и дом, а теперь ничего... Так?

— Выходит — так.

— Трудная ваша жизнь. Живете среди страданий и стонов... И покоя вам нет.

— А на что он мне нужен, покой? — сказала Люба, и ресницы ее дрогнули.

— Как на что? Чтобы забыть о том, что было.

— Нет, — покачала она головой, — тогда бы я и жить не смогла. Они меня, раненые, в жизни поддерживают. Я вижу, как они за жизнь цепляются, и сама цепляюсь. Силы много надо, чтобы жить сейчас...

Она провела ладонью по одеялу. У нее были длинные, заостренные пальцы.

— Вот тут на валике койки одна девушка лежала. Тоже с контузией. Только у нее потом шея не поворачивалась. Все по палате бродила, медленно так, как ребенок двухгодовалый. Ходила и всё песенку пела про патфончик.

— Знаю.

— А ночью кричала все: «Раненого забыли, сволочи!» Она санитарструктором была. Ночами сильно буйствовала. А днем все бродила... Потом зовет как-то меня и говорит: «Дай карандаш с бумагой, я стихи напишу». Я ей дала. Она и написала... Хотите покажу?

Она подошла к своему столу и вынула из кармана листок бумаги.

— Вот почитайте, — сказала она.

Я прочел:

Страшная штука война,
Можно сойти с ума.
Но это не для меня —
Я не сойду с ума.

Страшная штука война,
Но я поспорю с ней.

Я буду жить для того,
Чтобы спасать людей.

Пусть мины свистят кругом,
Пусть в ночь превратится день.
Меня на испуг не возьмешь —
Я буду спасать людей...

— Что ж, она вам подарила эти стихи? — спросил я.

— Нет. Умерла она. Паралич и все такое. Я и взяла листок на память... Прочту стихи, и легче стапёт. Бывает ведь так.

Она посмотрела на меня, улыбнулась, и ресницы ее снова дрогнули. Потом она погладдила меня по руке и встала.

— Ну, вы спите, — сказала она, притворно строго сдвинув брови, — спать надо. А то я доктору пожалуюсь.

Я лежал и старался припомнить стихи. В них была какая-то неступленная настойчивость. Потом кто-то застонал... Я не помню, как я заснул.

...Когда я проснулся, Андрианов еще спал. Люба перекинула полотенце через плечо и с тазиком в руках подошла к Андрианову.

— Будем умываться, — приветливо сказала Люба.

Но Андрианов продолжал спать. Тогда она тихонько потормошила его за плечи.

— Довольно спать, соня! — Люба протянула проснувшемуся Андрианову кусочек мыла. Лейтенант не поднял руки.

— Держите же мыло, — сказала Люба.

Андрианов нерешительно поднял руку и пошевелил пальцами.

— Андрианов! — вскрикнула Люба, и голос ее задрожал. — вот же мыло!

Лейтенант растерянно улыбнулся и стал шарить руками по одеялу. Он ослеп. Я видел, как дрожат руки Любы, держащие тазик, и как вода плещется через край.

— Вы... видите меня, Андрианов? — шепотом спросила Люба.

Лейтенант отрицательно покачал головой и провел рукой по глазам.

Люба поставила тазик на пол и выбежала из палаты. Через несколько минут она вернулась с доктором.

— Вы меня видите, Андрианов? — спросил доктор, подойдя к койке. Лейтенант медленно покачал головой. Доктор наклонился и пальцами приподнял веки Андрианова.

...Вечером у его постели был консилиум. А на другое утро Андрианов потерял слух. Теперь он лежал глухой, слепой и немой. Я наблюдал за ним часами. Я замечал, что чем больше ударов обрушивалось на него, тем шумливей и беспотойней он становится. Лейтенант кому-то улыбался, ерзал на постели, показывал пальцами каких-то замысловатых зайчишек, что-то мычал, воил пальцами по ладони, изображал патефон; представлял к глазам пальцы, сложенные в кружочки, — будто очки...

Под вечер он повернулся ко мне и промычал что-то, парая пальцем по ладони. Я понял, что Андрианов хочет что-то написать, и вставил ему в пальцы правой руки карандаш, а в левую дал блокнот. Лейтенант черкнул что-то и протянул мне. Я прочел. На листке было написано только одно слово: «Пробьюсь».

Я вырвал листок и положил себе под подушку.

На следующее утро, когда я проснулся и взглянул на Андрианова, мне показалось, что на его полуопущенных ресницах блестят слезы. Я схватил руку Андрианова и крепко пожал ее. Андрианов открыл свои невидящие глаза, раскрыл мою ладонь и поводил по ней пальцами, будто пишет. Я понял, что это было то же самое слово, что и написанное им на листке.

Днем Андрианова разбил паралич. Теперь он лежал неподвижно, погруженный в мрак и тишину. Мне было очень странно смотреть на его руки, на те самые руки, которые перед тем не знали ни минуты покоя, а теперь лежали беспомощно на толстом сером одеяле.

Пришел доктор. Он потормошил Андрианова за плечо и спросил: — Ну как? — хотя знал, что лейтенант глух.

К вечеру Андрианова эвакуировали. Я посмотрел на его пустую кровать. Сейчас, когда Андрианова не было, — он как бы стоял перед моими глазами Немой, недвижимый, слепой, он всем обликом своим говорил мне больше, чем если бы имел дар речи, если бы смотрел на меня и жестами выражал.

Я понял все — и как он смог побить три вражеских танка и как он боролся со смертью.

— Люба! — крикнул я, — дайте мне карандаш и бумагу...

Я вернулся из сабата в редакцию в воскресенье вечером. Еще издали я услышал шум дыма нашей электростанции, и мне стало приятно, что после долгих спитаний я возвращаюсь домой.

Я шагал по железнодорожному полотну, наблюдая, как серая масса нашего поезда с каждым шагом все приближалась ко мне. Я влез на ступеньки вагона и открыл дверь.

В коридоре, в полумраке тускло поблескивало толстое стекло, прикрывающее юношу с пистолетом. Было тихо, если не считать шума динамо: в понедельник газета не выходила. Я прошел по коридору и открыл дверь в свое купе. Оно было пустым. Полки Губина и Венцеля были застелены плащ-палатками. Очевидно, оба они уехали в командировку. Я снял свой мешок, расстелнул полушубок и увидел письмо на столике у окна. Я смотрел на конверт. Я хорошо знал этот почерк. Я не видел ничего, только эти буквы на конверте. Холодный белый свет падал в окно. Мне показалось, что кто-то позвал меня откуда-то, из пустоты. Я взял конверт в руки и прочел адрес. На конверте было много адресов, перечеркнутых почтой. Письмо прошло большой путь. «Наконец-то! Наконец-то!» — стучало у меня в висках. Я боялся разорвать конверт. Я испытывал страх неизмеримо больший, чем тогда, в горловине или в блиндаже у танкистов. Я поднял голову, чтобы оторваться от этих букв на конверте и успокоиться. Кругом была тишина, только ровным гудело динамо.

Потом я разорвал конверт. На письмо не было даты. Я начал читать. Письмо было адресовано на одно из моих ранних бесчисленных писем.

Когда-то я спрашивал Лиду, не страшно ли ей в Ленинграде.

«...Я теперь как-то не совсем различаю, — отвечала она, — что страшно, а что не очень. Наверно, очень страшно было неделю жечь дрова на огне со своей умершей матерью, валять у ее ног на буржуйке похлебку из 30 граммов муки и с тупой жаркостью тут же поедать ее.

Наверное, страшно потерять единственного ребенка...

Тогда мне страшно не было. А сейчас я просто уже не понимаю, что страшно, а что нет...»

Дальше она писала, что еще живет в старой квартире совсем вместе передовой и что написала мне несколько писем и опустила их в ящик, но думает, что я их не получил, так как в городе почти нет почтальонов.

Я перечитал письмо два раза. Я сидел, как вешел, в полушубке. На моих валянках таял снег, и в купе образовалась лужа. Мне казалось, что все передо мной выливалось в одну стремительную, куда-то уходящую линию. Я думал о том, что это письмо написано давно и что сейчас ее, может быть, уже нет в живых. Может быть, сейчас, когда я читаю это письмо, она уже ле-

жит мертвая. А за городом взрывают земля для братской могилы. Мне показалось, что я слышу взрыв. Я прислушался. Это была тяжелая артиллерия, и звуки выстрелов доносились к нам в поезд.

Я стал думать, что все это неправда, что она жива и что я непременно увижу ее. Почему она должна обязательно умереть? Не могут же там все умереть. Она выживает. Мне показалось, что я в Ленинграде, сижу на полозополке моей комнаты и она рядом со мной. Мы любуемся городом в белую ночь и спорим, сколько же колонн у Невы. Мы всегда спорили об этом, когда смотрели в окно, и я всегда забывал считать колонны, когда проходил мимо собора. Потом она стала исчезать, расплываться в белесом тумане, и я уже не мог представить себе ее такой, какой знал всегда...

Утром меня вызвал редактор.

— Здоров? — спросил он. — Тогда собирайся. Поезд в Ленинград. Корреспондентом. Ясно?

★

...В тот день я не мог писать, но мог говорить и только ходил взад и вперед по узкому коридору вагона. Я нащупал, наверное, несколько километров. И представлял себе, как войду в город, как сяду в трамвай и через какие-нибудь полчаса увижу Лиду. Я знал, что мне предстоит большая работа в Ленинграде. Но я знал, что вышло все что угодно, если увижу ее.

— Ну, вот видишь, как получилось! — сказал Венцель. — Я же говорил, что будет письмо. Ты... всегда всегда меня слушаешь. Теперь ты увидишь ее. А я вот совсем Леньку не скоро увижу...

На другой день я проехал в институтскую вагоне за командировочной и в поезд вернулся вечером.

Ночью мне предстояло выехать. Я начал укладывать вещи. Я двинулся точно в полусне. Неожиданность была слишком велика. Я все еще не мог прийти в себя. В вагоне чер в поезд приходили люди. Многие из них я видел впервые. Важный прикинул спешки и разговоры, что у него в Ленинграде жена мать или дочь. И брат писаники и слышал вел их в угол дивана. Но оказалось, что никто, но нехорошо сид откровенно в Ленинград.

Я должен был выехать в 12 часов ночи. Сел в поезд, дождь до самой станции.

куда добраться на попутной машине за километров в район аэродромного базирования и там сесть на самолет.

Вечером мы собрались в нашем купе, Губин достал водку. Но мне пить не хотелось. Это был первый случай, когда я отказался выпить на фронте. Мне хотелось сохранить ясность мыслей. Сейчас мне не нужна была водка. Я слушал, как булькает жидкость, наливаемая в жестяные кружки. Губин что-то говорил, и Венцель что-то отвечал ему, но я не улавливал, о чем они говорили.

— Ты смотри, не забывай нас в Ленинграде,— сказал Венцель и дотронулся до моего колена.

— И узнай, пожалуйста, пишут ли там сейчас стихи,— сказал Губин.

Я ответил, что никого не забуду и напишу насчет стихов.

— Вот ты и едешь! — сказал Венцель.

— Да,— ответил я,— вот я и еду...

Я встал, надел полушубок и стал поднимать мои мешки.

— Куда ж ты пойдешь за простора чаша? — удивился Венцель.

— Пусть идет,— сказала Губин.— Я его понимаю, пусть он идет.

Я поклад им руки, вышел из вагона и пошел по железнодорожному полотну к станции.

Было очень странно идти к станции. Мы никогда не ходили туда. Мы обходили полуразбитое здание вокзала и сразу выходили на автотрассу. Поезда приходили на станцию и уходили обычно ночью. Я давно уже не видел настоящего поезда. Наша редакция перестала быть для нас досадом, то есть тем, что неразрывно связано с движением и сталинизмом.

По путям сноваж люди с фонарями, прикрывая свет полый полушубка. На платформах стояли орудия. Чехлы с них были сдернуты и орудийные жерла смотрели в небо. Где-то в темноте тарахтел тягач. Гудели автомашинны. Орудия одно за другим медленно съезжали с платформы по приставленным мосткам.

Командант станции помещался в землянке. Когда я вошел, он сидел лицом к двери, за низким столом, а позади, на стене, висели телефоны. Я спросил разрешения отойти немного,— мешки были очень тяжелые.

В землянку поминутно входили люди. Они спрашивали, кричали и требовали. Чувствовалось, что там, наверху, идет напряженная работа. Командант сказал мне: «Такое

вот каждую ночь творится. Теперь для нас ночь — самый день. А к утру все утихомирится. Тогда и поспать можно».

Я отдохнул немного, взял свои мешки и попрощался с командантом.

— А куда это вы собрались? — спросил он, когда я жая ему руку.

— В Ленинград,— ответил я.

— В Ленинград... — протянул командант но то удивленно, не то восхищенно,— ну, желаю вам, желаю... — он потряс мою руку.— Вагоны уже на путях, вы прямо и садитесь.

Я выбрался из землянки.

Я пошел вдоль линии отыскивать мои вагоны. Я нашел их в тупике: три классных вагона дачного типа. Я залез в третий вагон. Там было уже полно народу. Сидели и лежали на нижних, верхних и багажных полках. Где-то, в середине купе горел свет. Я протиснулся туда. На столике у окна лежал громадный кусок стеарина. Его прорезала нитка, и эта огромная свеча горела ровным, немигающим светом.

На скамье, с краю, сидел пожилой боец. Он держал между коленями котелок с водой и размешивал в нем какой-то концентрат. Над котелком висел пар. Боец подвинулся, и я присел рядом. Мешки я с трудом засунул под скамейку.

— Ты что же с такими мешками путешествуешь? — спросил меня он.

— Свои поща не тянет,— ответил я.

— Это так,— сказал пожилой боец, а только солдату лишние вещи — обуза.

— Далеко еду, вот и вещей много,— отозвался я.

— Отвоевался, что ли? — спросил боец.— В тыл?

Я знал элементарное правило фронта — не говорить шопусту куда едешь, но все же сказал:

— В Ленинград.

— В Ленинград!.. — Боец перестал мешать кашку, разжал ноги и поставил котелок на пол.— П-нда-а...

— Как же туда ездят теперь, в Питер? — спросил полос с верхней полки.

— Самолетом или через Ладугу,— ответил я.

— Во куда немца допустили... — сказал голос сверху.

— Кто допустил? — ответил ему кто-то хриплым, простуженным басом, тоже сверху.— Ты и допустил!

— Может, и я,— беззлобно согласился

первый.— Я допустил, я и вышибать буду...

— Вышибало! — отвечал ему хриплым с иронией.

— А я в Питере жил... — мечтательно произнес пожилой боец. — Целных три года прожил... Какой город... Питер-град...

— А у меня жена там, — тихо сказала боец, сидящий в углу у окна. — Боле месяца ничего не имею. Последний раз писала, что кошку съели... Эх-х...

Я молчал. Я думал о том, что сказал только одно слово: «Ленинград», и не было около меня человека, который как-нибудь не отозвался бы на это слово.

Внезапно вагон толкнуло, очевидно, прицепили паровоз. Затем мы поехали.

— Вы ложитесь, товарищ, — сказал боец, вставая. — Дорога ваша дальняя. Отдохните...

Я поблагодарил, но спать мне не хотелось. Я протиснулся к окну. За окном была ночь, и снег казался сероватым. Я постоял немного у окна и вернулся на свое место. Только часа в два меня сморил сон, и я уснул, опустив голову на плечо пожилого бойца.

Под утро поезд остановился на вокзале маленького городка. Я там уже бывал однажды. Этот городок произвел на меня впечатление чего-то далекого и мирного. Его ни разу не бомбили. Я уже отвык от таких мест. Я шел по тихим, заснеженным улицам уличкам и смотрел на целые стекла в окнах. Здесь не было разрушенных домов, не было труб, одиноко торчащих из кучи камня и черного обожженного снега. Не было всего того, к чему я уже привык. На окнах висели занавески, и ребята катались на коньках по пруду, и по улице шла женщина с ведрами на коромысле. На заборе висела афиша театра оперетты. Рядом висела другая — о танцах после концерта в клубе маслозавода.

Я был рад, что попал в этот городок утром: ночью затемненные, слепые окна напоминали бы мне о войне. А сейчас городок казался оазисом в бескрайней пустыне...

Я медленно шел по улице к тому перекрестку, где был контрольно-пропускной пункт и где я должен был ловить попутную машину.

Я шел, часто останавливаясь; было очень трудно тащить мешки.

Начальник КПП — старший лейтенант — долго проверял мои документы. Потом он улыбаясь и сказал:

— В разные места людей пропускал, а вот в Ленинград — впервые. Вы пойдете, товарищ командир, вон в тот дом, отдохните. А я вас на первую машину посажу.

Я пошел в дом и только успел снять мешки и полушубок, как прибежал боец: попутная машина ждала меня.

Когда я забрался в кузов на тюки с обмундированием и машина тронулась, старший лейтенант крикнул мне:

— Привет там, Питеру...



В район авиационного базирования я приехал к ночи. Я с трудом устроился на ночевку. В деревне, где помещался штаб, все было переполнено. Я долго путешествовал со своими мешками от дома к дому. Я обошел домов восемь, прежде чем нашел место для ночлега. Хозяева положили меня в маленькой кухне на короткой и узкой скамейке. Но я так устал и промерз, что заснул тотчас же, как лег.

Утром я пошел к начальству. Майор встретил меня довольно приветливо, прочел документы, но сказал, что он, к сожалению, мало что может сделать, так как самолеты, совершающие рейсы в Ленинград, находятся в ведении гражданской авиации. Правда, их штаб расположен на территории его района, но с непосредственным подчинением Москвы. Словом, мне надо пойти договориться в штабе, а если ничего из этого не выйдет, то тогда майор попробует помочь.

Я пошел в штаб гражданской авиации, но и там меня ждало разочарование. Мне сказали, что самолеты в Ленинград идут из Москвы переполненными и часто вообще не приземляются здесь.

Я вернулся к майору. Он посоветовал мне идти домой и позвонить ему утром из штаба.

Я вернулся «домой». В дощатке, кроме хозяев, жила семья, эвакуированная из Ленинграда: мать и дочь.

Когда я пил чай в кухне вошла мать — женщина лет пятидесяти, с худым, желтым лицом и седыми волосами.

— Вы избвните, — сказала она, — я слышала вы — в Ленинград? — Она села возле меня, положив на стол тонкие руки. — А я уже два месяца как оттуда. И все места себе не нахожу... Так бы и прошла — только обратно...

Потом пришла ее дочь, маленькая женщина с кукольным, удивленным лицом. Обе они наперебой рассказывали мне о пережитых ужасах.

Я спросил, почему же они тогда так рвутся в Ленинград.

— Ну, — ответила мать, — ведь это же наш город...

Потом я сидел у окна и смотрел на про-

летающие самолеты. Мне казалось, что все они летят в Ленинград. Я думал о том, что мог бы быть на одном из них. И тогда через полтора часа я был бы уже в Ленинграде.

Я снова отправился в штаб гражданской авиации. Но там мне повторили то, что я уже слышал утром. Я бесцельно побродил по деревне, вернулся засветло и рано лег спать.

Утром я позвонил майору. Он мне ответил, что говорил обо мне в штабе, но там не знают, когда будет самолет.

Я не пошел больше в штаб, а направился прямо на аэродром, чтобы узнать, не ожидают ли самолета.

На площадке аэродрома было пустынно, и только приглядываясь, я увидел боевые машины, замаскированные хвоей.

Я спустился в землянку оперативного дежурного.

Он не сказал мне ничего утешительного. Вчера самолетов не было, а будут ли сегодня — неизвестно.

В это время я услышал нарастающий гул. Я выбежал из землянки и увидел трех «Дугласов», снижающихся над аэродромом. Через несколько минут «Дугласы» сели, и три летчика направилась к землянке.

— Куда? — спросил я стартера.

— На Питер, — ответил тот. — Вот подготавливают к взлету. Я спустился в землянку. Трое летчиков в меховых комбинезонах сидели на парах и курили. На аэродроме самолеты заправляли горючим. «Через какие-нибудь двадцать-тридцать минут они улетят», — содумал я. Я обратился к ближайшему летчику, курившему папиросу. Но он замотал головой тотчас же, как узнал, в чью дело. Нет, нет. Он не может. Самолеты перегружены. Он не может взять ни одного человека. Второй летчик так же отрицательно покачал головой.

Третий, тот, что курил трубку, поднялся и вышел из землянки. Я пошел за ним. Летчик шел большими шагами. На нем были собачьи унты. Я догнал его у самолета.

— Послушайте, — сказал я ему. — Я корреспондент, и у меня ответственное задание...

— Я это слышал, — произнес летчик, не вынимая трубки изо рта. Он сказал это так равнодушно, что я готов был его ударить.

— Но вы не слышали другого, — в отчаянии почти крикнул я. — У меня в Ленинграде... человек... жена... может быть, она уже умерла. — Я закурил губы. Мне было трудно говорить. Летчик вынул трубку изо рта и внимательно посмотрел на меня. Потом он сказал:

— Садитесь.

Я бросился к самолету, но, уже ухватившись за поручни лесенки, вспомнил, что мои вещи и посылки в деревне. Все рушилось. Я побежал к летчику и рассказал ему, в чем дело.

— У вас есть тридцать минут, — сказал он.

Я бросился в деревню. Задыхался. Знал, что не успею. Услышал сзади сигнал и обернулся, — шла машина. Остановил ее, встав посреди дороги. Вскочил в кабину, и мы поехали. Я сказал шоферу, что он должен отвезти меня обратно с вещами. Тот согласился. Если бы он не согласился, мне кажется, я заставил бы его любыми средствами...

Когда мы возвращались на аэродром, моторы «Дугласов» уже ревели. Я бросился к крайнему самолету. Летчик с трубкой в зубах стоял у лестницы. Один «Дуглас» был уже в воздухе, а другой только что оторвался от земли. Шофер помог мне втащить мешки. Когда я уже собрался шагнуть в кабину, летчик поклонился к моему уху и сказал: — Я ждал вас лишние две минуты. — Я пожал ему руку.

В кабине по обе стороны, на длинных скамьях, сидел человек пятнадцать военных. В проходе стояли ящики. В центре — лесенка, ухонившая под съютойной колпак. В колпаке был укреплен пулемет и под ним сиденье для пулеметчика. По бокам, на скамьях, тоже стояло по пулемету. Летчик влез в кабину следом за мной, на ходу выколачивая трубку, втянул лесенку, захлопнул дверь и прошел в переднюю часть самолета, отделенную от кабины перегородкой. Затем моторы заревели сильнее, и самолет покатился по полю аэродрома. Пулеметчик полез в колпак и уселся на своем вращающемся стуле. Его ноги, обутые в унты, свешивались вниз. Я смотрел в окно и видел, как несло мимо нас снежное поле и как мы отделялись от него, сначала едва-едва, а через минуту снег остался далеко внизу.

Я посмотрел на часы. Теперь каждая минута приближала меня к Ленинграду на два-три километра. Мне хотелось перевести стрелки часов сразу на полтора часа. Через полтора часа я должен быть в Ленинграде, если все будет благополучно. Я был уверен, что так и будет. Из окна кабины я видел, как из-за огромного брыза «Дугласа» появляются иногда два истребителя. Мы шли под прикрытием четырех «Мигов».

Теперь мы летели над Ладогой — «дорогой жизни» Ленинграда. Небо было чистое. Облака виднелись только у горизонта. Мы шли так низко, что я ясно видел бокоины авто-

машин внизу и зенитки, расставленные на трассе. Лед был так близко, что мне казалось, — мы не летим, а мчимся по льду.

В стороне от трассы я увидел внезапно взметнувшийся фонтан снежной пыли и снега, ставшего вдруг черным. Это была по трассе немецкая артиллерия. Через несколько минут мы миновали Ладогу и самолет поднялся выше. Мы пробыли в воздухе больше часа и теперь летели над деревянными строениями. Истребители уже не прикрывали нас, они повернули обратно. Я не заметил, когда мы пошли на снижение. Я посмотрел в окно, когда мы уже шли над аэродромом, и увидел стартера с флажком в руке. Мы были в Ленинграде.

★

Я вышел из самолета первым. Еще не успели подставить лесенку, как я выпрыгнул. Кто-то бросил мне мешки. Я связал их, перекинул через плечо и пошел по снежному полю аэродрома. Стартер махнул мне флажком, когда я проходил мимо, и крикнул:

— Ну, как там, на Большой земле?!

Я махнул ему рукой:

— Ничего, воюют.

— Подождите, — крикнул стартер, — сейчас в город пойдет машина.

Вскоре я увидел машину. Она неслась по дороге, и я уже слышал, как позвонивают цепи на колесах.

Это была полуторка. Она остановилась метрах в десяти от меня. Я не успел поднять даже руку, как шофер, высунувшись в разбитое окно кабины, крикнул: — Ну, давайте быстрее. Я схватил мешки и, волоча их по снегу, побежал к машине. В кузове сидело несколько летчиков в меховых комбинезонах. Один из них помог мне сесть. Мы ехали несколько километров по равнине, потом мимо нас промелькнули разбитые деревянные строения: в одном из них я с трудом узнал павильон автобусной станции. Мы проехали еще несколько километров, и я увидел трамвай, стоящее на кругу. Я постучал по верху кабины, машина остановилась, я вылез и пошел к трамваям.

Уже стемнело, и только подойдя к вагонам, я понял, что напрасно торопился. Трамваи стояли здесь очень давно и совсем не собирались отправляться. Оконные стекла вагонов были выбиты, на ручках и на веревке, прикрепленной к бутелю, серебрился иней, и рельсы были глубоко залесены снегом. Но я все-таки рассматривал, что это 9-й номер. Когда-то он проходил через самую оживленную часть города.

Я опустил мешки в снег, присел на трамвайную подножку и горько пожалел, что слишком рано оставил машину. Быстро темнело. До города оставалось километров шесть. Где-то была зенитная артиллерия, но звуки выстрелов были не такие, как в поле, а сливались в сплошной рокочущий гул.

Я посмотрел в сторону города. Ленинград лежал передо мной холодный и суровый. Крыши домов и купола казались вылепленными из снега, и над ними медленно скользили лучи прожекторов.

Я встал, взвалил мешки на плечи и пошел в город. Мне очень хотелось встретить кого-нибудь и спросить, далеко ли до города. Так бывает на лесных фронтовых дорогах; идешь и знаешь, что до части столько-то километров, а все равно хочешь кем-нибудь встретить и спросить, чтобы просто услышать человеческий голос.

Стало совсем темно. Я долго шел по безлюдным улицам. Зенитки утихли, и послышался непрерывный равномерный стук, будто в каждом доме сидят дядя. Потом выяснилось, что это метроном, включенный на радио. Наверно, это имело какое-то условное значение. Позже я узнал, что равномерный, медленный ритм метронома слышался учащимся в моменты воздушных тревог или отступлений.

Я долго шел. С трудом угадывал углубления. Они все были пустынные, заослепленные, безмолвные... Я не заметил, когда ко мне подошел Лейтейный и я оказался на углу Пискаревского.

Последний раз я был тут год назад. Ночью на этой улице было светло, как днем. Сияли два ряда молочных-белых фонарей, окна домов, фары машины, и можно было читать газету. Сейчас только яркое звездное мерцало в далеком и холодном небе.

Я всматривался в дома, мне хотелось перекинуть хоть маленький мостик в прошлое, в светлый и шумный мир, потянувшийся сейчас в стелках и мраке. Я вспомнил это звездное на углу, столы писем справочного бюро, где мы однажды с Лейдой заказывали справку.

Я перешел через дорогу. Рядом стоял электрический и аэрокопированный, как часовой. Окна были выбиты, и окна намогавших пустыне глазные выходы.

Я перешел в редакцию фронтовой Ленинградской газеты, избегая от усталости.

Здесь пролежал в кабинете редактора. В коридоре, установленной черной железной мебелью комнате, за большим столом сидел худощавый человек. На столе стояла лампа «смошная». В углу стояла печка.

Я представлялся и рассказал о своем получении. Редактор спросил меня, где я устроился. Я сказал, что пришел прямо с аэродрома.

— Идите-ка в «Асторито». Там хоть холодовато, но жить можно, — сказал он. — Прямо туда и валяйте. А утром приходите, поговорим подробно.

До «Асторито» было совсем близко. Огромное здание из серого камня выглядело мрачно. Витрины были доверху засыпаны песком и забиты досками. В темноте грохотился Исаакий. «Ну, вот, — подумал я, — брут и замкнулся. Вот из этого огня мы смотрели на собор. Вот тут, на площади, сейчас заваленной сугробами, когда-то зеленел сквер...»

Я протиснулся в узкий проход, оставшийся от двери, забитой досками. На меня нахлынуло холодом и сыростью мрамора. Я огляделся. Где-то вдали, как лампада, горела коптилка. Я подошел к огню. В нише, за столом, сидела женщина. Она была в шубе, с поднятым воротничком и повязана платком так, что лица ее не было видно. Мне показалось странным спросить обычное: «Есть ли номера?» — и я спросил, можно ли мне устроиться недельки на две? Женщина отвечала медленно и устало, и голос ее, доходящийся из глубины шубы и платков, звучал тускло и глухо.

Я получил комнату на втором этаже. В темноте, ощупью, пробрался на второй этаж. В дали коридора показалась красноватая точка, и я услышала гулко шаги по каменному полу. Я пошел навстречу огню и скоро поразился с высоким человеком в шубе вышедшему. Он помог мне найти мой номер и быстро пошел по коридору, прикрывая огонь ладонью.

Я открыл дверь, чиркнул спичку и зажег коптилку. Изловок коптящего пламени почти не давал света. Все же я различил, что стою в большой комнате, и увидел двухместную деревянную кровать. Это было почти все, что мне хотелось сейчас увидеть. Я сел в кресло, стоящее у столика, и вынул из кармана маленькую фотографию. Поставил картонку на стол, прислонив ее к черныльнице. При свете коптилки родное лицо казалось чужим. Потом подошел к кровати. Одежда и подушки были холодные и сырые. Стал раздеваться, качаясь от холода, залез под одеяло и сверху укрылся полушубком.

Но спать не мог. Я лежал и думал о том, как медленно тянется ночь, и о том, что когда-нибудь дастся утро и я пойду туда, на Невскую заставу. Было совершенно тихо, и мне казалось, что только один я живу в этом

здании, огромном, как собор, и холодном, как колодец.

Потом мне показалось, что слышу звуки рояля. Я подумал, что это галлюцинация, но все же приподнялся и прислушался. Сомнений быть не могло, я слышал рояль. Играли где-то далеко, и в абсолютной тишине звуки доносились до меня тихими и прозрачными, как кристалл. Это была 6-я симфония Чайковского. Было страшно лежать в этом бездонном здании во мраке, тишине и холоде и слушать самое трагичное, что когда-либо было создано музыкантом.

Эта симфония повергала меня в смятение и тогда, в те далекие времена, когда горели огни и люди жили по-настоящему. Я попытался вспомнить, когда я слышал ее в последний раз, и стал перебирать события последнего перед войной года, но потом все это ушло куда-то вглубь, и только рояль звучал, и мне казалось, что это я сам играю, и я опустил холост от прикосновения пальцев к клавишам, а аккорды звучали у меня в ушах, а потом уже не стало ничего — ни звука, ни клавиш, а было ощущение чего-то огромного, громоглаголющего в ночи, как Исаакий... Затем начали бить зенитки, сначала далеко и глухо, как морской прибой, а затем близко, как удары в барабан. Потом я заснул, а когда проснулся, мне захотелось снова услышать рояль, но было тихо, совсем тихо и холодно, — так, как не бывает даже на улице, а только в больших и высоких домах, где много мрамора и металла.

Потом я подумал, что перекрестов Ладого, я попал в грозный и пока еще репозитивный мне мир, где стреляют зенитки, бродят люди-тени и по ночам слышатся звуки 6-й симфонии. Впервые я ясно ощутил, что ни одна минута, проведенная мною в Ленинграде, не принадлежит мне лично. Ни одного впечатления, ни одного факта не смел я утаить от посланных меня людей, людей, от которых зависит судьба таких, как Лидя.

Я встал, зажег коптилку, достал лист бумаги и карандаш из полевой сумки и написал заголовок моей первой корреспонденции:

«Самолет приземлился в Ленинграде...»

Холодный зимний свет падал в окно. Я быстро оделся и вышел на улицу. Дул ветер. Исаакий был покрыт огромной снеговой шапкой. Я решил до, всяких дел поехать туда, за Невскую заставу. Я пошел по направлению к Невскому. Проходя по улице Гоголя, я увидел мемориальную доску на стене одного из домов. Там было написано: «В этом доме жила и скончался Петр Ильич Чайковский 10 октября 1893 года».

Навстречу мне вышла женщина. Я за-

метил ее издали. Я не различал ее шагов. Он были настолько мелкие, что, казалось, женщина медленно плывет по снегу. Теперь я видел, что она что-то тащит за собой. Я не сразу понял, что это. Женщина тащила за собой доску, к которой был привязан длинный, похожий на спеленутую мумию, сверток. Я поравнялся с женщиной и пошел медленнее. Она даже не взглянула на меня. Она смотрела вперед — сквозь меня, сквозь дома. Казалось, что она видит что-то впереди, скрытое от меня. Я посмотрел ей вслед и пошел вперед, а когда обернулся, свертка уже не было видно, и женщина, как серая тень, на фоне сугробов медленно слыла в предрассветную мглу.

Я вышел на Невский. Утром он выглядел еще более безлюдным. Мне показалось, что я читаю какой-то фантастический роман о последнем дне мира, о том, как в результате космического похолодания прекратилась жизнь на земле и города стоят выжженные, занесенные снегом.

В центре следы разрушений не очень бросались в глаза. На Невском пало было приглядываться, чтобы увидеть разбитый дом. Но чем дальше удалялся я от центра, тем больше встречалось домов с развороченными стенами и зияющими провалами лестничных клеток. На улицах стояли трамваи. Занесенные снегом, они были похожи на суда, затертые льдами.

Окна балконов и полуподвалов были заблочены досками или заложены кирпичом с маленькой амбразушкой посредине. Ко многим домам, как уродливый парост, приросли небольшие сооружения, похожие на утиг, тоже с амбразушками посредине.

Нередко мне встречались люди. Они шли медленно, с трудом переступая ноги. Я всматривался в их лица и у многих встречал тот же взгляд, который поразила меня при утренней встрече: устремленные вперед глаза, казалось, проникающие сквозь снег и камень. Я несколько раз собирался остановить первого встречного и заговорить с ним. И в самую последнюю минуту язык мой прищипал к горлану. Мне почему-то казалось стыжным выводить этих людей из молчания, и я боялся, что мы не пойдем друг друга.

Часа через два я добрался до Нарвской заставы. Занесенный снегом шоссе было перерезано плагибаумом, а по обеим сторонам узкого прохода стояли часовые с автоматами на груди. Я предъявлял документы и вышел за плагибаум.

Раньше я хорошо знал этот протяженный район. В предвоенные годы он сильно раз-

росся. Сейчас это была равнина с горбами занесенных снегом дзотов, с редкими трубами, чулом уцелевшими от снарядов, одиноко торчащими прямо из снега. Снег кругом был в черных пятнах — следах артиллерийских разрывов. Заиндевевшие трамвайные рельсы, выгнутые в скобы, торчали над снегом. Справа высилась баррикада из трамвеев, изрешеченных осколками. Трамвай стоял, засыпанный песком, их окна были превращены в бойницы. По обеим сторонам дороги тянулись маскировочные сети.

Тот дом я увидел издалека. Он стоял среди таких же, похожих друг на друга, домов. Я не узнал, его, но угадал, почувствовал. Его стены были разворочены снарядами. Балконы свесены. В провалы стен виднелись лестничные пролеты. На крыше был сорван, очевидно, снарядом большой лист железа, и он, перегнутый пополам, провисал на ветру, как огромное воронье крыло на белом снегу.

Мне стало страшно. Страшно потому, что я только сейчас понял, насколько бесцельно было пытаться кого-нибудь отыскать здесь, на поле боя... И все-таки я шел и шел и как будто бы ждал чуда, но чуда не свершилось, и полуразбитый обледеневший дом стоял передо мной, а крыло было на холодном ветру...

Я пошел медленнее. Теперь мне хотелось чтобы расстояние между мной и домом сокращалось. Я шел к дому потому, что не мог не идти, потому что он притягивал меня и мне было странно думать, что через несколько минут я вплотную подойду к этой могиле из холодного камня и снега.

Я стал думать о том, что, может быть, в доме еще есть кто-нибудь из прежних жителей и я смогу разузнать о ней.

Минутя наголы и баррикады, я подошел к дому. Вблизи он казался огромным. Я различал трещины на крыше и видел край кирпича, выскочивший из провала в стене. Вот тут была дверь, в которую я входил так часто. Тут был асфальт. Подходя к дому, Лила ускоряла шаг и шла вперед. Вот здесь она останавливалась и вскакала в окошко... Я вошел в провал. На лестнице не хватало многих ступеней. Там где не хватало нескольких ступеней подряд, их заменяла одна длинная доска. Я стал медленно подниматься.

Над лестницей тянулись провода. У стоек пролетов слышались невидимые спарушки бойцы, прицелившиеся в пулеметам. Внизу, в провале, чуть слышно всхлипывала гармоника и высокий женский голос пел песню. Мне было приятно слышать женский голос и слышать

пестно. От этого становилось теплее. Я поднимался все выше и выше. Наконец я дошел до четвертого этажа. На этой лестничной площадке мы обычно останавливались, чтобы взглянуть на Финский залив. Потом она открывала дверь...

Теперь двери не было. Я вошел в комнату и осмотрелся. Я не мог обнаружить ни одной детали, напоминавшей мне о прошлом. Ничто не говорило мне о том, что вот здесь стоял низкий плюшевый диван с подушками, которые она сама вышивала, а здесь — письменный стол с моей фотографической карточкой... Потом я подумал, что вот там, у стены, лежала ее умершая мать, а за дверью — ребенок, и она ходила от одного трупа к другому и плакала, стоя на лестничной площадке, если еще не разучилась плакать... Потом пеленала мать и привязывала к доске и шла так, как шла та женщина, — мелкими шагами, точно шила...

У окна, замаскированного так, что снаружи оно совершенно сливалось со стеной, сидел спиной ко мне боец. Перед ним была стереотруба, справа висел телефон, таблицы и карты. Я отнулся от вспоминавший, услышав, как боец говорит в телефонную трубку: — Послушайте, пожалуйста... Опять правее трубы стреляют те же данные, пожалуйста... Прошу дать огонь... — Он замолк и ~~прислушался~~ к окну. И через секунду я услышал пушечный выстрел, а затем разрыв. В это время вошел второй боец и сменил первого у трубы. Тот нехотя оторвался от окуляра, повернулся, увидел меня и отразился: — Гвардии старшина Каирбеков. Кто вы такой, прошу сказать? — Я улыбнулся его манеро выразиться и предъявил документы. Воспоминания кончились. Я оказался рабочий день.

— Военный корреспондент будете? Очень хорошо! Беседовать будете — спросите. По мне сейчас не хотелось ни о чем беседовать. Мне хотелось постоять еще немного в этой комнате, в которой раньше заключались судьбы меня полмира, и уйти, чтобы никогда больше не возвращаться.

Но Каирбеков уже отвечал за меня:

— Конечно, будете беседовать! Вот сидит, садитесь, пожалуйста... Только лучше не садитесь. Мы сейчас вниз пойдем. Там в лагере мой друг сидит. Тот не русский национальности. Казах. Мухтар будет. Очень интересный человек. Идем, пожалуйста.

Каирбеков уже вышел на площадку, очевидно, не представляя себе, что я могу не пойти за ним. И я действительно пошел. Через несколько минут мы остановились у двери.

— Войдем, пожалуйста, — сказал Каирбеков, ныряя под мокрый полог. Я полез за ним.

В маленькой кабине у амбразуры сидел спиной ко мне боец. Другой, зажав между ног котелок, хлебав (выливающийся суп деревянной ложкой).

— Прошу познакомиться, — сказал Каирбеков, — мой друг Мухтар. — Он добавил несколько слов по-казахски и два по-русски: «Военный корреспондент». Мухтар поставил котелок на стол и встал. — Гвардии ефрейтор Тажибаев, — отработовал он по форме, — и, застенчиво улыбнувшись, спросил, не хочу ли я есть. Мне было стыдно признаться, но в этот момент я почувствовал, что здорово хочу есть. То, что я не ответил сразу, Каирбеков, видимо, принял за согласие, тут же вытащил из кармана ложку, обтер ее куском газеты и подал мне. — Сначала будем есть, потом беседовать, — сказал Тажибаев.

Второй боец так ни разу и не обернулся. Он пришел к амбразуре у пулемета. Я видел только его широкую спину. На стене над амбразурой висел пестрый женский шарф. Над ним крест-накрест были приращены две еловых ветки.

Мне не хотелось спрашивать, как пошел сюда этот шарф. Сейчас мне хотелось молчать и ни о чем не думать. Мне было хорошо, и я перестал чувствовать холод разбитого дома. Опять, как когда-то в поезде, я почувствовал, что все теряет глубину, плывет, находится на поверхности и голова не кружится от страха перед черным и холодным пространством. Я только боялся, что меня начнут расспрашивать и мне придется отвечать, но меня никто ни о чем не спрашивал, будто мысли мои были видны всем.

— Послушайте, — сказал я, неопытно для самого себя, — что это за платок?.. — Я ~~сказал~~ это, и мне стало обидно за вырвавшиеся помимо моей воли слова. — Так... платок... — медленно и нехотя отозвался Мухтар, и я был ему благодарен. Я сидел, отпустив голову. А когда я поднял ее, то увидел, что Каирбеков уже ушел, а Мухтар сидит попрежнему, поджав под себя ноги, и слегка покачивает головой...

Мне стало тепло, когда я вышел из дзота. Унося с собой историю жизни Мухтара Тажибаева. Над Финским заливом поднялся туман, и казалось, что все кругом — и снег и туман — слилось в одно целое.

Я вернулся к дому и решил зайти в подвал, откуда недавно слышалась гармонь. Оказалось, что в подвале была кухня. Девушка-

новар выслушала меня, покачала головой и сказала:

— Мы здесь не так давно стоим, а до нас были другие. А когда тут гражданские жили, я и не знаю. — Она вытерла ладонью пот со лба, — в подвале было жарко.

...Я шел в город и видел, как рассеивается туман и солнце, подчеркнутое двумя прямыми линиями облаков, спускается в Финский залив. Огромные аэростаты, точно дыкониные рыбы, медленно поплыли в небо.

Дойдя до заставы, я обернулся. В полумраке, покрытый маскировочной сеткой дом был виден мне только в своих очертаниях.

Я пришел домой и зажег континку. Я почувствовал, что не могу спать, и сел писать очерк о Мухтаре Тажибаеве. И уже написав первые строки, я понял, что это и есть то, что мне хотелось сделать.

★

Утром я отнес на телеграф очерк о Тажибаеве и подумал: «Вот я узнал что-то еще об одной жизни, но ничего не узнал о жизни той, которая была частью меня самого».

Было еще рано, когда я пришел в редакцию, но сотрудники уже работали: где-то стучали машинки, и я слышал голос, кричащий позывные в телефон.

Я подробно договорился с редактором о том, как буду работать и передавать корреспонденции в свою газету. Потом я спросил, где сейчас помещается адресный стол. Редактор улыбнулся моей наивности и ответил, что никакого адресного стола нет, сотрудники на фронте, а сам стол, наверное, сожгли на дрова. Тогда я спросил, какая же существует возможность разыскать человека? — Возможность одна, — шутя ответил редактор: — снять блокаду и выиграть войну. — Затем зазвонил телефон на столе, и он протянул одну руку к трубе, а другую — мне. Я ушел.

Оставался еще один путь: личные звонки. Два адреса были записаны в моем блокноте. Отыскивая страничку, на которой были записаны адреса, я натолкнулся на аккуратно сложенный листок. Я развернул его. Там было написано одно только слово: «Пробьюсь». Это была памятка разбитого параличом лейтенанта Андрианова.

И снова шел я по пустынным застывшим улицам. Изредка встречались люди. С кофейниками, электрическими чайниками, самоварами и бутылками они двинулись к Неве за водой.

Я видел, как женщина, идущая мне навстречу, оставившись, прислонилась к стене и медленно стала сползать в снег. Я подбежал, чтобы помочь ей подняться, но она была уже мертва. Чайник, который она несла, беспомощно зарылся в снег. Я обернулся, чтобы позвать кого-нибудь, но никого не было.

Стоял около трупа, не зная, что предпринять. Женщина лежала на снегу. Вглядевшись в лицо. Оно было совсем молодое. Сидящий волос, выбиваясь из-под платка, казалась заимдевшей, ее нос заострился, и кожа на щеках была дряблой. У нее были большие ресницы, тонкие брови...

В конце улицы показалась полуторка. Я сошел с тротуара, чтобы остановить машину. Поравнявшись со мной, шофер затормозил. Из кузова медленно вылезли два человека. Я следил за тем, как они вылезали, как молча подошли к трупу и подняли его. Затем двое мужчин медленно забрались в кузов. Шофер дал газ, и машина двинулась, поднимая снежную пыль. Скоро она скрылась за поворотом.

Начинался буря. Взрыхленный снег у стены — там, где упала женщина, постепенно становился ровным и белым. Чайник был уже занесен снегом, и только блестящий металлический носик торчал наружу.

Я пошел дальше по направлению к штабу. По дороге мне встретилось несколько морских патрулей, небольшое подразделение пехоты, отряд всеобщая, занимающийся на площади. Немолодые люди, видимо, рабочие в пальцах и ватных куртках, подпоясанные веревками и ремнями, изучали стрелковое дело. У одного из домов человек заделывал черепицу, вывавший из стены дрова, пристроившего к дому. Он старательно обмывал кирпич мерзлыми руками, крошащейся, не похожей на известку массой.

Потом я увидел женщину, выходящую из будки. В руках она держала хлеб — маленький кусок, не более двухсот граммов. Она держала его в одной руке, а пальцем другой чертила на нем какие-то линии. Затем она остановилась, повернувшись лицом к стене. Я видел, как шевелятся ее губы. Женщина шептала, обращаясь к хлебу: «Тебя съем, тебя оставлю Дене, а вот тебя я съем, а тебя вот тоже Дене...» — и пальцем делала на хлебе какие-то дольки. Я быстро пошел, стараясь убежать от этого шепота. Но он звучал в моих ушах, даже когда я потерял женщину из виду. Шел и слышал: «Тебя я съем, а вот тебя — Дене...»

Стучал метроном. В городе было спокойно, и метроном стучал строго, размеренно. Надо мной висели обрывки трамвайных и троллейбусных проводов, и в них завывал ветер.

Было уже два часа, когда я подходил к штабу. Не скоро отыскал его: гигантское здание было сплошь прикрыто маскировочной сеткой. Засыпанная снегом, она делала штаб неразличимым даже вблизи. Здесь, в этом здании, знавшем каждому по бесчисленным описаниям и кинофильмам, был центр обороны Ленинграда.

В полумраке комендатуры, у окошка бюро пропусков и телефонных будок толпились люди.

В коридорах штаба горело электричество. Я настолько успел отвыкнуть от электрического света, что даже тускло свечающие лампочки резали глаза.

Наконец отыскал пугливый мне отдел и договорился о связи.

Теперь я был свободен и мог отправиться на розыски. Я решил идти по первому адресу. Это было в другом конце города, но я твердо решил сегодня хоть что-нибудь узнать о Лиде.

Уже темно, когда я разыскал этот дом. Было очень трудно рассмотреть в полумраке его номер. Я поднялся по темной каменной лестнице на четвертый этаж. Пахло сыростью. Я зажег спичку. Впереди был длинный коридор с множеством дверей. Я подошел к первой двери. Она была закрыта на всякий замок, и под замком висела картонка с большой сургучной печатью. На черной табличке значилось «36». Это был именно тот номер, который я искал.

Я постоял несколько минут у двери, ожидая, что кто-нибудь выйдет в коридор и я спрошу о хозяевах этой комнаты. Но никто не выходил, и за дверями было так тихо, будто в этом доме никто не жил.

Я не смог заставить себя открыть одну из этих дверей. Что-то говорило мне, что не следует их открывать. Выйдя на улицу, увидел дворника, дежурившего в подъезде соседнего дома. Он проводил меня до квартиры управхоза.

Управхоз сказал мне, что Сидоровы из тридцать шестого номера еще осенью эвакуировались.

Все было ясно, и не к чему было продолжать разговор. Но я все-таки спросил, не живет ли в доме кто-нибудь из близких, знавших Сидоровых.

— Нет, не знаю, — покачал головой управхоз, — всех не упомянешь. Да и память сейчас не та стала...

Я ничего не ответил и вышел из комнаты.

Дворник попрежнему дремал в подъезде.

— Послушайте, товарищ, — сказал я, — вы давно здесь дворником?

Дворник поднял голову и сказал:

— Лет пять.

— Вы Сидоровых помните? Тех, что в тридцать шестой квартире жили?

— Это что осенью эвакуировались? — спросил дворник. — Как же, помню! Дрова им всегда возил. И собака у них была такая. Пудель. Подохла... — Ему, видимо, доставляло удовольствие вспоминать прошлое.

— А не помните ли, к ним девушка ходила — Лидя? Она часто к ним ходила. Лидя. Невысокого роста. Не помните?

Дворник покачал головой:

— Разве всех упомянешь?! Оно, конечно, может, и ходила, а только всех не упомянешь.

Вдали били зенитки. Небо разрывалось голубыми вспышками, и снег в эти минуты казался прозрачным и чистым, точно собранный из отдельных кристаллов.

— Дает, проклятый! — тихо сказал дворник. И добавил еще тише: — Разве тут девушку найдешь, поварац военный? В такой-то заварухе? Семейства целые по всей земле рассыпались. Где уж тут найти...

— Да, — ответил я, — это вы правы, ну, прощайте. — Я пожал ему руку...

Радио объявило тревогу. Зенитки били, не умолкая, а в перерывах слышался лихорадочный стук метронома.

— Стойте! — услышал я позади себя женский голос.

Я обернулся. В двух шагах от меня, за высоким сугробом стояла девушка. Она была очень мала ростом, почти невидимая из-за сугроба.

— Стойте! — повторила она, хотя я и не двинулся с места.

Девушка с трудом перелезла через сугроб. На ней была шапка-ушанка и стеганая куртка, подпоясанная ремнем, на котором висела огромная брезентовая кобура.

— Просту предъявить документы, товарищ командир, — сказала девушка.

— Кто же вы такая? — спросил я.

— Пост комсомольской заставы, — сухо ответила она.

Девушка зазгла карманный фонарик и долго рассматривала мое удостоверение.

— Корреспондент? — спросила она, поднимая голову и глядя в меня.

— Не похож? — отозвался я.

— Нет, отчего же, — сказала девушка, подавая мне удостоверение, и улыбнулась. —

Можете идти! — Но теперь мне не хотелось уходить.

— Так вы тут и стоите одна, за сугробом? — спросил я.

— Во-первых, я не одна, — ответила девушка, — а во-вторых, вовсе не за сугробом. Это я просто случайно здесь стала.

— А где же остальные?

— В доме.

— А зайти туда можно?

Девушка молчала. Она, видимо, колебалась.

— Вообще-то в караульное помещение посторонним нельзя, — сказала она наконец, — но вам как корреспонденту, думаю, можно. Вот этот дом. — Она показала рукой на двухэтажный дом.

Я перелез через сугроб и вошел в подъезд.

— Направо, как войдете! — крикнула мне вслед девушка. — Голову там себе не сломайте!

Предупреждение последовало вовремя. Я чуть было не скатился в ледяные валуны в подъезде. Лед был повсюду: он покрывал ступени и сосульками свисал с перил.

Где-то вдалеке маячила полоска света. Я пошел на нее и скоро очутился перед дверью. В небольшой комнате, освещенной стоящей на столе копилкой, на кровати сидела девушка. Она встала, когда я вошел.

— Что вам, товарищ командир? — резко спросила она.

Я сказал, что мне как военному корреспонденту хотелось бы познакомиться с работой комсомольской заставы.

— Документы! — так же резко сказала девушка. Я протянул ей удостоверение, и она, так же как и та девушка на улице, внимательно просмотрела его.

— Собственно, вам следовало бы зайти в штаб получить разрешение, — сказала она, возвращая мне документы. — но сейчас тревога... и темно... Ну, словом садитесь. Я начальник заставы.

Она показала мне на кровать.

Девушка села рядом со мной. Теперь я разглядел ее: она была высока, худая, одета в неизменную стеганую куртку, подпоясанную солдатским ремнем, в валенках.

— Не найдется ли у вас закурить? — спросила девушка.

Я вынул пачку папирос. Она протянула руку, и я увидел ее тонкую, обтянутую желтой кожей кисть.

Не знаю, заметила ли она или почувствовала мой взгляд, но только она поспешно одернула руку, так и не взяв папиросу.

Я сделал вид, что не обратил внимания на

этот жест, и поднес коробку ближе к ее руке.

Девушка неуверенно взяла папиросу, стараясь не высовывать руку из рукава. Я спросил ее имя, — ее звали Ксения Сергеева.

— Так и живете здесь? — спросил я, зажимая спичку.

— Так и живу, — ответила девушка, жадно затягиваясь. — Я здесь восьмой год живу. Чему вы удивляетесь? — улыбнулась она. — Ну да, это моя комната. А теперь вот здесь пост комсомольской заставы. Все ясно...

Я оглядел комнату. Мои глаза привыкли к полумраку, и я разглядел следы прежнего домашнего уюта. Я увидел красивую настольную лампу, стоящую в углу, почерневший от копоти письменный прибор на столе, плетеное кресло, на шотором лежало несколько стеганых курток, а на противоположной стене портрет какого-то мужчины с усиками.

— Кто это? — спросил я, показывая на портрет.

— Неужели не знаете?

Я встал и подошел к портрету. Это был Чарльз Чаплин.

— Чаплин? — спросил я удивленно.

— Ну, да. Чаплин! Мой любимый артист. — Ксения помолчала и добавила. — Я ведь тоже актриса. Играла в Нарвском доме культуры. Только это давно было, ~~то этот~~ момент я услышала далекие звуки музыки.

— Что это? — спросил я. — Радио?

— Радио, — ответила Ксения. — Это в комнате наверху... Там уже никто не живет, и комната запечатана... А радио все работает, играет...

Зенитки, умолкнувшие исподолгу, снова загрохотали.

— Вы знаете, — внезапно сказала Ксения, — я люблю, когда бьют зенитки. В эти минуты ощущаешь силу. В те вот последние недели было тихо. Они не летали выше. Все думали, что мы так и погибнем. Тихо так было... И страшно. А сейчас вот снова начали. Видят, что мы не хотим умирать...

Мы помолчали.

— В чем заключается ваша работа? — спросил я.

— Мы — пост комсомольской заставы. В помощь войскам по охране города. На нашем посту — четыре девушки. Тоже актрисы.

— Так... — сказал я, отвечая собственным мыслям, — когда-нибудь вы сыграете замечательную пьесу в Ленинграде. Когда-нибудь ее напишут.

— Она уже пишется, — убежденно провознесла Ксения. — Я не знаю, пишет ли ее кто-нибудь на бумаге... Пожалуй, бумага

сейчас и не пужна... Но каждый из нас эту пщесу шешет...

Она встала и медленно прошлась по комнате. У нее были пляные движения, длинные руки, худое, заостренное лицо, светлые волосы.

— Вот мы живем тут, — четыре девушки, в холодном и пустом доме, — сказала Ксения, — и, знаете, может быть, это покажется вам наивным, но иной раз я думаю, что только нам, нашей четверке, поручено защищать Ленинград и вся ответственность лежит на нас... Вы не представляете себе, как обостряются здесь все чувства, все ощущения...

Ксения говорила задумчиво, медленно, и хотя она обращалась ко мне, — я чувствовал, что она разговаривает сама с собой.

— Сначала надо было побороть самое себя. Встаешь, — хочется есть... Надо умыться... Нет воды... холод... За дверью лед... Надо что-нибудь выстирать... нет воды... Надо идти за километр, чтобы принести воду... В чайнике много не принесешь... и хочется есть... Надо идти на пост... там еще холоднее... Но надо, вы понимаете, надо побороть голод, надо умываться, обязательно умываться... надо стирать, все надо, иначе плохо будет, визите умрешь... И на пост идти надо, обязательно надо... Мы следим друг за другом... Вы понимаете, что оттого, что ты следил за собой, следил поминутно, не распускаешься, — от этого зависит твоя жизнь...

А я подумал о том, что вижу уже второй дом, превращенный в крепость. Правда, этот дом был почти пуст, в нем не стояли пулеметы и не было амбразур и он был весь опечатан, кроме этой комнаты, в которой бдись недоступные холоду сердца. Но все же этот дом был крепостью, охраняющей Ленинград.

Ксения стояла у окна, спиной ко мне. Я взглянул на нее, мне вдруг почудилось, что это Ляда моя стоит у окна. И невольно, не отдавая себе отчета, я сделал шаг по направлению к ней.

Ксения обернулась, я увидел ее лицо, сосредоточенное и суровое. И подумал, что нет, у моей Ляды лицо более мягкое и доброе. Но тут же мне пришла в голову мысль, что ведь я помнил ее лицо тогда, в далекие счастливые дни. Кто знает, как выглядит оно теперь?

Зенитки замолкли, и снова стало слышно радио оттуда, из пустой запечатанной комнаты.

Потом послышались шаги за дверью, и вошла та самая девушка, что проверяла у меня документы.

Ксения надо было идти на пост. Мы вышли вместе. Я попрощался с ней, и она встала, прислонясь к стене большого гранитного дома, и стала незаметной, точно слилась со стеной.

Было совсем поздно, когда я добрался до «Астории». Я ничего не чувствовал, кроме тупой боли во всем теле и усталости. Я не мог ни о чем думать. Я шел, тяжело облачиваясь на лестничные перила. Потом я свернул в темный коридор и стал ощупью отыскивать свой номер. Нашупав дверь в нише, я толкнул ее. При свете копилки я увидел на кровати какое-то высохшее скелетообразное существо. Существо подняло руки и слегка подалось вперед. Я отступил назад и захлопнул двери. Очевидно, я ошибся номером. Я вернулся на лестничную площадку. По лестнице поднималась женщина со свечой в руке. Я спросил ее, какой это этаж? — Вам, наверное, ниже, — сказала женщина. — Вам гостиницу, наверное. А здесь санаторий для дистрофиков.

— Да, я ошибся, — пробормотал я, спустился этажом ниже и отыскал свой номер. Я не стал зажигать копилку. Было настолько холодно, что я лег в постель не раздеваясь, только снял валенки.

Я долго не мог заснуть. Все пережитое за последние сутки проходило перед моими глазами.

Вдруг мне пришла в голову мысль, что, может быть, я уже встретился с Лидой и, может быть, это она лежала на доске, слеженутая, как кукла, или в машине, под штабелями очоюневших тел.

Я лежал в темноте и в тишине, точно на дне глубокого колодца.

Потом начали бить зенитки, и я вспомнил слова Ксении о том, что этот далекий, грохочущий вал приятнее мертвой тишины, и мне захотелось, чтобы зенитки били ближе и громче...

★

...Я чувствовал, что Ленинград нельзя наблюдать со стороны, что он жестоко отомстит наблюдателю и раскроет себя только другу и участнику борьбы.

...С каждым днем Ленинград все более захватывал меня. Теперь я уже не мог и полчаса высидеть в «Астории» без дела. Кажется минуту, когда я не шел на телеграф, не писал корреспонденцию, не спешил, чтобы встретиться с кем-либо или что-нибудь увидеть, меня мучила мысль, что бесполезно тратье время. Я часто вспоминал слова Ксении Сергеевой о том, что в Ленинграде у

людей до предела обостряется чувство личной ответственности за судьбу города.

Я помню, что десятки тысяч бойцов Волховского фронта, задача которых — прорвать блокаду Ленинграда, — могли узнать о положении в городе только из фронтовой газеты. А ленинградским корреспондентом этой газеты был я. Мне казалось, мало суток, чтобы выполнить все, что требовалось.

Но когда, потрясенный всем виденным за день, измученный километровыми переходами, я возвращался домой, я снова думал о Лиде. Я чувствовал, что еще не сделал решающих шагов, чтобы отыскать ее.

Что оставалось мне сделать?

В моих руках была только одна соломинка: — последний записанный в моем блокноте адрес. Если и там неудача, — значит, концы обрублены, следы потеряны, и, приехав в Ленинград, я оказался к Лиде не ближе, чем на берегу Волхова.

Я не мог решиться сразу пойти по этому адресу. Там жила Ириша Вахрушева, подруга Лиды.

Я знал эту девушку. Мы иногда проводили вечера втроем, во время моих приездов в Ленинград. Я не особенно симпатизировал Ирише. Она казалась мне слишком шумной, слишком смешливой, недаром Лида звала ее «морю по колено». Но Лида любила ее, и я шел на уступки. У меня был адрес хозяйки, у которой Ириша снимала комнату.

В этой строчке была для меня последняя надежда.

Я старался подготовить себя к неудаче. Когда я очутился перед большим зданием из серого гранита и увидел номер, который отыскивал, мне стало страшно. Я не знал, что найду за этими стенами: замок, сургучную печать или мертвых людей.

Я несколько раз прошелся возле дома, не решаясь войти. Потом я взял себя в руки и, будто ныряя в холодную воду, бегом поднялся по лестнице. На втором этаже я постучал. Было тихо. Я постучал еще раз, сильнее. За дверью послышалась медленные шаркающие шаги, шум открываемого засова, и дверь открылась. Передо мной стояла женщина лет пятидесяти в шубе и в платье, накиннутом на седые волосы.

— Мне пужно кого-нибудь из Вороновых, — сказал я.

— Я Воронова, — тихо ответила женщина.

— Вы Воронова? — переспросил я, чтобы собраться с мыслями.

Я подошел к ней ближе и сказал, что хочу поговорить. Она пригласила меня в комнату.

Я вошел и остановился на пороге. Я по-

чувствовал, что у меня дрожат колени. Я ничего не видел — ни комнаты, ни мебели, ни самой Вороновой. Ничего, кроме большого портрета, висящего против двери над письменным столом.

Это был портрет Лиды. Она стояла смеющаяся, откинув назад голову, в пестром платье, облокотившись на железную решетку сада. Стояла такой, какой я ее знал и помнил.

— Я вас слушаю, — сказала Воронова.

Я вздрогнул и опустил глаза. Я не мог больше выдержать и прямо спросил, показывая на портрет:

— Где сейчас эта девушка?

— Не знаю точно, — сказала Воронова. — Это подруга моей землячки.

— Ириша Григорьевна? — спросил я.

— Да, — ответила Воронова. — А вы ее знаете?

— Где Ириша Григорьевна? — спросил я, не отвечая на вопрос.

— Она живет на заводе. Там работает и живет.

— Где же этот завод?

— Послушайте, товарищ военный, — сказала Воронова, — объясните же, что вы хотите?

Я подошел почти вплотную к портрету, показывая на портрет:

— Я разыскиваю эту женщину. ~~Знаю~~ близкий друг. Я написал ей сто писем и сейчас иду ее по всему городу. Когда-то она дала мне адрес Ирины Григорьевны, как своей близкой подруги. Вот и все. А теперь скажите скорее, где этот завод?

Воронова внимательно посмотрела на меня.

— Я понимаю, — тихо сказала она. — Лида у нас часто бывала. Они с Иришей большие друзья. Давно, правда, не заходила она к нам. А только адрес завода я вам дать не могу. Вы не обижайтесь — правда не имею.

— Но я покажу документы, — прервал ее я.

Воронова махнула рукой.

— Мало я в них разбираюсь, в документах-то. Нет, мы лучше вот как сделаем: завтра Ириша придет домой. Тут я ей напишу кое-что. Часов в пять обещала. Вот вы в это время и приходите.

— Хорошо, — сказал я, — спасибо. Я приду.

Но я не ушел. Я стоял и смотрел на портрет, и туман застилал мои глаза. Потом я опустил голову и понял, что надо уходить.

— Завтра в пять, — сказал я и поспешно вышел из комнаты.

На другой день я пришел к Вороновой в пять часов. Уже стемнело. Я стоял в вине пятого. Уже стемнело. Я стоял в вине пятого.

радианный, показался мне светлым и радостным. Я быстро взбежал по лестнице и постучал.

Мне опять открыла Воронова.— Не повезло вам,— сказала она, идя в комнату. Уехала Ирипа-то моя. На оборонные работы уехала... Только и успела записку прислать...

— Где эти работы?— спросил я.

— Да разве ж я знаю?!— воскликнула Воронова.— Теперь всюду работы. Через неделю, пишет, вернется.

— Хорошо,— сказал я, не узнавая своего голоса,— а зайду через неделю...

17 января

Почью мне позвонили из «Ленинправды». Знакомый товарищ сообщал, что через два часа председатель исполкома Лепсовета Попков будет беседовать с корреспондентами газет. Через пятнадцать минут я уже шагнул, утопая в сугробах, к Смольному.

По бесконечным, едва освещенным, холодным коридорам Смольного я добрался, наконец, до кабинета Попкова.

В центре небольшой комнаты за огромным, низким столом, покрытым зеленым сукном, сидел Попков. У него было усталое, но свежесбритое лицо, красные веки и синеватые глаза. Он показал нам на кресла и сказал хриплым голосом, без всяких предисловий.

— Мы пятый месяц в блокаде. Огромными усилиями мы растащили оставшиеся у нас запасы на эти пять месяцев. Завоз продуктов был связан с исключительными трудностями. Вы знаете об этом. Теперь, в связи с разгромом немцев под Тихвином есть основания думать, что доставка продуктов облегчится...

Попков говорил монотонно и медленно, и казалось, что каждое слово стоит ему усилий. Он сказал, что сейчас главная задача доставить в город продукты, скопившиеся на той стороне Ладоги, и организовать борьбу с ворами и мародерами. Потом зазвонил один из многих телефонов на маленьком столике. Попков взял трубку, сказал «иду» и встал.

— Меня вызывают, товарищи,— сказал он,— вы получите печатное изложение того, что я хотел сказать.

Он пожал нам руки и вышел из кабинета. Секретарша раздала нам печатные листы.

Я вышел из Смольного глубокой ночью. В небе горело бледное зарево, и на снегу плясали красноватые тени. Я шел по направлению к «Астория». Зарево все приближалось, становилось ярче.

Наконец, завернув за угол, я увидел горящий дом. Дом был большой, каменный. Он горел неярко, и языки пламени изредка вырывались из-под крыши и из окон, лениво облизывая камень. У дома, прямо в сугробах, была расставлена мебель, кто-то спал на кушетке, а несколько женщин цепочкой стояли у парадной двери и деловито принимали вещи, которые им подавали сверху. Пожарных я не видел. Я подошел к женщине, стоявшей в цепочке последней, но она, не оборачиваясь, сунула мне в руки какую-то вещь и сказала нетерпеливо:— Держите! держите!— Я взял вещь— это был обернутый в платок самовар, поставив на снег и получив керосинку, которую тоже поставил в снег.— Побыстрее там!— крикнула женщина в дверь, и я слышал, как по цепочке передали:— Поскорее там!

Было очень тепло, даже жарко. Первый раз в Ленинграде я испытал приятное чувство тепла.— Куда ставите?!— раздраженно крикнула мне женщина,— вон к тем вещам несите.— Она пальцем показала на кушетку, где кто-то спал.— Перепутаем все, потом разбираться.

Я поднял самовар и керосинку, отнес их к кушетке и вернулся на свое место.

Все происходило очень медленно. Этот пожар не воспринимался как нечто чрезвычайное. Не было криков о помощи, плача пострадавших, обваливающихся потолков и фейерверков огня.

— Держите, держите!— крикнула женщина и сунула мне в руки маленькую коляску.— Да осторожнее, там ребенок.— Я стоял, растерянный, с коляской в руках и не знал, что с ней делать. На дне коляски лежал какой-то сверток. Мне казалось невозможным поставить колясочку прямо так в снег, под открытым небом.— Да о чем вы думаете, господа?!— крикнула женщина.— Это же Ивановых ребенок, туда к их вещам и несите.— Я понес коляску туда, к самовару и керосинке, и поставил около кушетки. Человек на кушетке продолжал спать. Он был укрыт полушубком. Я почувствовал влону к этому безмятежно спящему во время пожара человеку под теплым полушубком. Я стянул с него полушубок и стал закидывать его в коляску, чтобы укрыть ребенка. В этот момент из окна вырвался большой язык пламени, и я рассмотрел лицо спящего человека. Это была женщина лет тридцати, совершенно седая. Ее тонкие губы были плотно сжаты. Я вытащил из коляски полушубок и снова укрыл им женщину. Потом я стал искать, чем бы укрыть ребенка, и среди свертков нашел порядком вещей нашей

одеяло. Покончив с этим делом, я снова вернулся к пѣпочке.

— Где это вы пропадаете? — сказала женщина. — Прямо беда с этими мужчинами! В кои веки придут помочь, да и то, как от козла молока. — Она сунула мне в руки швейную машину, и я быстро понес ее к кушетке. — Не туда, не туда! — раздраженно крикнула мне влогонку женщина, это Ферапонтовых машинка, к их вещам и несите! — Я растерянно стоял на месте со швейной машинкой в руках, озираясь по сторонам, соображая, какая же из сложенных здесь куч принадлежит Ферапонтовым... — Да вот левее, где стол стоит, — крикнула женщина, — ах ты наказание господне! — Я поставил машину на стол. — Да из какого вы номера? — спросила меня женщина, когда я вернулся на свое место. Раньше она разговаривала, стоя спиной ко мне, только слегка поворачивая голову. Теперь она повернулась ко мне. — Да никак военный!.. — воскликнула она. — Вы, значит, не здесь живете? Просто помогаете, значит? — сказала женщина. — Ну спасибо. Я вот тоже помогаю. Это ведь еще не мой этаж горит. А все равно надо помочь. А вы по своим делам идите. Мы и сами управимся... Спасибо вам.

Я пошел.

— Подождите! — крикнула женщина, и когда я вернулся, сунула мне в руки ключок бумаги. — Сделайте, пожалуйста, а то у меня телефона нет. — Я сказал, что сделаю, хотя не представлял себе, о чем идет речь. В сторонке, при свете пожара я прочел записку. Там было написано:

«Позвонить 4-58-65, Петру Николаевичу Смирнову. Петр! уже горит третий этаж, а мне к тебе на завод позвонить неоткуда. Завтра до нас дойдет, приходи таскать вещи. Памя».

Я сунул записку в карман и пошел в «Асторию». Зарево теперь оставалось позади, но небо еще было розовым, и красноватые блики лежали на снегу.

18 января

Сегодня утром в редакции мне вручили телеграмму из моей газеты. Там было сказано: «Срочно передайте материал к ленинским дням». Телеграмма была получена здесь вчера. Я получил ее сегодня. Для того чтобы материал попал вовремя в номер, я должен был передать его не позже завтрашней ночи.

Я поехал в библиотеку Дома Красной Армии и весь день просматривал материалы, относящиеся к пребыванию Ильича в Петрограде. Под вечер, с кучей выписок и без

какого-либо определенного плана статьи я вышел из Дома Красной Армии, прошел по Литейному, завернул на Невский и направился к дому.

Мне очень хотелось есть. В последние дни я все чаще испытывал чувство голода.

Я шел по Невскому, стараясь не думать о еде. Но старые магазинные вывески, поминутно напоминавшие мне о пей, — «Бакалея», «Гастроном», «Всегда горячие сосиски», — дразнили меня.

Внезапно я увидел другую «вывеску», написанную карандашом на бумаге: «Здесь киняток».

Я вошел в преддверье маленького магазина. Девушка в ватнике продавала кипяток по гривеннику за стакан. Она объяснила мне, что Ленсовет организовал повсеместную продажу кипятка населению. Я выпил два стакана горячей воды и шел, ощущая приятное тепло, погруженный в мысли, и незаметно дошел до Дворцовой площади.

Вечерело. Сероватый туман висел над Невой. В этом тумане морские корабли, приплаванные к гранитным берегам Невы и вмерзшие в лед, стояли, как бы прижавшись спинами к городу, который защищали. Огромная площадь была заалена снегом. Местами снег был еще черен от ~~темных~~ разрывов. Огни Зимнего дворца были выбиты. Странно было видеть такое огромное количество выбитых подряд окон. Весь дворец казался гигантским решетом.

Я стоял и думал о том, как много видело это огромное здание... И вдруг мне показалось, что площадь ожилась, десятки костров загляли на ней, а у костров сидят бородатые люди, матросы, перепопаянные пулеметными лентами, солдаты с винтовками в руках, в пальцах с нашитыми красными ленточками...

Где-то вспыхнул прожектор, по мне чудилось, что это луч «Авроры» прорезал небо и упал на площадь...

Мне казалось, что повернулось колесо истории и славные, давно минувшие дни Петрограда вновь проходят передо мной... Я пересек площадь, прошел на набережную и увидел здание Университета. Я вспомнил недавно прочитанные строки о Ленине о том, как пятьдесят лет назад, ранним мартовским утром подходил к этому зданию Владимир Ильич...

Мне казалось, что я вижу, как проходит Ленин своей торопливой походкой в Щедриновскую библиотеку...

...Я видел его на балконе дворца Кшесинской, где проводили бессонные ночи он и Сталин, руководя восстанием.

И внезапно я всем существом, всем сердцем своим почувствовал, что именно здесь, в этом городе, бьется вечно живое сердце Плянта...

...Было уже поздно, когда я вернулся в «Асторию». Но я не чувствовал усталости. Я знал, о чем буду писать в свою газету.

23 января

Три дня я ничего не записывал и ничего не передавал в редакцию. Затем взял ленинградские газеты за неделю и прочел их залпом.

На меня обрушились самые противоречивые, самые парадоксальные, с точки зрения «здравого» смысла, вещи. Я прочел, что населению в этом месяце не выдается ничего, кроме 175 граммов хлеба, что в оперетте идет «Баядера», в театре драмы «Дворянское гнездо», а в театре Ленсовета «Идеальный муж», что действуют 14 кинотеатров, что военный трибунал приговорил к расстрелу шесть человек за ограбление продуктового магазина, что композитор Асафьев работает над музыкальным оформлением спектакля «Война и мир», что исполком Ленсовета рассмотрел план первоочередных восстановительных работ в городском хозяйстве и объявил выговор за срыв снабжения населения мясом, что выдвинуты кандидаты на строительство и все детские сады и ясли переведены на круглосуточное обслуживание детей...

Я прочел это и, только оторвавшись от газеты, вспомнил, что нахожусь в городе, окруженном плотным кольцом блокады, где ежедневно гибнет от голода несколько тысяч человек и ежедневно рвутся десятки снарядов и фугасных бомб, и мне показалось, что я стою перед чем-то огромным, очень сложным и очень простым и кристально чистым и что все книги и все виденное мною недостаточно, чтобы до конца понять это.

Потом я перечитал все, что записал в эти дни, и дойдя до последней даты, вспомнил, что прошла неделя.

Мне так захотелось увидеть Лиду, поцеловать ее и посидеть с ней несколько минут молча, как сидят уставшие от долгих скитаний, а потом говорить с ней, говорить без конца.

Может быть, потому что она была самым близким и самым понятным мне человеком, я верил, что она расскажет мне то, чего я не знал, и покажет то, чего без нее я не мог бы увидеть.

И она уж казалась мне не отделимой от города: его сердцем, биением которого я услышу, подойдя к ней.

Мне хотелось поскорее увидеть Ирину Вахрушеву. Я вспомнил, что не любил ее раньше. Она всегда слишком громко смеялась. Я не люблю людей, которые слишком много и слишком громко смеются. Мне была непонятна любовь Лиды к этой девушке. Я старался возможно реже встречаться с Ириной. Я знал, что она вышла замуж и жлет ребенка, но мужа ее никогда не видел. Сейчас я знал, что Ирина, единственная, может помочь мне отыскать Лиду, и все же, где-то в глубине души, мне была неприятна встреча с ней. Я был убежден, что такие люди, как Ирина, редко меняются. Я боялся снова услышать ее резкий, залихватый смех и жаргонные словечки. Я думал обо всем этом, идя к Вороновой.

Я пришел к Вороновой под вечер. Дверь открыла мне сама Ирина Вахрушева, но было темно, и я не видел ее.

— Давайте руку, Саша, здесь темно, — сказала она. У нее был хриплый простуженный голос. Она провела меня по коридору и открыла дверь в комнату.

Теперь мы стояли друг против друга. На ней была ватная стеганая куртка, из-под которой вышлепал ворот военной гимнастерки, валенки и шапка-ушанка.

— Здравствуйте, Саша! — отрывисто сказала Ирина и протянула мне руку. Я пожал ее.

Ирина смотрела на меня в упор, не произнося ни слова. Я видел только ее глаза. У нее всегда были большие глаза, сейчас же они стали какими-то неестественно огромными, занимая почти половину ее маленького лица.

Она смотрела на меня, не мигая, не произнося ни слова. Большой портрет Лиды висел над нами.

— Здравствуйте, Ирина. рот мы и встретились...

— Да, — коротко сказала Ирина своим хриплым голосом. — Но где сейчас Лидя — я не знаю.

Я почувствовал комок в горле.

— Сядьте, — сказала Ирина, опускаясь на диван. — Мы работали вместе на заводе, потом она кончила курсы сестер и уехала в армию... Писем не пишет. Вот и все, что я о ней знаю.

Она говорила спокойно, я мне показались, — жестко.

— Скажите, Ирина, — спросил я, с трудом подыскивая слова, — может быть, вы знаете, какой военкомат?

Ирина покачала головой:

— Военкомат-то я знаю, да вряд ли вы там что-нибудь узнаете. Все произошло так быстро... У нее ведь мать умерла, и ребенок, у Лидуши...

Мне казалось, что голос ее дрогнул, когда она произнесла это имя... Она сняла шапку, и я увидел ее рыжеватые волосы, закрученные на затылке.

— Я знаю,— сказал я.— Она писала. Это было единственное письмо, которое я получил.

— Она не знала, куда писать,— произнесла Прина и посмотрела на ее портрет. Несколько минут мы сидели молча.

— Так. Ну, расскажите о себе, Прина... как ваша жизнь?

— Живу,— резко сказала Прина.

— Ваш муж на фронте? — спросил я.

— У меня нет мужа.

— А ребенок? Я помню, вы ждали ребенка.

— Был,— сказала Прина и опустила глаза. Я молчал.

— Вы работаете на заводе? — спросил я.

— Да. В цеху. Помощником начальника,— ответила Прина.

— Так...— сказал я снова, не зная, о чем говорить.— Вот мы и встретились.

— Вот и встретились,— повторила Прина.— Только ее пехватает.— Она снова посмотрела на портрет.

— Вы очень изменились, Прина,— сказал я неожиданно для себя. Этого не надо было говорить. Это звучало бестактно.

— Изменилась? — переспросила Прина, точно не понимая этого слова.— Да, наверное.— Она встала и патала ушанку.— Ну, простите, мне надо на завод.

Мне стало страшно. Я схватил ее за руку.

— Подождите, Прина,— просил я,— ведь мы не виделись так долго. Подождите! Ну расскажите мне что-нибудь! А потом я пойду...

Мне показалось, что пальцы ее дрогнули в моей руке.

— Мне надо на завод. Если хотите, поедем вместе,— предложила Прина,— мы там коммунной живем. Леда тоже жила с нами...

— Поедем,— сказал я.

★

«Поедем» осталось от мирного времени. Мы шли пешком через весь город. Сначала мы молчали. Потом я начал спрашивать Прину. Я спрашивал не о Лиде. Я почему-то не мог заставить себя говорить прямо о ней. Я спрашивал Прину о ее собственной жизни. Мне казалось, что это будет ключом к жизни Лиды. Прина отвечала ко-

ротко и терпеливо просто. Было темно, когда мы подошли к заводу.

— Вы подождите, я сейчас организую пропуск.— Она ушла, и я остался один у проходной будки.

Передо мной был огромный, неестественно тихий завод. Я не слышал обычных для металлургического завода шумов: ни визга вагонеток на подземных путях, ни грохота в пехах,— было тихо, будто завод спал.

Вскоре с пропуском вернулась Прина.

Мы вышли на заводской двор. Было так темно, что в двух шагах от себя я уже ничего не мог различить.

— Мы пройдем через цех,— сказала она из темноты.— Осторожнее, голову!..

Сначала мы свернули в какой-то проход, где было совершенно темно, потом вышли в коридор, и я внезапно зажмурил глаза от яркого света. Прямо передо мной, в огромном выемке цеха, прокатывали сталь. Белокрасная лента металла ныряла под барабан, появлялась с другого конца, где ее шпильками подхватывало человек десять рабочих, и снова ныряла обратно. Мне уже давно не приходилось бывать в прокатных цехах, и неожиданное зрелище расплавленного металла, фонтанов искр и дымящихся каленов ошеломило меня. В ~~цеху~~ видимо, шла напряженная работа, но рабочих было немного.

— Подождите минуту,— сказала Прина. Я видел, как она подошла к нагревательным печам и двое рабочих дотронулись до келье при ее приближении. Она что-то говорит им, показывая на печь. Затем она вернулась ко мне и сказала: — Ну, пошли.— Проходя по цеху, я увидел в полу какие-то люки, прикрытые металлическими плитами.

— Что это? — спросил я Прину.

— Вливайки,— ответила она.— На случай обстрела.

Мы миновали цех и по узкой улице спустились в подвальное помещение. В большой квадратной комнате вдоль стен стояли кровати. В дальнем углу висел противоприятный костюм. Рукава его были раскинуты,— он походил на огромное расятие. Посредине стоял стол и топилась железная печь. Около нее на корточках сидела девушка в гимнастерке с расстегнутым воротом. Она смотрела на горящие поленья, и огоньки бегали в ее зрачках. Она встала, когда мы вошли.

— Здравствуй, Леда,— сказала Прина,— мы сегодня еще не виделись. Познакомься: это товарищ с Волховского фронта — Леда протянула руку, и Прина ее крепко трихнула в щеку. — Здравствуй, Леда.

Мы сидели на кровати втроем: Леля, Прина и я, а на других кроватях сидели девушки, бойцы противозащитной обороны, пришедшие после своей смены. В котелке на печке кипел кофе — мутная бледнокоричневая жидкость. На столе были сложены порции хлеба — двенадцать маленьких ломтиков, и одна из девушек резала эти ломтики на еще более маленькие и клала на раскаленную печь. Пахло горячим хлебом. Потом откуда-то появились табуретки, и все село к столу. Девушка, которая поджаривала хлеб, разлила кофе в металлические кружки и раздала всем по ломтику хлеба. Я тоже получил кружку и кусочек обжигающего пальцы хлеба.

Прина сидела рядом со мной. И мне почему-то вдруг захотелось, чтобы она улыбнулась. За все время, проведенное вместе с ней, я не только не слышал ее смеха, который так же любил раньше, — я не видел ее улыбки. Мне хотелось, чтобы она улыбнулась именно сейчас, в этой комнате, когда топится печка и дымятся горячие кружки и хлеб обжигает пальцы. Я уже готов был сказать ей об этом, но в это время Прина обратилась к девушкам:

— Ну, вот, сейчас мы поужинаем, а потом расскажем товарищу о Лиде. Расскажем, как она жила здесь. Он очень хотел ее увидеть, а вот не пришлось...

Мне стало не по себе. Я хотел было остановить Прину, сказав, что это совсем не нужно, но в это время Леля воскликнула:

— Я силю сейчас на ее постели!.. А раньше наши постели стояли рядом... Мы о многом с ней говорили. Было время, когда я хотела уехать из Ленинграда, уж очень тяжело было. А она меня отговорила. Я даже помню, как она сказала. В жизни, говорит, один раз проходишь настоящую проверку: человек ты или ни то ни се. Ух, как она меня в работу брала! Главное, не распускайся, говорит. Я знала, ей самой тяжело было. Мать у нее умерла и ребенок... А все-таки осталась в Ленинграде. И я вот осталась. А сейчас не жалею...

— Да... кажется, уж давно это было, — задумчиво сказала ее соседка. — Это, когда в пех два снаряда попало. Ночью это было. Помните? Лидя тогда не дежурила, но она, как услышала разрыв, — прямо с кровати, ноги в валенки, куртку схватила и в цех. Я тоже за ней побежала. Что там было, помните, Прина Григорьевна? Снаряд прямо в обогревательную печь улетел, разворотил все, рыхл рабочих на месте убил, а одного болванкой придавил. Он лежал, дышал, а

Лидушка на коленях рядом с ним, и говорит спокойно, спокойно: ты, говорит, потерпи, родной!.. И гладит, гладит его по волосам. А он хрипит, глаза такие страшные, будто сейчас выскочат, и пена на губах. А она — одно, — потерпи, говорит, все от тебя зависит, вытерпешь — жить будешь... И пока болванку снимали, все ему твердила: терпи, вытерпешь — жить будешь... А потом пришла сюда, легла вот на эту кровать лицом вниз и плачет. Я подошла, помню, села рядом, обняла и говорю: что ж ты других терпеть учишь, а сама? А она как сбегается, глаза у нее сухие и красные и говорит: учить-то легче, чем самой...

— Это точно, так было... — сказал чей-то глухой бас. Я все время сидел, опустив голову. Все плыло перед глазами, и мне казалось, что я вижу ее здесь, сейчас, вижу такой, какой не видел никогда, в стеганой куртке и шапке-ушанке. И я уже не вздрагивал каждый раз, когда называли ее имя. Я видел ее пальцы на волосах хрипящего, прижатленного железом человека и ее вздрагивающие плечи вот на этой постели.

Я поднял голову, услышав глухой мужской голос. У дверей стоял старик. Он был очень высок. На нем была сдвоенка, падающая поверх ватника. Из бокового кармана торчал блестящий инструмент. У него были седые, опущенные книзу уши. В полумраке я не мог рассмотреть его лица, и казалось, что усы свисают прямо из-под низко надвинутого козырька кепки.

Все смолкли, услышав его голос, и только Прина сказала спокойно и, как мне показалось, с какой-то теплотой:

— Это ты, Иваныч? Случилось что-нибудь?

Он молча пошел к Прине, медленно, высоко поднимая голову и ни на кого не глядя. Так ходят люди, уверенные, что все уступит им дорогу. Уже мимо меня, он молча дотронулся до кепки, и я не понял, к кому относилось это приветствие, но невольно приветал и сказал «здравствуйте». Старик даже не обернулся. Подойдя к Прине, он стал говорить с ней вполголоса, но на другом конце комнаты было все прекрасно слышно. Он говорил о каком-то Евлампии, умершем утром у проходной будки. — Гроб я сколочу, — сказал Иваныч, — а насчет досок ты постарайся... — Я видел, как он молча, так же высоко поднимая голову, пошел к двери. Поравнявшись со мной, он внезапно остановился и сказал:

— Лидией Федоровной интересуетесь?

Я вздрогнул. Неожидан был и сам вопрос и то, что он назвал ее так, как я ни-

когда не называл ее ни в мыслях ни вслух.

— Человек она — хороший, — произнес он, не дожидаясь моего ответа.

— Спасибо, — сказал я, но зная, что ответить.

— Ей спасибо скажете.

В слове «скажете» Иваныч сделал ударение на первом слове. Мне была непонятна его мысль, но расспрашивать мне показалось неудобным. А Иваныч уже шел к дверям, и я видел его широкую, чуть сутуловатую спину.

— Наш мастер, — сказала Ирина.

★

Мы сидели за большим квадратным столом. Потрескивали дрова в печурке. Кофе было выпито, и хлеб съеден. А девушки все говорили. Одна перебивала другую, и мне сначала было непонятно, почему они так горячо участвуют в этом «вечере воспоминаний». В конце концов Лидя не могла быть одинаково близкой им всем. Но потом я понял внезапно, как бывает, когда разглядываешь «загадочную картину» и не можешь сообразить, «где охотник», но вдруг ясно его увидишь, и потом, как ни перевертывай картину, охотник всегда будет перед твоими глазами, — так внезапно я понял, что, рассказывая о Лиде, они рассказывали о себе. Все двенадцать девушек жили в одной комнате. Они спали здесь, вместе ходили на дежурство, складывали вот на этом столе свои крохотные пайки, чтобы потом разделить их поровну. Им нечего было друг другу рассказывать. Жизнь каждой была на виду у остальных. Они просто сложили свои двенадцать жизней в одну. Жизнь Лиды была их жизнью. Ее физическое отсутствие роли не играло. А я был для них новым человеком. И они, рассказывая мне о ней, — рассказывали о себе.

Потом все девушки поднялись, как по команде, и ушли разгружать только что прибывший эшелон с дровами. Мы остались с Ириной вдвоем...

— Простите меня, Ирина, — сказал я.

Она подняла свои большие глаза.

— За что?

— Вы знаете, я не любил вас. Мне казалось, что вы слишком... — мои мысли сменились, я замолчал.

Губы Ирины дрогнули.

— Вы марсианин, — тихо сказала она.

— Кто?

— Марсианин. Сколько времени вы в Ленинграде? Неделя? Две? А я — пять лет. — Она встала и посмотрела на меня снизу вверх. — Пять лет и шесть месяцев! — Ее

голос снова стал хриплым. — Вы все еще говорите не теми словами, — сказала она. — Ваши слова рождаются в тепле, под солнцем или под электрическим светом. А у нас нет солнца и нет света. Послушайте, — спросила она внезапно, потупив глаза, — если бы вы сейчас нашли свою Лиду, вы были бы совершенно счастливы?

— Конечно! — вырвалось у меня.

— А я... — сказала она точно в полусне. — Если бы он вернулся... конечно... нет. Этого мне было бы теперь мало... И Иванычу этого было бы мало...

Я не понял ее. И что самое важное — я боялся ее расспрашивать. Она казалась мне комком обнаженных нервов.

— Ну, вам надо идти, — сказала Ирина. — А мне пора в цех. Я вас провожу.

У проходной будки мы остановились. Я протянул Ирине руку, она пожала ее и задержала в своей руке.

— Я ничего не говорила вам об одном... — тихо сказала она.

— О чем?

— О вас. О том, как она часто говорила о вас. И письма писала... — голос Ирины стал мягким, и хрипота исчезла. — Только отправлять-то их было некуда... Эх, приехать бы вам на месяц раньше...

Я был рад, что было темно и не видно моего лица.

— Ну, что поделаешь, — сказал я, — видно, по судьба... Прощайте.

— Вот, возьмите, — поспешно сказала Ирина.

Я почувствовал в своей руке какой-то сверток.

— Тут обо мне, о ней и об Иваныче. Это все правда. Ну, прощайте.

Она ушла, бесшумно ступая валенками по снегу. Я стоял, сжимая в руке толстый булавочный сверток. Но, вспомнив о самом маленьком, я крикнул:

— Какой же военкомат?

— Киевский! — ответила Ирина из темноты.

★

Поздно ночью я добрался до «Астория» и бегом поднялся по лестнице. Я долго возился у двери, руки мои закоснели, и ключ не попадал в скважину. Наконец я открыл дверь, зажег колпачку и развернул сверток. Это была толстая тетрадь, испещренная мелкими черточками. На первой странице я прочел:

«...Я никогда не писала дневников. Я слишком быстро жила. Дневник — это всегда вчерашнее, а я ждала завтрашнего. Но сейчас я одна, совсем одна. А я привык-

ла всегда видеть перед собой людей. Сейчас мне кажется, что я одна в этом городе, который никогда не любила. Только Ляда со мной, но и ее я редко вижу...»

На первой странице стояла дата: 31 декабря 1941 года...

«Завтра Новый год. Год тому назад, в это время, мы сидели в нашей комнате на Троицкой: я, Григорий и Ляда. Мы встречали Новый год вдвоем. Я подняла бокал за то, чтобы наступающий 1941 год был бы таким же счастливым, как и прошедший. Не исполнилось!

Когда же это было — комната, Григорий! Неужели только 365 дней тому назад?! Да нет, что я, пять месяцев сто пятьдесят дней тому назад это было — комната, свет, Григорий...

Да было ли это? Может быть, этого и не было?!

Сейчас 8 часов вечера. Противоприятный костюм висит на стене. Я сижу одна в комнате. В 11 вернутся наши девушки. Мы все-таки решили встретить Новый год...

Сегодня ко мне подошел секретарь комсомола. Просил написать статью в газету... Не могу я ничего писать, сказала я. Карандаш в руках разучилась держать. Да и о чем же?

— Да о чем? — удивился секретарь. — Бель вы ленинградка? — Стала ленинградкой, — ответила я. — Ну, вот, — сказал секретарь, — напишите, как вы стали ленинградкой.

Я напишу.



Как я стала ленинградкой.

С чего ж начать? Я москвичка, родилась в большом сером доме в Бривокосенном переулке, прожила там семнадцать лет и ходила в школу, в один из бесчисленных зрбятских переулков. Говорят, что я была очень весела и шумлива, и в школе меня прозвали «море по колено». Училась я тоже шути. Уроки готовила редко, но отвечала хорошо.

Школу я кончила на «хорошо» и «отлично» и была премирована поездкой в Ленинград. Помню, я отправилась туда в «Стреле», в мяжном вагоне — папа доплатил разницу к билету, купленному школой.

В Ленинграде я пробыла тогда две недели... Город мне не понравился, слишком много мостов и колонн, будто он не на земле стоит, а висит в воздухе.

Лето пронеслось незаметно, приближалась осень, и надо было решать, что делать дальше. Я купила «справочник для поступающих в вузы» и прочла его от корки до корки. У меня разбежались мысли и глаза: слишком

много было там вузов, и каждый из них был готов принять меня немедленно и без экзаменов как отличницу. Я посоветовалась с отцом, он настаивал на техническом вузе. Оказалось, что лучший по этой специальности вуз находится в Ленинграде. Были ахи и охи, но потом все согласились, что Ленинград, это в сущности почти дома, ночь езды. Я села в поезд, мама и папа меня провожали, и подруги зацеловали, а потом поезд тронулся, и я припала к окну, хотя было уже темно.

В Ленинграде я не захотела жить в студенческом общежитии и сняла себе комнатку на Троицкой, у вдовы Вороновой. Это было близко от института, и, главное, никто не мешал заниматься. В институт я поступила, как и предвидела, без всяких трудов.

В квартире, где я поселилась, соседом моим был Иван Иванович Иванов, старый мастер-металлист. Он жил с семьей: женой Пелагеей Григорьевной и двумя детьми — двадцатитрехлетним Михаилом и восемнадцатилетней Леной. Михаил почти не бывал дома: он учился в институте, за городом; Лена же работала ученицей на том же заводе, что и отец.

Мне почти не приходилось разговаривать с Ивановым, да я и не стремилась с ним разговаривать: высокий, чуть сутуловатый старик, с длинными, кизу опущенными усами и маленькими злыми глазками, был мне несимпатичен. Я не раз наблюдала, как с его приходом домой, за стеной наступало молчание. От Вороновой и из разговоров с Пелагеей Григорьевной, которая стирала мне белье, я узнала, что Иванов был именно таким рабочим, о которых у нас так любят говорить.

Он проработал на заводе тридцать лет, и отец его был рабочим и тоже проработал на этом же заводе лет тридцать. Потом от другой соседки я узнала, что Ивана Ивановича Иванова, когда он был еще учеником, прозвали «три Ивана», и хотя теперь такую вольность могли себе позволить на заводе лишь десяток-полтора таких же, как он, стариков, — в квартире кличка крепко держалась, и за глаза Иванова звали по-прежнему, как «три Ивана».

Хоть я не симпатизировала этому человеку, но он возбуждал мое любопытство, и я невольно наблюдала за ним и прислушивалась к тому, что делается там, за стеной.

Постепенно я узнала, что Иванов просыпался в пять утра и пил чай из большой кружки и что он заговаривал с женой первым, и она ждала, пока он с ней заговорит, что за чаем она читала газету и она должна была быть аккуратно сложенной, что он шел на завод пешком и что ему хотели подарить

автомобиль, но он отказался, сказав, что для него это не нужно, а для детей — разврат.

Он возвращался домой вечером и читал технический журнал, в котором я однажды с удивлением обнаружила три статьи, подписанных «И. Иванов, мастер».

Как-то, зайдя к Пелагее Григорьевне за бельем, я обнаружила, что Иванов дома. Я смутилась и хотела уйти, но Иванов посмотрел на меня своими маленькими колючими глазками из-под нависших бровей и сказал: «Чего же бежите-то, ведь за делом пришли». Затем он стал расспрашивать меня, кто я и откуда, и я чувствовала себя, будто в школе на экзамене. По ничему страшного не случилось, и, поговорив с Ивановым минут пятнадцать, я освоилась, а когда он спросил, осмотрела ли я город, я ответила, как обычно отвечала: «Много мостов и колонн, будто не стоит, а висит в воздухе».

Но после этих слов глаза Иванова стали еще меньше и еще злее. Он постукал по столу костяшками пальцев и сказал: «Вон-на!.. Висит, значит. Ну, выдай ей, Пелагея, белье».

Я ушла, прижимая к груди ворох белья, обиженная, и не понимая, чем могла рассордить этого сумасбродного старика. Позже, от Пелагеи Григорьевны, я узнала, что для старика не было развлечения больше, чем показывать приезжему горю. Он водил его вдоль Лебяжьей канавки, и мимо Инженерного замка, и по набережной Невы, и мимо тогда-то позолоченной Екатеринбургской решетки, ради которой приезжал на собственной яхте какой-то любознательный голландский турист. Старик любил Ленинград и любил называть себя кореным питерцем.

После этого случая я старалась не встречаться с Ивановым, потому что всегда избегала людей, с которыми не чувствовала себя легко и свободно. Иванов был степенен, медлителен, неразговорчив и суров. Мне казалось, что он живет медленно и на мир смотрит с прищуркой. А я была все еще подвижной, торопливой, всегда с нетерпением ожидавшей «завтра», «море по колено». Я решила просто забыть о существовании неприятного соседа.

Дни проходили очень весело и очень позаметно. В институте студенты меня любили, у меня была масса подруг, я иногда не была одна, вечерами пропадала в театрах или в концертах, легко олепчила первый курс института и перешла на второй. За мной ухаживало много студентов, но я попережнему терпеть не могла «ухаживаний» и в душе была уверена, что непременно влюблюсь в

того, кто совершенно не будет за мной ухаживать.

Однажды на вечеринке, устроенной на второй день ноябрьских праздников у одной из студенток, я познакомилась с одним врачом. Он был старше меня лет на десять, сидел, как биврюк, в углу комнаты, почти не танцевал и чем-то напомнил мне кудлатого студента — моего первого поклонника. Мне незло хотелось вытащить его из уединенья, я подседа к нему и завела разговор. Врач оказался очень интересным собеседником, у него быларонически-нисходятельная, но по обидная манера разговаривать и очень внимательные глаза. Вообще же он был некрасив: слишком толстые губы и большой нос. Я так увлеклась разговором, что совершенно забыла о своем намерении, и вспомнила о нем только тогда, когда все задрожали стульями и пошли к вешалке отыскивать пальто.

Мы, то есть я и врач, — его звали Григорий Александрович, — тоже пошли в переднюю, оделись и вместе вышли на улицу.

После душной, прокуренной комнаты было очень приятно выйти на воздух. Моросил мелкий ноябрьский дождик, и небо розовело от праздничных огней. Приятно шуршали шины автомобилей и троллейбусов по мокрому асфальту.

Врач проводил меня до дому, попрощался, но даже не спросил, когда мы сможем увидеться вновь. Он медленно уходил под дождем, подняв воротник пальто, а я стояла в подъезде, и, честно говоря, мне ужасно хотелось остановить его, но этого, конечно, я не сделала.

На второй, третий и четвертый день я ловила себя на мыслях о нем, и иногда мне казалось, что его голос еще звучит в моих ушах. Вечером я думала о том, что же это такое со мной происходит? Я попыталась мысленно проинизировать над собой, старалась думать о постороннем и в конце концов разревелась. В это время кто-то позвонил, я побежала открывать дверь, на ходу кулаками вытирала глаза, и когда открыла дверь, увидела на площадке Григория Александровича. Он спросил, может ли он зайти? Я так растерялась, что чуть было не захлопнула дверь перед самым его носом.

Я провела его в комнату, и мы сели на кушетку. Потом я побежала на кухню поставить чай и там долго мыла под краном лицо, чтобы смыть всякие следы слез. Когда я вернулась в комнату, он сидел на диване и рассматривал какой-то журнал; он сунул его в карман, когда я вошла.

Григорий Александрович сказал, что зашел

«наобум» и что он понимает, что мог за-
стать у меня кого-нибудь из моих поклонни-
ков, но что ему просто захотелось меня уви-
деть и он решил рискнуть. Я едва удержа-
лась от того, чтобы не рассказать ему, как
все эти дни мечтала о встрече с ним. Но
вслух я только рассмеялась и сказала: «Мо-
лодец, что пришли, а то я сидела и скучала».

За этот вечер я успела рассказать ему
всю свою жизнь и о том, как меня прозва-
ли «море по колено», и о моем первом «ро-
мане», если так можно назвать знакомство с
кудлатым студентом.

Врач очень мало говорил, но зато внима-
тельно слушал. Мы просидели до полуночи, а
потом я вышла его немного проводить.

На этот раз мы договорились о встрече, и
я побежала домой, что-то напевая, и все кругом
казалось мне таким радостным. Я легла
спать и заснула крепко и, как всегда, без
спон.

Мы встретились, как условились, а потом
встречались каждый день всю зиму, а по-
том мы встречали май после праздника втроем
у него в комнате, и я не пошла домой. На
другой день я не узнавала самое себя. Все,
что меня окружало, — город, дома, улицы, —
все казалось мне каким-то другим. Мы про-
жили эту весну и лето, как муж и жена,
хотя жили каждый у себя дома, а осенью,
когда я была уже на предпоследнем курсе,
Григорий переехал ко мне на Троицкую...

За эти месяцы я почувствовала, что мне
стало как-то шаше житья, я все время ощу-
щала на себе внимательные глаза Григория и
стала чаще задумываться, — как говорят —
стала серьезней. Я познакомилась с девуш-
кой, по имени Лида, хужожницей по разрис-
овке тканей, которая была года на четыре
старше меня и казалась полной моей прогни-
вноположностью: спокойной и немного лепи-
вой.

Постепенно знакомых у нас стало бывать
все меньше и меньше, и все чаще мы про-
водили вечера втроем: Григорий, я и Лида.
Я знала, что у Лиды был какой-то длитель-
ный роман с одним московским журналистом
и что тот часто приезжал в Ленинград. Од-
нажды Лида познакомила меня с ним, и по-
том мы несколько раз встречались втроем,
но уже после первой встречи я почувствова-
ла, что мы друг другу не нравимся.

С каждым днем я все больше и больше
привязывалась к моему Григорию и скоро
стала ощущать его как часть самой себя и,
когда его не было, физически ощущала ка-
кую-то пустоту.

Почувствовав беременность, я написала в

Москву матери, что прошу ее переехать в
Ленинград, и мать переехала и поселилась у
нас, а Воронова еще раньше уступила мне
комнату и переехала к дочери в нижний
этаж.

Затем началось ожидание ребенка, хло-
поты и хождение по врачам, а летом 1941
года у меня родилась девочка. Григорий па-
стоял, чтобы ее тоже назвали Ириной. К
этому времени я уже окончила институт, за-
щитила проект и получила назначение на тот
самый завод, где мастером был мой сосед
Иван Иванович Иванов.

На заводе меня сделали смежным мастером,
и я, кажется, неплохо работала, хотя всегда
чувствовала, что главное в моей жизни не
завод, а мой дом, мой муж, мое семейное
счастье.

Как-то раз вечером, когда мы сидели на
кушетке и Григорий гладил мои волосы, я
сказала ему об этом. Муж как-то странно
улыбнулся и ответил, что это очень опасная
вещь, когда опускаешь самого себя только
в другого человеке, и еще очень опасная
вещь — уют, — с ним так трудно расставать-
ся, а жизнь может сложиться по-всякому.
Немногу, я приподнялась, — меня неприятно
поразил слова Григория, — и сказала, что не
понимаю, что плохого может получиться из
моей любви к нему и из стремления к тому,
чтобы быть всегда вдвоем. Он ответил тогда,
что плохого в этом, разумеется, нет ничего.
Но я не удовлетворилась этим ответом, и мне
захотелось во что бы то ни стало вызвать
Григория на продолжение разговора.

И сказала:

— Ты говоришь, что нельзя стремиться к
уюту. Но ведь уют можно понимать по-раз-
ному. Я знаю много семей, — а ты, наверное,
еще больше, — где жизнь далека от уюта.
Там муж и жена живут отчужденно, хотя
внешне все обстоит благополучно. Иной раз и
не подозреваешь, сколько там горя и страда-
ния.

Я произнесла эти слова, понимая, что ссы-
лка на какие-то семьи и «отчужденность»
звучит неубедительно. Я сказала первое, что
пришло мне в голову, — мне очень хотелось
заставить его говорить.

Григорий ответил:

— Один очень тонкий и умный человек
сказал примерно так: «Без усилий нельзя
быть счастливым, а каждое усилие предпола-
гает в себе усталость и страдание».

— Это что-то унаочное, — сказала я. Я
знала, что это слово его разозлит. Он назы-
вал такие слова ярлыками и говорил, что их
выдумали неумные люди, стремящиеся свести
все многообразие жизни к простейшим форму-

лировкам, доступным лишь дуракам. Я добавила: — Это, наверное, какой-нибудь Шопенгауэр выдумал.

— Это Апатоль Франс, — сказал Григорий, улыбаясь.

— Читала! — закричала я уже совсем по-школьному. — Не такая уж у тебя глупая жена. «Ивовый манекен» и «Аметистовый чертень». — Потом я сообразила, что ухожу от цели, и сказала: — Но я не понимаю, к чему бы это привело. Может быть это и умно, и тонко, но я не понимаю. Разве можно нарочно придумывать страдания? Гришешка, дорогой, ну объясни мне пожалуйста, зачем, например, нам с тобой выдумывать страдания, чтобы быть счастливыми? Разве мы не отлично обходимся без них?

— Ты сводишь к примитиву, Ируна, — сказал Григорий. — Я не о том говорил. Ну... вспомни сопротивление материалов. Я говорю о воспитании в своем характере способности сопротивляться горю. Вот мы живем сейчас вдвоем в тихой и светлой комнате, любим друг друга — и все такое прочее. Но эта любовь поддерживается тем, что мы каждый день видим друг друга и все вокруг нас определено, ясно и на своих местах. Но представь себе, что все изменилось, что-то произошло, мы потеряли друг друга, и каждый остался со своей совестью, и только вера осталась в сердце. Как будем мы вести себя тогда? Вот тут-то и пойдет речь о «сопротивлении материалов».

Мне вдруг сделалось не по себе. Я вообще не любила неопределенности даже отвлеченной. Даже мысль о том, что что-то может грозить нашему счастью, мысль, высказанная здесь, на диване под ярким светом лампы, в тихой комнате, могла вывести меня из равновесия. Я уже пожалела, что затеяла этот разговор, но еще не сдавалась.

— Так что же? — сказала я не без иронии, — значит, надо выдумывать препятствия и страдания для закалки? Что-то вроде душевной гимнастики?

— В таком виде это выглядит смешным, — серьезно ответил Григорий, — а я имею в виду другое. — Он встал и начал ходить по комнате. Это была единственная его привычка, которой я терпеть не могла. Но сейчас я не обратила на это внимания.

— Страдания не надо выдумывать, — сказал Григорий, — но их не надо бояться и надо уметь их переносить.

— Ну, хорошо, — возразила я, — я все поняла, кроме одного, какое отношение имеет все это к нам?

— Прямого отношения не имеет. Но к жизни вообще имеет. Я хотел еще сказать,

что человек должен всегда оставаться самим собой. Особенно женщина, — ей это труднее. Это одно из условий «сопротивления материалов».

— А любовь? — сказала я. — Разве она не предполагает некое «взаиморастворение»?

— По-моему, нет, — ответил Григорий. — Любить человек должен всем своим существом. Но тут вопрос — что такое любовь? Если понимать ее так, как ты, — то это абсолютное предпочтение одного другому и подчинение всех своих интересов его интересам. Это очень благородно, но такая любовь не выдерживает проверки временем. Браки, построенные на такой любви или на предположении, что должна быть именно такая любовь, — подвержены всем житейским случайностям.

— А как же понимаешь ты?

— Я считаю, что любящие люди должны не растворяться в своем чувстве, а помогать друг другу быть самим собой. Раскрывать себя полно и до конца. Тогда рождаются характеры сильные, верные принципам и идеям, а не тепличные, существующие лишь в воображении друг друга.

— Прямо не жизнь, а университет на дому, — подумала я про себя. Я почувствовала, что все, что говорил Григорий, может быть и умно, и правильно, но мое счастье доступней и проще, оно заключается вот в этой комнате и в сознании, что мой Григорий рядом и что так будет и завтра, и послезавтра, и всегда.

Я снова положила голову к нему на колени, и он стал гладить мои волосы, а я так и заснула.

★

Когда радио бросило в мир слова Молотова о войне, я сидела за столом и писала докладную записку директору завода об усовершенствовании в конструкции нагревательных печей. Григорий сидел напротив и читал книгу. Я посмотрела на него, не говоря ни слова. Григорий встал и протянул ко мне руки, но я отстранила их и тогда сказала «Не надо, не надо!»

Я вспомнила наш недавний разговор, меня охватило суевверное чувство, что это я сама накледила горе на нашу жизнь.

В тот же вечер Григория призвали, и ночью он уехал на фронт, успев лишь несколько минут забежать домой.

Помню, я на прощанье долго смотрела в его глаза и потом долго ходила по комнате как слепая, натякаясь на вопли. Потом мне стало очень холодно, хотя стояла июньская

ночь, я закрыла окно и, дрожа, забилась в угол кушетки. Потом проснулась и заплакал ребенок, и я стала кормить его грудью, а когда ребенок заснул, мне показалось очень трудным встать с кушетки, и я так и осталась до конца ночи сидеть со спящей девочкой на руках.

Теперь мне казалось, что вся моя жизнь сосредоточилась в дочке. Я думала, что в ней заключена паша любовь, наше счастье, наше будущее.

Этим летом в городе было особенно много цветов, их продавали всюду — на площадях, перекрестках и в скверах. Днем в городе было попрежнему оживленно и народу становилось все больше. Это прибывали в город жители оккупированных районов. Но вечерами, в темноте, ощущалась тоска и гнетущая пустота.

Я попрежнему работала на заводе и внешне будто бы была все такая же, как всегда, только часто стала думать о том, не слишком ли много я смеялась в жизни.

С завода каждый день исчезали люди. Прощаясь с человеком, я уже не знала, увижу ли его завтра. Места у станков пустели, а потом их занимали подростки.

Я видела, как затихает завод, и мне казалось, что кровь убегает куда-то из моих жил, что вокруг меня образуется какое-то жертвенное пространство.

Потом я узнала, что завод эвакуируется на восток и что в городе останется только два цеха; директор завода спросил меня, — хочу ли я уехать?

Вопрос этот показался мне бессмысленным главным образом потому, что я не представляла себе, как можно уехать, когда Григорий будет писать мне по Ленинградскому адресу. Кроме того, я каждый день просыпалась с мыслью, что, может быть, сегодня придет Григорий в отпуск, на день или два.

Я ответила, что никуда не поеду, и через несколько дней получила назначение помощником начальника одного из остающихся цехов.

Как-то я провела на заводе почти круглые сутки, упаковывала и отправляла оборудование, потому что был приказ закончить эвакуацию в кратчайший срок.

Но вечером ко мне в цех пришел Иванев и ворчливо сказал, что дочка моя заболела, что он даже привозил к ней врача.

Я помчалась домой. После бессонной ночи у меня кружилась голова и было горько во рту, а дневной свет резал глаза. Дома, у постельки Ирины, я застала врача, мать и Целагею Григорьевну. Врач успокоил меня,

сказав, что все позади и никакой опасности уже нет.

Я села на кушетку и тут же заснула и проснулась только на другой день вечером. Меня знобило, и голова разламывалась от боли, но я встала и, узнав, что Ирочка спокойно спит, снова помчалась на завод. Войдя в цех, я почувствовала головокружение и упала, а когда очнулась, то поняла, что лежу на кровати в комнате Ивановых, и услышала голос Ивана Ивановича. Он сказал:

— Тебе бы тоже надо уезжать, Целагея.

Она ответила тихо, но твердо:

— Я останусь пока, Иван Иванович.

Я лежала, не открывая глаз, и прислушивалась, но больше в комнате никто не сказал ни слова.

Я пролежала в постели несколько дней, а когда встала, то оказалось, что у меня пришло молоко, и Ирочку пришлось целиком перевести на искусственное питание.

Теперь мне все чаще и чаще приходилось оставаться на ночь на заводе.

Я с ужасом вспоминаю сейчас, что, может быть, не дала Ирочке того, что должна была дать. Но кто пережил это сам, тот простит меня. Ребенок был моей радостью, моим счастьем. Ирочка была для меня частью Григория. Когда я смотрела на нее, я радовалась, что она растет, и думала, что с каждым пережитым днем она ближе к новым, счастливым временам. Но иногда мне казалось, что завод заслоняет от меня все, и я уже не вижу перед собой ничего, кроме заводских стен.

Правда, в глубине сознания я все же жила надеждой, что эта страшная ночь кончится и снова настанет радостный день, и свет, и цветы, и Григорий.

Фактически я жила сейчас в двух мирах — мире воспоминаний, далеком, теплом, уютном, и в сегодняшнем — холодном и темном.

Я устроилась в комнате, в полуоформленном заводском помещении, и у меня там не было ничего, что напоминало бы мою комнату на Троицкой, только моя любимая маленькая подушка и портрет Григория. Впрочем, я и бывала-то здесь редко. Все время я проводила в конторке и по суткам не спускалась вниз. Я стала забывать, как выглядит город, потому что никуда не выходила с завода, и только часто звонила домой, справлялась о здоровье Ирочки.

Однажды меня вызвали к телефону. Говорила Иванова. Она сказала, что телеграфчик принес письмо на мое имя, из нем адрес полевой почты... Я бросила трубку,

не дождавшись конца фразы. Я только успела крикнуть печальному цеху, что уеду часа на три... Я помню, стоял осенний вечер. Смеркалось. Город медленно погружается в темноту. Дул резкий ветер, деревья на заводском бульварчике стояли голые, и облака висели очень низко. Я вскочила в громышающийся трамвай и в первый раз почувствовала, что отвыкла от города, от трамваев и от неба над головой. У меня стучало в висках, когда я думала о письме. Трамвай шел очень медленно, я стояла, стесненная со всех сторон, и гвердила про себя: «чтоб только он был жив и здоров... чтобы он был жив и здоров...»

Остановка была несколько дальше моего дома, но я соскочила на ходу, вбежала по лестнице, перескакивая через ступеньки, и стала звонить и стучать в дверь.

Мне открыла Иванова. Письмо было у нее в руке. Я схватила письмо, бросилась в комнату, на ходу разрывая конверт.

Там было всего несколько строк. Компесар части извещал, что Григорий Александрович Лебедев, военврач II-го ранга, отправляясь в тыл врага, чтобы оказать помощь раненым партизанам, героически погиб.

Я дважды прочитала эти строки, и мне показалось странным, что я продолжаю все видеть и слышать и что все предметы вокруг приобрели какую-то пазойливую осязаемость. Я сразу не отдала себе отчета в том, что произошло, и поймала себя на мысли, что в эту минуту думаю о чем-то другом. Потом это воспоминание, что в такую минуту я подумала о чем-то другом, сводило меня с ума. Мне показалось, что потолок стал ниже и стены обступили меня теснее и все вещи в комнате жмутся ко мне, и мне стало страшно. Я села на стул у стола и увидела перед собой раскрытую книгу, очевидно, ее читала мать: «...богатый ювелир браминской касты ехал со своим слугой в Бенарес. Догнав по пути монаха почтенного вида, он подумал: «Этот монах имеет благородный и святой вид. Общенье с добрыми людьми приносит счастье. Если он тоже идет в Бенарес, я приглашу его ехать со мной, в моей колеснице...» А его нет! — подумала я. — Нет и никогда не будет...

Я продолжала читать, не понимая, механически воспринимая фразы:

«...И, поклонившись монаху, он спросил его, куда он идет, и узнав, что монах, имя которого было Нерода, идет тоже в Бенарес, он пригласил его в свою колесницу».

Я подняла голову. «А его нет, и все кон-

чено, — подумала я. — Его нет и не будет. Монах идет в Бенарес... Брамин едет в колеснице. Теперь все кончено. Это — смерть». Я физически ощутила это слово. Оно показалось мне плоским и острым. Потом я посмотрела на кушетку, и мне показалось, что Григорий сидит там и протягивает ко мне руки. Я вскочила, стала отступать и, ударившись затылком о стену, закрычала. Вбежала Пелагея Григорьевна, ей ничего не надо было объяснять, она попыталась обнять меня, но я оттолкнула ее руки и сказала: голосом, который сама не узнала: «Ну, я пойду». Я медленно, натываясь на вещи, прошла мимо Ивановой, вышла в коридор и стала спускаться по лестнице, не захлопнув за собой дверь. На стене лестничного пролета огромными красными буквами было написано: «Будь готов к тушению зажигательных бомб». А я подумала: «Монах идет в Бенарес».

На улице было уже темно, шел дождь, и я несколько раз столкнулась с какими-то прохожими. Теперь мне хотелось донести и громко плакать. Я мечтала поскорее прийти в свою комнату и зарыться лицом в подушку.

Я хотела пройти через цех в свою комнату, но в цеху ко мне подошел мастер и сказал, что пришла группа новых рабочих и начальник цеха просит меня расставить их на места. В этот вечер мне так и не пришлось поплакать, и я уже никогда потом не плакала.

Иван Иванович Иванов должен был уехать с заводом. Но он не поехал. Он считал необходимым для человека своего возраста менять местожительство без каких-либо оснований и причин. Он полагал, что раз в Ленинграде остаются гражданские люди и некоторые цеха тоже остаются, то для него нет исключительных причин уезжать из города. Так он и заявил при мне директору. Дочь его уехала с заводом, сын же его с первого дня войны был на фронте.

Иванова назначили старшим мастером цех, где я была помощником начальника. Это его, видимо, неприятно поразило сначала, но потом он смирился, решив, что очевидно, он, Иванов, сам по себе, а я — сама по себе. Мне пришлось назначить его, привыкшего работать над тонким материалом, руководить группой молодых рабочих, которые делали проволочные колбочки для заграждения. Весь цех делал колбочки. Они загромождали помещения, круглые, как шары. Иванов стал еще более угрюмым. Я знала — он был влюблен в свое тонкое

мастерское умение, дающееся прилежанием и годами. Он редко хвалил. Для колючек не надо было умения. Наблюдал за ним, я видела, как он поднимал колючку п, прищурясь, смотрел на нее, точно прицеливаясь, куда бы приложить свое мастерство. Потом нажимал плечами и ронял колючку на пол.

Смерть Григория, как мне показалось, несколько примирила Иванова со мной. Я, кажется, начинала понимать этого угрюмого старика. Следуя своим раз навсегда установленным представлениям о человеке, Иванов считал, что каждый из хлебнувший горя и не борющийся за свое место в жизни человек еще сырой материал, «сыроежка». Я слышала -- он часто спорил по этому вопросу с сыном-студентом, который утверждал, что человек создан для радости и что в том-то и счастье нашей эпохи, что человека оберегают от горя. В том счастье, в том и несчастье, — ответил Иванов и прекратил спор на эту тему.

Теперь, узнав о моем горе, Иванов не пошел ко мне с сочувствием, он считал, видно, ниже своего достоинства ходить к «девчонке», но перестал отворачивать голову, когда я проходила мимо.

Первый артиллерийский снаряд упал в наш цех в середине ноября. Это было ночью, я спала у себя внизу, а когда прибежала в цех, — увидела облако красноватой пыли, веревку в цементном полу и куски человеческого мяса и окровавленной одежды, разбросанные по всему цеху. На другой день в цеху был поднят каменный пол и вырыты бундыши. Потом обстрелы стали все чаще и чаще, и скоро к ним привыкли, как привыкли и к фугасным бомбам.

Потом наступила зима. Наступил голод. Теперь я чаще ездила домой, надо было отвозить часть паёка матери и дочке. Для меня было счастьем привезти Прочке конфету, а потом стало счастьем привезти ей кусок хлеба. Заходя домой, я видела почти невесомую тепь Пелагею Григорьевну и высыхающую, огорбленную фигуру матери. В квартире было темно, и я ошупью пробиравась по лестнице, открывала дверь своим ключом, чтобы не заставлять мать делать лишние движения, проходила в комнату и, положив на стол кусочек хлеба, уходила.

Однажды, придя домой, я никого не застала в комнате. Я подумала, что, очевидно, мать с дочкой ушли в магазин. Я присела на кушетку и улынулась какой-то методичский стук в соседней комнате. Он больно отзывался в моих висках. Я вышла в коридор на пышочках и заглянула в соседнюю дверь.

Я увидела широкую спину Иванова. На столе горела коптилка. Мастер сбивал какие-то доски.

Я не могла больше оставаться одна в холодной и темной квартире. Я тихонько постучала в дверь и вошла. Иванов обернулся, увидел меня, но ничего не сказал, а продолжал заколачивать гвозди. Он был точными, тяжелыми ударами.

— Что вы делаете, Иван Иванович? — спросила я. Иванов повернулся и сказал:

— В цеху отпросился гроб сделать. Вон для нее.

Он кивнул головой в угол. Я посмотрела туда, в темный угол. Там стояла кровать, и, только присмотревшись, я различила какое-то легкое возвышение.

— Иван Иванович!.. — вскрикнула я и пошла к нему.

— Ну, ну... — сказал Иванов, отстраняясь от меня, точно в испуге, — все там будем...

...Поздно вечером Иванов и я отвезли тело Пелагеи Григорьевны к братской могиле, вырытой динамитом в мерзлой земле. Мы шли молча по безлюдным улицам под холодными звездами. Гроб на санках легко катился по снегу, надо было только чуть-чуть тянуть за веревку. Весь обратный путь мы не произнесли ни слова...

Целного позже произошло самое страшное. Однажды, подымаясь домой по лестнице, — я уже не взлетала по ней как раньше, а шла медленно, отдыхая на каждой площадке, — я у самой двери наткнулась на что-то мягкое. Я очень испугалась и стала стучать в дверь, забыв, что у меня есть ключ. Потом я взяла себя в руки, отперла дверь, зажгла в коридоре коптилку и вышла на площадку. У двери, прислонившись к стене, на корточках сидела моя мать, и ветер шевелил за лбу прядь ее седых волос. Я, кажется, закричала, бросилась к матери, — она была холодна. Очевидно она обессилела, не смогла открыть дверь и замерзла.

Я втащила тело матери в комнату и услышала плач ребенка. Я бросилась к дочери. Девочка плакала и ловила ручками воздух. Я остановилась, не зная, что делать. Я была одна в квартире. В полутемной комнате, на кушетке лежала моя окоченевшая мать, а в постельке плакал голодный ребенок. Я схватила ребенка и попробовала дать ему грудь, но это было бесполезно. Я положила дочку обратно в постель и больно укусила себе руку, чтобы не потерять сознания.

Потом я услышала шум отпирания двери и увидела на пороге высокую фигуру Иванова. Я вскрикнула от радости, бросилась к нему и обняла.

— Ну, ну... чего уж тут... — глухо сказал Иванов, так же как в прошлый раз.

...Ночью мы отвезли мать в гробу, сделанном из столовых досок. Иванов вез саники, а я шла с Ирочкой на руках. Мы шли молча, как и тогда.

...Домой я вернулась с мертвой девочкой на руках. Что Ирочка не дышит, я заметила, подымаясь по лестнице. Иванов шел за мной, и я ему ничего не сказала. Я вошла в квартиру, даже не заметив, что дверь была не заперта, — я забыла ее закрыть уходя. Войдя в комнату, я увидела Лиду, мою подругу, которую не видела уже месяца три. Она сказала, что похоронила мать и дочку, а теперь совсем одна и вот пришла сюда. Мы долго сидели молча, а потом Лида тихо сказала: «Что же теперь нам делать?..»

Когда мы вышли на улицу, на морозный воздух я заметила, что из руки, которую укусила, идет кровь. Я подняла какую-то бумажку, валявшуюся на снегу, и зацепила руку. Придя на завод, я обнаружила, что эта бумажка — маленькая немецкая листовка и что в ней Ленинграду предлагается сдатьсь. Я помню, внимательно, по складам прочла ее и вдруг засмеялась в первый раз с начала войны...

— Что с тобой? — спросила Лида.

Я не помню, что ответила ей. Кажется, ничего.

Лида осталась на заводе.

В течение трех месяцев, что я ее не видела, она окончила курсы медсестер. Мы договорились, что она будет медиком в команде МПВО и у нас на заводе. Я поселила ее на моей койке, — сама я редко почевала визиту.

Внешне Лида мало изменилась. Правда, она сильно похудела, но в привычках своих осталась такой же, как и была.

И все же она казалась мне другой. Не знаю почему, но я считала ее как бы своей совестью. Это трудно перелать, но она влияла на меня, — осуждала или сочувствовала своими поступками. И теперь мне кажется это странным, мы с ней редко говорили о близких нам людях: я — о Григории, она — о своем москвиче. Может быть, она умышленно избегала этих разговоров, сознавая, что счастливее меня...

Я знала, она пишет письма ему, и знала, что — безответно. Я тоже писала письма туда, в пустоту, — я не могла иначе, — и они оставались у меня, неотосланные...

Скажу прямо, — это она помогла пережить мне тот страшный вечер.

Она делала все без аффектации, без над-

рыва, поэтому я никогда не знала, где предел ее силам, ее терпению.

Лиду очень любит Иванов. Сначала я не понимала почему, — такие разные люди, — но потом поняла: старик любит, точнее уважает все настоящее.

...Как мы работали! Я не знала, откуда у меня бралась сила. Если бы мне раньше сказали, что я буду руководить цехом, — я подумала бы, что падо мной смеются. А сейчас... Я отвоеваваю людей от смерти, я слежу за каждым — тверда ли сегодня его походка, не дрожат ли руки, не подозрительно ли задремал он в перерыв?.. Я в курсе домашних дел каждого моего работника, я выкраиваю ослабевшим крохи дополнительного питания, отправляю в больницы тех, кто не выдержал борьбы, хороню погибших...

Я превращаю в крепость мой цех, рою бомбоубежище в цементном полу, баррикадирую наиболее ценные агрегаты...

Иной раз я спрашиваю себя — откуда силы? И — как ни странно — отвечаю: да в том же труде, что берет столько сил... Я поняла, что труд — это не повод уйти от ужасов дня, не способ забыться. Назборю, никогда еще не чувствовала я каждое свое движение столь осмысленным, никогда более ярко не ощущала я, что своим трудом борюсь за город, за человеческие жизни, за самое себя...

Без четверти одиннадцать. Сейчас придет моя девушка. Вот что получилось из «экзамена» секретаря комсомола! Как же станется ленинградками? Не знаю. Да и что такое ленинградка? Чувствую, но сказать не могу...

...На последней странице было написано: «Иногда мне кажется, что я очень, очень постарела и поднялась на высокую гору, откуда многое видно и где очень чистый воздух...» И все.

★

Я уже хотел закрыть тетрадь, но случайно перелистав несколько пустых страниц увидел вложенную четвертушку бумаги.

Узнал родной почерк, и мне показалось, что Лида позвала меня. Там было написано:

«Мы сидим с Ириной вдвоем, я пишу. Дыкнет она. Девушки спят. Мы только встретили новый год. Каким-то он будет. Только что Ирина спросила меня: «Ради чего мы живем?» Я ей ответила: «Ради счастья». Она сказала: «Как может быть счастье нас, потерявших все самое дорогое?» А потом подумала и сказала, что есть все-таки какое-то счастье: нести на своих плечах людей в гору и быть сильными. И мы решили...

стоять, несмотря ни на что. Мы будем работать... работать... и будем каждый день заниматься гимнастикой... Я говорю Ирине, что она диктует челуху, она отвечает, что ведь это никто не прочтет, это только для нас двоих».

Потом я увидел приписку, от которой у меня закружилась голова и стало сухо во рту:

«Милый мой! Если когда-нибудь ты прочтешь эти слова... Как близок были бы мне все эти черные дни!.. Но, может быть, тебя уже нет, и я говорю в пустоту?!»

...Я захопнул тетрадь.

Я читал не отрываясь, всю ночь. Некоторые страницы я перечитывал по два и три раза. Было утро, когда я кончил читать..

★

В Бировском военкомате, куда я пришел на следующий день, было пусто, но я уже знал, что в большинстве учреждений обитает лишь одна наиболее теплая комната. Я отыскал эту комнату и рассказал военкому, седоватому низенькому человеку, свою просьбу.

— Э-э, — сказал военком, когда я попытался справиться по картежке, куда направил Лиду. — Разве сейчас установишь? — Влюбил его было раздражение, — разобомбил нас недавно, но хозяйство почти все спасли. Вот теперь сидим день и ночь, разбираем...

Мне стало неловко. Я понимал, что моя просьба, изложенная официально, могла вызвать раздражение у человека, занятого большой работой. Тысячи подобных дел могли бы возникнуть у каждого ленинградца... Я сказал военному возможно мягче, что сознаю всю несвоевременность моей просьбы, но я... пробуду в Ленинграде очень недолго и, если между делом он приказал бы...

— Хорошо, — сказал военком и повернулся к поземлюму с острой бородкой человеку, сидящему у двери. — Вот, товарищ Козочкин, будете карточки разбирать, пошпите... — Он указал на листке бумаги ее имя, отчество фамилию и протянул Козочкину.

Я понял, что моя судьба в руках этого человека. Я попрощался с военкомом и, выходя, задержался у стола, где сидел Козочкин.

— Я вас очень прошу, товарищ Козочкин, — сказал я ему тихо, — вы мне окажете большую услугу в жизни...

Козочкин поднял вверх свою бородку.

— Хорошо, — сказал он, — я постараюсь. Придете через два дня.

25 января.

С утра — бомбежка. Канонада зениток, и в короткие просветы затишья — гул немецких самолетов.

Отбой дали в четыре часа дня, через восемь часов после объявления тревоги. Потом засветели снаряды. Радио объявило о начале артиллерийского обстрела.

Было странно слышать выстрел и затем свист и ждать через несколько секунд разрыва. И было страшно осознать, что через несколько секунд оборвется чья-то жизнь.

На фронте это воспринималось по-другому. Там люди сидели в окопах и блиндажах с оружием в руках. Они знали, что воюют, то есть готовы убивать и принимать смерть. Но здесь люди ходили по улицам или лежали в постелях, и было противестественно думать о том, что вот сейчас, через секунду после этого свиста, с грохотом разлетится стена, взвоет черный столб разбитого камня, дерева и снега и наступит разрушение и смерть.

Обстрел продолжался часа два, а потом снова объявили воздушную тревогу.

★

Ночью ко мне пришли два корреспондента центральных газет. Они жили этажом ниже и захватили свои кофидки. Мы зажгли сразу три кофидки, и стало относительно светло.

Один из корреспондентов был высокий, горбоносый, с огромной черной шевелюрой и с бровями, расходящимися под углом, — настоящий Мефистофель. Он только позавчера прилетел в Ленинград из Москвы. Другой был мал ростом, толст и светел, и на лице его, казалось, никогда не было никакой растительности. Мефистофель говорил высоким пронзительным голосом, а толстяк — глухим басом.

— Ну, как там, на Волхове? — спросил толстяк.

Я рассказал, что знал, а потом попросил рассказать о Ленинграде, но только по порядку, месяц за месяцем: мне хотелось восстановить картину осады города. Толстяк был в городе с начала войны. Беседа, мы засиделись далеко за полночь.

— Я уже тут два дня, — сказал Мефистофель, — а в газету не передал ни строчки. Уже две телеграммы получил. Хожу по городу и не знаю, с чего начать. Охватить не могу. И страшно и величественно. А как писать об этом, не знаю... Нельзя писать о голоде, не испытав его, — добавил Мефистофель, точно убеждая кого-то.

— Вы думаете, что дело только в го-
лоде? — спросил я.

— Я понимаю, — сказал Мефистофель, —
героика, подвиг — все это, бесспорно, я по-
нимаю.

— Нет не понимаете, — возразил я. —
Ведь это все на горе происходит. На высокой
горе. А вы внизу.

— Метафора... — сказал Мефистофель.

Я не стал возражать. Я говорил это не
ему, а себе. Я чувствовал себя столетним
стариком по сравнению с ним. «Марси-
анин», — мелькнуло у меня в голове.

— Я хочу поехать на Ладогу, — сказал
Мефистофель. — Проехать по всей трассе и
написать пару очерков. — Он так и сказал:
«пару очерков». — Может, вместе двинем?

Я ответил, что у меня есть еще дела в
городе, но на Ладоге я побываю обязательно.

Мы разошлись, корреспонденты ушли и
унесли свои копилки. Стало темно. Я раз-
делился, залез в кровать и укрылся матрасом
поверх одеял. Матрац я выпросил днем на-
верху, в госпитале.

26 января

Сегодня, возвращаясь вечером с телеграфа,
я увидел невысокого, сутулого военного.
Что-то показалось мне в нем знакомым, и я
прибавил шаг, чтобы увидеть его лицо. Опе-
редив его, я обернулся. Я увидел острую
бородку. Это был Козочкин.

— Здравствуйте, товарищ Козочкин, — ска-
зал я, останавливаясь. Козочкин тоже оста-
новился, борода взлетела вверх, а глаза
смотрели на меня растерянно и недоуменно.
Все лицо его было в шнуре: ресницы, брови,
бородка, даже из носа торчали серебряные
волоски. Он походил на какого-то блокадного
деда-мороза, похудевшего и очень старого.

— Я был у вас вчера вечером в воен-
комате, — сказал я. — Помните? Насчет де-
вушки одной...

— А-а, да, да, помню, — закивал Козоч-
кин, — я искал вчера вечером и сегодня, по-
люба ничего... Шлягу, знаете, еще не на-
шел. Завтра начну разбирать второй ящик с
картошками.

Мы шли по улице, перелезая через су-
гробы. Козочкин явно замерз. На нем была
кургузая солдатская шинель, командирские
знаки в петлицах выглядели как-то
неуместно.

— Где вы живете? — спросил я Козоч-
кина.

— Далеко! — ответил тот. — Раньше жил
близко, да снарядом дом разворотило... Сей-
час к знакомому переехался. На Подольскую.

Мы проходили мимо улицы Гоголя.

— Пойдемте почитать ко мне, — сказал
я. — Мы почти у дома. Незачем вам тащиться
на Подольскую.

Бородка приподнялась и застыла в размы-
шлениях.

— Нечего думать, — сказал я, — пошли.
Только предупреждаю: у меня холодно.

— Где теперь не холодно, — возразил
Козочкин. — У приятеля тоже дров нет.

— Ну, тем более, — сказал я, — значит,
идем.

Забдя в комнату, я с трудом зажег коп-
телку застывшими пальцами.

— Устраивайтесь на диване, — предложил
я Козочкину. Он сел и стал дуть на ручки.
Потом он растопырил пальцы над пламенем
копилки, и они вмиг стали черными от
копоти.

— Вот холодина-то, — сказал Козочкин. —
Сейчас бы чайку горячего... — Он сказа-
л это таким тоном, будто мечтал о черномор-
ском пляже.

Чайку, — это действительно было бы про-
сте великолепно! То есть по чаю, конечно, —
об этом нечего было и думать, — а просто
несколько глотков воды, горячей, горячей,
чтобы облила рот.

— Посидите, — сказал я Козочкину и вы-
шел в коридор. У меня была идея. Я
идеяется наверх в госпиталь для диспанчи-
ков. В полутемной «дежурке» светлело кака-
то пятно. Я кашлянул, и пятно размылось.

— Кто там? — спросила сестра.

На дипломатическом переговоры ушло не-
сколько минут. Затем я спустился по темной
лестнице, держа в одной руке два стакана,
а в другой прижимая к груди драгоценный
чайник с кипятком.

— Вот и чай, — сказал я Козочкину,
входя в номер. Я разлил кипяток в стаканы,
и мы стали пить. Стакан обжигал пальцы,
хотя вода успела немного остыть, пока я
пел чайник.

Козочкин пил, причмокивая. Его глаза
были полузакрыты, он наслаждался. Мы вы-
пили все, что было в чайнике. Затем Козоч-
кин расстегнул шинель и откинулся на
спинку дивана.

— Хорошо! — сказал он умирно. Мне
показалось, что он тотчас же задремал.

— Что вы делали до войны? — спросил я.

— До войны? — Козочкин открыл глаза,
сделал паузу, словно припоминая, а что он,
в самом деле, делал до войны?

— Я настраивал рояли.

Это было неожиданно. Собственно в самой
профессии настраивщика роялей не было ни-
чего необычайного. Но было странно слышать
о ней в эти дни в Ленинграде и еще более

странно видеть перед собой самого настройщика.

— Интересная профессия,— сказал я. Козочкин молчал.— За время войны вы, наверное, уже забыли ее,— сказал я, чтобы что-нибудь сказать.— Наверное, вам показалось бы очень странным, если бы кто-нибудь пригласил вас сейчас настроить рояль...

Козочкин покачал головой:

— Нет, мне не показалось бы это странным,— тихо ответил он.

Теперь замолчал я, чувствуя, что это не все, что хотел сказать Козочкин. Но Козочкин не раскрывал рта, и я интуитивно почувствовал его сомнение: стоит ли раскрывать душу перед малознакомым человеком?

— А чем вы занимались до войны? — неожиданно спросил он.

— Тем же, чем и теперь,— ответил я,— писал.

— И читали?

— И читал, разумеется.

— Библию читали?

Разговор делал какой-то фантастический зыгзаг.

— Приходилось,— ответил я.— И библию и евангелие.

— Евангелие неинтересно,— сказал Козочкин,— и читать его сейчас вредно,— добавлял он мстительно.— Оно о смерти больше. А библия земная книга. Сказка, конечно, но земная.

Я премычал что-то неопределенное, не понимая, к чему он клонит.

— «Песню песней» помните? — спросил Козочкин,— а обличения Иеремии?

Я ответил, что Соломона помню, а Иеремию — смутно.

— Перечитайте,— сказал Козочкин.— Это очень хорошо. Там большая радость жизни и большая страсть. А без этого в Ленинграде не проживете. Вы вот говорите — профессия не оборонная. Это ошибка, что Ленинграду нужны профессия. Ему люди нужны. И вера и ствасть.

— Вы философ,— сказал я.

— Конечно,— серьезно согласился Козочкин.— Но я и настройщик.

— Где-нибудь в военной части? — спросил я

— Нет. Рояль не походный инструмент. Я настраивал здесь. В «Астория».

Он наклонился ко мне и стал рассказывать медленным голосом, как рассказывают сказку детям:

— Жил старик-музыкант. Он тоже остался. У него был рояль, прекрасный инструмент. Квартиру разбило снарядом. Рояль —

тоже. Старик перебрался к знакомым. Но там не было рояля. Откуда-то он узнал, что здесь, в «Астория», в одном из номеров сохранился прекрасный рояль. Раньше из нем упражнялись разные приезжие знаменитости. Теперь там никто не жил. Старик зашел к директору. И ему разрешили. Рояль отсырел, струны спустились. Музыкант налил меня. Мы провозились с инструментом два дня...

— Подождите,— крикнул я и схватил Козочкина за руку,— что играет этот музыкант? Шестую симфонию Чайковского играет?

Козочкин хитро улыбнулся:

— И вы его слышали? Значит, до сих пор играет?

Я ничего не ответил.

— Он и не умер-то из-за рояля,— сказал Козочкин,— когда сильно любил что-нибудь,— не умрешь. А что вы, например, цените выше всего?

— Любимую женщину,— ответил я.

— Это та женщина, которую вы размышляете?

— Да,— сказал я.

— Я понимаю! — воскликнул Козочкин.— Мне кажется, что я все понимаю. Может не рассказывать. Я постараюсь все сделать, чтобы вам помочь. Вы только верьте. Верьте! И приходите ко мне послезавтра.

Затем мы легли спать.

Я уже засыпал, когда услышал голос Козочкина.

— А где вы жили постоянно до войны?

Я ответил, что в Москве.

— Напрасно,— сказал Козочкин,— каждый писатель должен стремиться в Ленинград. Помните-ка: даже такие корифеи как Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Жуковский устремлялись сюда...

Я не стал с ним спорить. Я заснул, и в эту ночь мне пришлось сон, что я вижу ее, по подойти по могу, и чем ближе я ехал — тем дальше оказывался от нее, а потом она стала совсем неразличимой, точно растворялась в заснеженных ленинградских улицах. Потом мне пришлось, что по Невскому проходят войска, а впереди идет барабанщик и бьет в барабан. Не оркестр, а один барабанщик...

28 я н в а р я

Сегодня с утра пошел в военкомат. Козочкин вскочил, увидел меня.

— Нашел, нашел! — возбужденно сказал он.— Вот и карточка ее,— вот, смотрите! Направлена в смотряк по обслуживанию ладожской трассы. Там ее ищите.— Он

улыбнулся: — полпочи вчера проискал, а все-таки нашел!

Мне хотелось обнять и расцеловать Гозочкина. Но я только крепко пожал его руку и побежал обратно в гостиницу. Я не пошел в свою комнату, а постучал в номер к Мефистофелю. Дверь была не заперта. Корреспондент еще спал, укрывшись с головой. Из-под полушубка торчали его длинные ноги. На столе стояла коптилка. Потолок был черен от копоти.

Я разбудил его и спросил, когда он собирается ехать на Ладогу.

Мефистофель сел на кровать, поджав под себя ноги, поморгал и сказал, что едет завтра утром. У него была машина.

— Я поеду с вами, — сказал я.

— Прошу, — галаятно ответил Мефистофель. Мы расстались до утра.

★

Мефистофеля звали Юрий Ольшанский. Мы выехали с ним в десять часов утра. Я сидел в кузове полуторки, а Ольшанский, как хозяин машины, в кабине. Но вскоре наши положения сравнялись: километров за шесть до озера что-то случилось с мотором, и шофер объявил, что тут работы часа на четыре. Мы решили двигаться на попутных.

Нам повезло: за нами шла полуторка. Мы «протолосовали», забрались на прикрытые плащпалатками кули с сухарями и через полчаса были у Ладоги, но на этом наше «безопасие» кончилось: дальше машина пошла. Но это не привело нас в отчаяние: в это время по трассе проходит много машин.

Мы стояли на берегу скованного льдом озера. Над льдом висел туман. Гладкая, изрезанная дорога спускалась с берега и исчезала в молочно-сером тумане. Эта дорога была единственной, связывающей блоктропачный Ленинград с Большой землей. Недалом она называлась «Дорогой жизни».

— Пойдем искать КМ, — сказал он: У него уже выработался «нюх» на блиндажи. Мы побродили по берегу и скоро увидели занесенный снегом тамбур землянки. Мы вошли, а следом за нами вервалось облако пара, и все заволочило на мгн.

Когда пар рассеялся, я увидел у столтика лейтенанта в меховой безрукавке. Он впрямую смотрел на нас. Мы представились, и Ольшанский сказал, что хотел бы написать «пару очерков» о трассе, да вот сломалась машина, и теперь неизвестно, как придется добираться.

— А зачем вам машина? — сказал лейтенант, — мало разве машин по трассе ходит?

Идите себе по трассе и смотрите. Вот и все. А устанете, — попутная подвезет.

Мы посоветовались с Ольшанским и решили, что лейтенант, пожалуй, прав. Надо погреться немного и трогаться в путь.

— А где ваша сапчасть? — спросил я.

Лейтенант улыбнулся:

— Ну вот, как корреспондент, так прежде всего в сапбат. На льду наши медики, на льду все. Они у нас боевые.

— Как же их найти?

— А по указателям! У нас по всей трассе указатели расставлены, как на Невском. Только светофоров нехватает! А дорога одна: прямо да прямо...

Мы погредлись немного и вышли из землянки.

Дул сильный ветер, по туман не рассеивался. Он только «спрессовался», прижавшись ко льду. Выше воздух был прозрачен. Мы шли по озеру, по которому раньше, до войны, никто не ходил и почти не плавал: оно было капризным, штормящим, изобилующим огромными глубинами и коварными мелями. Никто не мог предугадать его роль в судьбе осажденного Ленинграда.

Мы шли молча. Навстречу нам, грохочая пелями, неслись тяжело груженные автомашины, и плащпалатки, прикрывавшие груз, раздувались на ветру, как крылья. Ветер становился все сильнее, и вскоре по льду закружились маленькие снежные смерчи и замела поземка. Мы подсели на попутную машину, проехали километров пятнадцать и слезли, потому что сильно промерзли. Мы побежали, чтобы согреться, но когда снова захотели сесть в машину, как пазло на трассе ни одной не оказалось.

Я шел, смотря на указатели, — их действительно было очень много, — пока не прочел: «Сапбат. 5 километров», и не увидел стрелку, указывающую на юг.

— Пойдем быстрее, — сказал я Ольшанскому.

Ветер дул все сильнее. Он дул рывками, с короткими промежутками затишья. В один из таких промежутков мы услышали гул самолета. Я обернулся и увидел «Дуглас». Самолет шел совсем низко над озером. Над «Дугласом», на значительной высоте, шел истребитель.

— Один только! — сказал Ольшанский, показывая на истребитель. — Обычно сопровождает больше. — Он проявлял чрезвычайную осведомленность во всех делах.

«Дуглас» пролетел над нашими головами, и в этот момент Ольшанский крикнул: «Смотри!» и схватил меня за руку. И по-

смотрел в сторону, куда показывал Ольшевский. В молочной дымке облаков я увидел медленно плывущие серебристые точки.

— Это «мессеры»! — тихо сказал Ольшевский. Я тоже не сомневался в том, что это немцы. Они плыли, то скрываясь в кашнице облаков, то появляясь в просветах. Мы внимательно следили за их полетом.

— Они не видят! — воскликнул Ольшевский. «Дуглас» был уже далеко от нас. Он быстро приближался к едва заметной вдали линии берега.

— Они не видят! — повторил Ольшевский. В этот момент я заметил, как три плывущие в облаках самолета резко изменили курс. Где-то захлопали зенитки, и в небе вспыхнули одувачники разрывов. Но самолеты, круто развернувшись, устремились туда, где только что скрылись из нашего поля зрения «Дуглас» и истребитель. Скоро все они исчезли в туманной дымке.

— Вдогонку пошли, сволочи! — сказал Ольшевский. — Ну, над землей они чорта с два его различат. Он над самым лесом полетит. Только бы над озером не догнали. А истребителю — достанется...

Мы стояли и смотрели туда, где скрылись самолеты. Вскоре оттуда послышался нарастающий звонящий гул моторов. Затем мы увидели четыре самолета. Все стало ясным: немцы атаковали наш истребитель.

Дальнейшее произошло молниеносно. Не было ни карусели воздушного боя с завыванием моторов, ни треска пулеметных очередей. Просто мы услышали резкий пушечный удар, и один из самолетов, в черном дыму, ринулся с небосклона. Мы видели, как с каждой секундой уменьшается расстояние между самолетом и льдом, услышали сильный треск взламываемого льда и увидели столб воды, взметнувшийся из провала.

— «Мессер», «мессер»! — уверенно закричал Ольшевский.

Затем самолеты в небо смешались, и я уже не мог отличить немецкий от нашего. Вдруг я увидел, как один из самолетов, без дыма, без обычного языка пламени, стал медленно планировать.

— Это наш, Ольшевский, наш... — шепотом сказал я.

Очевидно, у самолета был поврежден мотор. Немцы прижимали его к озеру, обстреливая из пушек и пулеметов.

Истребитель бесшумно, как планер, скользнул над озером. Наконец его лыжи коснулись льда, и он замер, багровый, почти неразличимый на снегу. Он сидел на более чем в ста метрах от нас. Немцы пронеслись над ним с победным воем моторов. Я уви-

дел, как из кабины истребителя вывергнулся летчик и бросился под мотор. Мы побежали к нему.

— Ложись! — крикнул Ольшевский. Я бросился в снег и увидел, как два самолета, развернувшись, пикировали на беспомощный истребитель. Они на бреющем полете пронеслись над ним, я услышал пулеметную очередь, увидел столбики снежной пыли и ямки на снегу, похожие на заячий след.

— Они его будут расстреливать, — прошептал Ольшевский.

Самолеты развернулись и снова стали заходить на истребитель. Когда они вторично пронеслись над нами и снежная пыль взвилась в каком-нибудь десятке метров, я крикнул:

— К самолету! — вскочил и побежал. Ольшевский бежал за мной. Надо было успеть добежать до самолета, пока немцы не развернутся. Там все-таки было укрытие. Мы успели. Я добежал первый и с размаха нырнул под мотор. Ольшевский повалился на меня. Летчик лежал на спине и сжимал в руке гаган.

— Полегче, ребята, — прохрипел он.

Мы прижались друг к другу. Самолеты с воем пронеслись над нами. Пули ударили в металл над нашими головами.

Казалось, что этому не будет конца. Самолеты разворачивались, пронеслись над нами на бреющем полете, налили из пулеметов и пушек и поливали вокруг снежную бурю. И каждый раз, когда они проносились, летчик произносил только два слова: «Ни черта!»

Потом они улетели. Мы вылезли из-под мотора. Не было ничего более приятного, чем видеть, как удаляются «Мессершмитты». Летчик вылез следом за нами. Меховой комбинезон висел на нем ключьями. Он встал, похлопал рукой по мотору и сказал:

— Ни черта! Выручил. Ленинградская вещь!

— Рапен? — спросил я.

— Ни черта! — крикнул ответил летчик. Но я увидел на снегу, там, где он лежал, красное пятно.

— Посмотри получше, — сказал я, — его-ряча не чувствуешь.

Летчик похлопал себя по груди и по бедрам.

— Руки есть, ноги тоже есть. И бабка есть, — сказал он.

— А кровь откуда? — спросил я, показывая на снег.

— Кровь?... — Летчик посмотрел на снег и повторил растерянно: — Кровь?... Да, кровь.

Но тут я сам увидел кровь на его валенке. Очевидно, он был ранен в левую ногу.

— Снимай валенок,— сказал я.

— Да ничего,— махнул рукой летчик.

— Сейчас — ничего, а потом без ноги,— крикнул я.— Садись!

Летчик сел в снег, и я стал стягивать с него валенок.

— Больно? — спросил я. Мне важно было знать, задета ли кость.

— И ничего не больно,— буркнул летчик. В валенке скопилось много застывшей крови. Я завернул штанину. Рана была не большой. Бинт оказался у него в сумке. Я перевязал рану и укутал ногу.

— Теперь пойдем в санбат,— сказал я.— Вдвоем мы тебя доведем. Это рядом. Километра три.

— Никуда я не пойду,— ответил летчик.— Что вы, в уме — машину бросить? Идите-ка лучше сами, пусть полуторку пришлют да бойцов, охрану поставят.

— Ладно,— сказал я.— Ольшанский останется здесь.— Мефистофель кивнул.— А тебя мы посадим в кабину.— Мы посадили летчика в кабину, и я зашагал по направлению к санбату.

Холодный ветер крепчал с каждой минутой, и было трудно устоять на льду.

Я прошел около километра и увидел полуторку, которая, громыхая цепями, неслась мне навстречу. Когда она была уже близко от меня, я рассмотрел красный крест на переднем стекле. Я поднял руку, и машина, поравнявшись со мной, замедлила ход.

— Там летчик раненый! — крикнул я.

— Знаем! — ответил из кабины женский голос, и машина снова понеслась.

Итти было очень трудно. Поднялся штормовой, ледяной ветер. Трассу заносил снег. Я шел сквозь туман. Валенки мои проваливались в сугробы, и снег набивался за голенища... За летчика я был теперь спокоен. Через несколько минут машина будет у самолета. Очевидно, — в санбате видели, как он свизился, и выслали машину.

Теперь я уже не думал о летчике. Я думал о Лиде. Я уже не сдерживал себя, я шел и повторял:

«К ней, к ней...» и мне было легче итти. Наконец я увидел большую санитарную палатку. Она стояла в стороне от трассы. Было уже темно. У входа лежали на снегу розовые отблески, очевидно, в палатке топилась печь. Я приподнял мокрый от снега платок и вошел.

У входа действительно топилась печурка, а дальше в полумраке я увидел людей, сидящих на топчанах.

Я поздоровался и для проверки прежде всего сказал о летчике.

— Знаем, знаем,— ответил мне кто-то из полумрака,— уже машина пошла.

Значит, все было в порядке.

Теперь я различал сидящих на топчанах людей. Их было двое: военврач третьего ранга и военфельдшер. Они пили чай. Я представился, и военврач налил мне кружку чая.

— Согрейтесь,— сказал он.— Ну, как там, на Большой земле?

Я пил, обжигаясь, горячий чай и рассказывал о Большой земле. Они, сидящие здесь, на льду, были «буфером» между Большой землей и Ленинградом. Для них было одинаково интересно и то, что происходит в Питере, и там, за Ладогой.

А потом я спросил, стараюсь говорить как можно спокойнее, не знают ли они, где работает... Я назвал фамилию.

— Как же,— спокойно ответил военврач,— у нас работает.

Мне показалось, что это сказал не он. Мне показалось, что я слышу свой собственный голос.

— У вас? — повторил я.

— У нас,— ответил военврач.— Вернее работала. Сегодня убыла в распоряжение фронта. Да вы говорите, что встретила машину? Вот она на ней и поехала...

Я вскочил.

— Но ведь машина вернется?!

— Зачем же ей возвращаться? Летчика повезут прямо в Питер, в госпиталь...

Я выбежал из палатки. Завывал холодный, штормовой ветер, и острый снег бил в лицо. Где-то на трассе буксовала машина и издали слышались артиллерийские разрывы, и было темно, совершенно темно.

★

— Буда это вы сорвались? — спросил врач, когда я вернулся в палатку.

— У самолета остался товарищ,— ответил я.— Хотел посмотреть, не идет ли он.

— Ну сейчас нас отыскать трудно,— сказал врач.— Мы — как папанинцы на льдине. Он, наверное, вернулся с машиной в Ленинград.

— Да,— согласился я,— наверное, он вернулся.— Было мучительно думать, что Ольшанский сейчас вместе с ней в машине... — Бог мой! Если бы они хоть разговорились и Ольшанский сказал, с кем он ходил по Ладоге... Но на это было мало надежды. Она, наверное, сядет в кабину, а он — в кузове. Доехав до города, он постучит шоферу и выпрыгнет. Вот и все. Не может быть, в кабину посадили раненого

летчика? Конечно, они посадили его в кабину, если он еще в состоянии сидеть. И тогда она с Ольшанским едет в кузове. Ольшанский — общительный тип...

Я сидел и думал: «Если бы он с ней заговорил! Ну вот, они сидят в кузове, и он закрывает ей ноги плащом, — разве это не повод для разговора? Или он просто спрашивает, — до какого места пойдет машина. Наконец надо же ему написать о Ладоге свою «пару очерков». Неужели он не затеет разговора о трассе? «О людях» — как приятно выразиться...

Отчаяние охватило меня. Мне казалось, что я слышу их разговор, десятки вопросов, которые задает Ольшанский, и ее ответы, тогда как ему нужно сказать всего два слова...

Завывал ветер. Полотнища палатки колыхались, и веревки, привязанные к кольцам, вбитым в деревянный настил, натягивались как струны. Были минуты, когда казалось, что порыв ветра опрокинет палатку, раскидает по льду людей, топчаны, горящие в печке дрова, исключает все острым, колючим снегом.

— Дает жизни! — сказал военфельдшер!

— Теперь до утра, — подтвердил врач.

— Что «до утра»? — спросил я. Мне показалось, что я пропустил начало разговора.

— Ветер — до утра, — сказал врач. — Ну, ужинаем будем? — Он встал с топчана и потянулся, широко раскинув руки. Он был очень высок. У него была черная, неровно подстриженная борода. Трудно было определить, сколько ему лет, хотя мне показалось, что он молод.

Никто не ответил. Только ветер свистел. Врач подошел к печке, опустился на корточки и стал помешивать в печке.

— Я думаю, надо поужинать, — сказал врач. — А вы как? — это относилось ко мне. Я заявил, что есть не хочу.

— Бросьте, бросьте, — ворчливо отозвался врач. — Корреспонденты всегда есть хотят. Я ведь и на Большой земле работал. Будем кашу варить.

— Орел! — крикнул он фельдшеру. Но с нар раздавалось тихое сопение.

— Спят, — сказал врач. — Ну, и пусть спят. — Сейчас приготовим воду. — Он взял котелок и нырнул под мокрый полог, прикрытый вход. Через минуту он вернулся с котелком, наполненным снегом. — Во, как живем! — сказал врач. — Как на льдине! — ему видно нравилось это сравнение. — Чтобы получить полкотелка воды, — деловито сказал он, ставя котелок на печь, — надо три раза

наполнить его снегом. Вода будет препарированная, предупреждаю, — но другой нет.

Он поднял с пола лучинку и стал помешивать ею снег в котелке.

— Гигиена! — сказал я улынувшись.

— Такого слова не существует, — убежденно ответил врач. Он начинал мне нравиться. У него была деловитость и какое-то благодушно-ироническое отношение к тому, что он делал. Он производил впечатление «делового» человека.

— Есть много способов приготовления мясной каши из концентрата, — сказал он, помешивая снег лучинкой. — Можно дожидаться, пока закипит вода, можно заранее положить концентрат в воду. Но, откровенно говоря, это дела не меняет. Существенные изменения в анамнезе наступают лишь в результате прибавления к каше масла и поджаренного лука. К сожалению, мы не растагаем сейчас ни тем, ни другим...

Я смотрел в котелок. Внезапно жидкая кашница снега подернулась корочкой и тут же превратилась в воду.

— Ну вот, — сказал врач, снимая с печки котелок, — теперь его надо снова наполнить снегом. — И врач опять нырнул под полог.

Это было очень смешно и напоминало старую сказку о том, как ели кисель и бегали в погреб за молоком. Ложка киселя, ложка молока. Почему было не принести снег в ведро и потом постепенно подкладывать его в котелок?

— Не утимается! — сказал врач, пролеза в палатку. От котелка шел пар. Он снова поставил его на печку. — Так и хлещет! Ну, дела сегодня будут... — Он опустился на корточки и стал помешивать в котелке. Его волосы были запорошены снегом.

— Еще один раз, — сказал врач, — и воды будет достаточно. Я посоветовал ему насчет ведра. Врач посмотрел на ведро, висевшее на крюке, потом на меня и ответил:

— Пожалуй... — Потом он встал и подсел на топчан, рядом со мной.

— Скажите, — спросил врач, — а летчику тому здорово досталось?

— В ноги, — ответил я. — Он сначала не почувствовал. А потом я заметил кровь; он говорит, что не больно.

— Так всегда сторыча бывает, — сказал врач. — Но, видно, счастливо отделался.

— «Мессеров» было три, — вспомнил я, — а он один. По-моему, он напрасно полз в драку.

— Как! Напрасно? — удивился врач. — А «Дуглас»?

— «Дуглас» был уже над лесом. Цель была достигнута. Ему надо было уходить.

— Ну это вы бросьте,—недовольно сказал врач.— А вдруг омы погнались бы за «Дугласом»? Ни один ленинградский летчик так не поступит... Ну вот, теперь последний заход.— Он схватил котелок и нырнул под полог. Фельдшер на топчане мирно посапывал. Я посмотрел на часы. Был час ночи: через шесть часов наступает утро, и я смогу двинуться обратно.

— Прямо невозможно держать в руках металлическое,—сказал врач, глядя на котелок.— Вмиг пальцы отморозишь. Вот холодина-то! — Он рывком поставил котелок на огонь.

— Теперь все,—сказал он.— Закшпит — и можно класть.

Я почувствовал, что хочу спать. Врач подошел к топчану и взял оттуда концентрат. Потом подумал и взял второй.

— Сварим два,—обратился он ко мне,— кутить так кутить!

— Давайте я тоже буду что-нибудь делать,—сказал я.

— Вы будете есть,—ответил он.— Вот смотрите за водой. Скажите, когда закшпит.

Глупо было приставать к нему. Как будто требовался штат прислуги, чтобы сварить кашу. Но мне было неприятно сидеть сложа руки. Врач высыпал из мешка несколько сухарей и крошки.

— Это вместо хлеба,—сказал он.— Надеюсь, у вас зубы не вставные?

Он стал ломать куски. Я видел, что они тверже камня.

— Замерзли,—сказал он.— Впрочем, предпочитаю сухари мерзлому хлебу.

Я не разбирался в этих тонкостях. К тому же вода закипела.

Размельчив концентрат, я высыпал его в котелок.

Вода кипела, и пшено немедленно стало подниматься на поверхность. Вода была мутной.

— Теперь надо потерпеть минут пятнадцать,—сказал врач.— Есть сильно хотите? Я ответил, что хочу.

— Правильно,—возразил он,—раз корреспондент, значит хотите. Орла будем будить? — спросил он, кивая на нары.— Пожалуй, не будем. Собственно, ему повезло больше, чем нам. Лучше хорошо выспаться, чем быть сытым.

Я сомневался в правильности этого афоризма. В палатке запахло вареным пшеном. Это был очень приятный запах. Я никогда не замечал раньше, что пшено пахнет.

— Поедим и ляжем,—сказал врач, по-

тягиваясь.— Сказать вам откровенно: я уже третьи сутки не могу выспаться.

Мне было непонятно, что это за работа у медиков на льду, из-за которой нужно не спать по суткам. Я сказал ему об этом.

— Ну, работа разная бывает,—ответил он и, зачерпнув лучишкой кашу, попробовал.

— Готово? — спросил я. Мне очень хотелось есть.

— Готово,—сказал он.— Масло и жирный лук подразумеваются. Возьмите котелок и слейте воду.

Я вышел из палатки. Бурап едва не сшиб меня с ног. У меня захватило дыхание, и в лицо врезались сотни игол. Я стал осторожно сливать воду. Где-то неподалеку я снова услышал звук буксующей машины и подумал, что шоферу сейчас несладко.

Затем я вернулся в палатку. Мокрый полог хлестнул меня по лицу, когда я пролезал. Врач поставил на топчан две жестяных тарелки. Он потирал руки и, видимо, был доволен.

— Ну вот, все и в порядке,—сказал он.

— У кого-то неподалеку не все в порядке,—ответил я.

— А что такое?

— Где-то машина буксует. Вот, видно, достанется шоферу!

— Машина? — переспросил врач. Мне показалось, что он помрачнел.— Ну, давайте быстрее.

— Куда торопиться? — спросил я.

Врач ничего не ответил и стал выкладывать кашу на тарелки. Когда я приготовился опустить ложку в дымящуюся кашу, снаружи послышался скрип шагов.

— Так,—сказал врач и отложил ложку.

Полог откинулся, и в палатку пролез человек. На нем был промасленный, когда-то белый, полушубок, подпоясанный ремнем. Грязный пот стекал с его лба на лицо. Ушанка была сдвинута на затылок, и виднелись слежавшиеся на лбу волосы.

Он стоял у входа в палатку, и возле его валенок от тающего снега сейчас же образовалась лужа. Он стоял и смотрел своими воспаленными глазами на нас и, как мне казалось, никого не видел.

Наконец он спросил хрипло и невнятно:

— Здесь... чего?

Я сразу понял, что это шофер с той машины.

— Санчасть,—ответил врач.

— Медики... — хрипло сказал шофер... а мне бы толкнуть... машину толкнуть Самую малость.— Он говорил, ни к кому обращаясь. Он все еще стоял у входа, но

видел, как под влиянием света и тепла его взгляд проясняется. Потом шофер сделал шаг к печке и протянул над ней руки. Я вздрогнул, увидя их. Кисти были ало-фиолетовые, распухшие, как бочки. Водьери на них были видны даже издали.

— Опустите руки и идите сюда, — резко сказал врач. Затем он повернулся и потормошил спящего на парах фельдшера.

— Подъем! — скомандовал он. Шофер стоял у печки, не двигаясь и не опуская рук.

— Вы что, оглохли, что ли? — закричал врач. — Опустите руки! — Он подошел к шоферу и оттащил его от печки. — Вы что, не видите, что у вас с руками?

Шофер поднес руки к глазам.

— Малость поморозил, — ответил он.

— Снимите полшубок, — приказал врач.

— Да ничего я не буду снимать, — с внезапной злобой сказал шофер и упрямо мотнул головой. — У меня машина там, груженная. И человек у груза. Мне толкнуть надо.

— Снимите полшубок. — закричал врач. — Смирнов, помоги ему снять полшубок.

Фельдшер подошел к шоферу и взялся за его ремень. Но шофер резко повернулся и хотел вырваться из-под полог.

— Держите его, дурака! — закричал врач, и Смирнов ухватил шофера за полу полшубка. — Ты же без рук останешься! Понимаешь ты это? Гангрену хочешь? Сейчас же сними полшубок!

Шофер больше не сопротивлялся.

Смирнов стал расстегивать на нем полшубок.

— Вот что, — сказал шофер, — если смазать или перевязать, — давайте, только побыстрее. Мне еще людей надо найти, машину толкнуть.

— Ты никуда не поедешь, — сказал врач, перебирая на полке какие-то склянки. — Тебя сейчас положат в постель.

— А машина? — спросил шофер. В его голосе звучали растерянность и испуг.

— У машины выставят часового. Потом поедет другой шофер.

— Да вы что? — рванулся к выходу шофер. — Вы что, смеетесь, что ли, товарищ всеврач? Машину бросить на полдороге и в постель? — Он схватился за полшубок.

— Ты не дури. — строго сказал врач. — у тебя обморожение второй степени. Ты понимаешь, что это такое? С культишками жить хочешь?

Шофер растерянно смотрел на свои руки.

— Да ч не больно совсем, — сказал он внезапно осевшим голосом.

Врач посмотрел на меня.

— Видите, — сказал он. — Этому тоже не больно. Всем им сначала не больно. — Он подошел и налил что-то из бутылки в жестяную кружку.

— Выпей, — сказал врач и протянул кружку шоферу. Тот взял, попохал и улыбнулся.

— Это, конечно, можно... Сильна, черт! — выпив, воскликнул шофер восхищенно.

— Теперь давай сюда руки, — сказала врач. Вдвоем с фельдшером они стали чем-то смазывать ало-фиолетовые кисти рук. Шофер не стонал и не морщился.

— Сколько в ней градусов? — спросил он. — Наверно, коньяк?

— Коньяком еще тебя поить... — проворчал Смирнов.

— Ну, довольно болтать, — сказал врач, бинтуя правую руку. — Сейчас — в постель!

Но шофер вырвал руки и сделал шаг к выходу. Лицо его снова стало злым.

— Сказал, что не пойду никуда, товарищ воендоктор. — Он схватил забинтованной рукой полшубок, лежавший на топчане. — У меня там груз продовольственный. Для Ленинграда!

— Ты у меня поагитируешь! — закричал врач.

Я смотрел на него с удивлением. В начале знакомства он показался мне спокойным и уравновешанным человеком. Было странно, что он двух слов не мог сказать спокойно.

— За бинты спасибо, — сказал шофер. — А только я пойду! — в его голосе было столько решимости, что, попробуй мы его задержать, он полез бы в драку.

— Где тут еще палатки есть? — спросил шофер, надевая полшубок. — Пойду людей собирать...

— Где твоя машина? — спросил врач.

— Да вот, недалече, метров пятьдесят от вас.

Врач сорвал свой полшубок с крика.

— Одевайся, Смирнов! — приказал он. Я стал тоже натягивать полшубок.

Один за другим мы вышли из палатки. У меня тут же захватило дыхание. Мне показалось, что ветер стал дуть еще сильнее. Казалось, что он пронизывает насквозь, а острые иголки снега вбиваются в тело. С первых же шагов я залез в какой-то сугроб и зачерпнул полные валенки снега.

— Левее держите! — крикнул врач из темноты.

Я повернул на его голос. Итти было очень трудно. Приходилось преодолевать сплошную стену из ветра и снега. Я не мог себе представить, как можно ехать в такую погоду на машине.

Шофер шел где-то впереди и время от времени окликал нас.

— Идем, идем,—ворчал врач,—чтоб тебе пусто было!

Мы шли очень долго. Мне показалось, что тут не пятьдесят метров, а целый километр. Очевидно, это так и было: у шоферов своя манера определять расстояние.

Наконец мы пришли к машине. Полуторка стояла, увязнув передними колесами в сугробе. — Федюшов, вылезь! — весело крикнул шофер. — Подмога пришла.

В ответ я услышал голос откуда-то сверху: — Ого-го! — Потом спрыгнул человек. — Теперь нас пятеро, — сказал шофер, — шужто не сдвинем?

— Подкопать надо малость, — предложил Федюшов. Он вытянул откуда-то из темноты две лопаты и сунул одну мне.

Мы подошли к передним колесам и стали освобождать их от снега. Моя лопата была маленькой и неудобной, вроде игрушечной.

— Попробую мотор разогреть, — услышал я из темноты голос шофера.

Я работал без устали. Мне стало до того жарко, что я снял полушубок. Я уже не чувствовал, как снежные иглы вонзаются в лицо.

— Идет дело! — услышал я голос фельдшера; он отканивал другое колесо.

— Не берет стартер! — крикнул шофер. — Крутануть надо!

— Давай ручку, — услышал я голос врача. Потом я услышал рыжьи от заводной ручки и отчаянную ругань. — Да она у тебя промерзла вся! — кричал врач.

— Еще раз крутаните, — умоляюще отвечал шофер, — ну еще разок, товарищ военврач...

Затем я услышал ровное тараканье мотора.

Теперь оставалось главное: вытолкнуть машину на трассу!

Мы остервенело толкали машину, но она не двигалась. Я чувствовал, что с меня катится пот. Я ощущал его липкие струйки под рубашкой. Мы толкали машину и под команду и вразброд, но она будто примерзла ко льду.

— К чертям! — закричал врач, подходя к кабине. — Иди ложись в постель, а у машины поставим часового. Так до утра без толку пробьемся. — Шофер выскочил из кабины.

— Да нет же, товарищ военврач, — сказал он, и мне послышались слезы в его голосе. — Сдвинем мы ее, честное слово, сдвинем! Вот погодите, я под колеса постелю. — Он быстро снял полушубок и повалил его под правое колесо. — Ну, еще разок двинем!

Снова хлопнула дверца кабины и затарахтел мотор. Мы снова стали толкать машину. Мне казалось, что мы упираемся в борт с такой силой, что ноги проломают лед. Внезапно я почувствовал, как борт машины медленно уходит из-под наших рук.

— Пошла! — закричали все. — Пошла!

Машина двигалась. Мы шли за ней, подпирая борт руками. Так мы выкатили машину на трассу.

— Ну, спасибо вам! — крикнул из кабины шофер. — Я уже не вылезу, боюсь, мотор сдаст. Спасибо вам! — Он дал газ, мотор затарахтел сильнее, и машина, гресмя целями, провалилась в темноту.

— Стой, стой! — неистово закричал врач. — Полушубок оставил, дурья башка!

Он схватил лежащий на снегу полушубок и побегал в темноту.

— Как приедешь — в госпиталь, немедленно! — услышал я его голос. Затем затрели цепи.

Он вернулся. — Ну, пошли, — сказал он усталым, упавшим голосом.

Мы шли молча. Обратный путь мне показался более коротким.

В палатке было очень холодно. Печка погасла. Каша в тарелках затвердела тонкой ледяной коркой.

Врач устало опустился на топчанин.

— Это преступление, что я его отпустил, — сказал он. — Каждую ночь я совершаю такое преступление и говорю себе: это в последний раз. И опять то же самое. Я кричу и ругаюсь — не помогает. Печенка тут делать медведю! — выкрикнул он злобно. — Смирнов! Растопить печку!

Смирнов кубарем скатился с топчана, на который только что забрался. Видно, он знал характер своего начальника.

— Агитирует меня, сукин сын! — бормотал врач в бороду. — Ленинградский врач! Агитатор!.. — Потом он повернулся ко мне. — А вот если этого гаврика посадить на тот самолет, а того летчика на полуторку. Что будет?

Я молчал.

— То же самое будет, вот что! Все она тамне! — врач взял тарелку с кашей и раздавил ложкой ледяную корку. — Сейчас будем разогревать кашу, — спокойно сказал он.

Я посмотрел на часы. Было четыре часа утра. Я предложил просто лечь спать.

— Мы будем есть кашу, — повторил врач. Он лег на спину, раскинув руки, свесив ноги вниз.

— Дурацкая профессия: медик на льду, — сказал он. — Приходится больше ругаться и толкать машины, чем лечить.

— Никто вас не заставляет толкать машины, — возразил я. — Этот шофер вас и не просил толкать машину.

— Вас он тоже не просил, — сказал врач. Ей ему уже вернулось его благодушно-произическое настроение. — Верно? Теперь вспомните, что вы здесь только несколько часов, а я уже два месяца.

Смирнов раздувал печку. Маленький огонек уже облизывал обуглившиеся поленья.

— Кашу будете есть, Смирнов? — спросил врач. — Нет? Тогда ложись.

Я подошел к печке на место фельдшера. Поленья весело потрескивали, печь нагревалась быстро.

— Вы какой-то странный корреспондент, — лениво сказал врач. — Сидите и молчите. Почему вы не просите показать вам лучших людей, ордетносцев и медаленосцев? Что вы устали, что ли? Или может быть больны? Тогда мы вас вылечим...

Я ответил, что здоров.

— Врете вы все, — сказал врач. — Я знаю, зачем вы приехали. Вам Лиду надо было. Так ведь?

Я вздрогнул и выпрямился. Это было слишком прослезиванию.

— Вы ошибаетесь, — пробормотал я, приходя в себя. — Я, конечно, хотел бы ее увидеть. Мы не виделись очень давно. Но я и написать что-нибудь хотел бы... — Я чуть не сказал «пару очерков».

Он подошел ко мне, опустил руки на мои плечи и посмотрел прямо в глаза.

— Так вот, — сказал он, — она служила здесь у меня фельдшерницей... Она пришла добровольно, — не знаю, известно ли вам об этом. Когда она пришла, трассу только еще прокладывали. Лед был еще толкий, «дышал», когда по нему ходили. Эта женщина мне нравилась, она чем-то напоминала мою жену. — Он говорил сухо и бесстрастно, буд-то диктовал историю болезни. — Мы жили втроем: я, Смирнов и она. Спали вот на этих нарах, все вместе. Она работала хорошо: из нее вышел бы отличный врач. Только вы знаете, каково медикам на льду. Приходилось делать все. И она делала все. Она была упрямая! Лезла всегда, куда не надо. Один раз попала в прорубь. Я думал, что схватит воспаление легких, но ничего, обошлось. В самом начале она ходила с изыскательскими партиями. Теперь, когда все более или менее пришло в норму, она захотела перейти в армию. Я не мог ее отговорить. Вы сможете узнать о ней в санупре. Мне очень не хотелось расставаться. В ней было много теплоты. — Он снял руки с моих плеч, от-

вернулся и опустился у печки. — Есть вопросы? — спросил он.

У меня не было вопросов. Мы сидели, не глядя друг на друга. Он говорил о ней так, как никто не говорил. Дело было даже не в словах, дело было в голосе, которым эти слова произносились.

— Могу добавить еще, — сказал врач. — Она мне многое говорила, но о мисте и умалчивала. Я знал, что она кого-то ждет. Этого она мне, правда, не говорила, но я догадывался. Она знала, что было бы жестоко говорить мне об этом потому, что я никого не жду. На льду надо быть снисходительными друг к другу. — Он усмехнулся. — Когда вы спросили о ней, я понял, что вы тот самый...

Я сидел, слушал и старался не пропустить ни одного слова.

— Сколько времени она пробыла здесь?

— Месяц.

— Она жила здесь?

— Да. Я уже сказал. Спала на этих нарах.

— Как ее здоровье?

— Ничего. Для ленинградки — ничего.

— Почему она не осталась здесь?

— Я же вам сказал. — Я почувствовал, как врач волнуется. — Когда все пришло в норму, она захотела перейти в действующую часть.

— У нее не было других причин? — жестко спросил я.

— Вы хотите спросить, не приходилось ли ей... избегать меня?

— Да, — сказал я.

Врач встал.

— А по какому праву вы меня об этом спрашиваете? — тихо спросил он. — Вы не видели ее с начала войны. Вы не были с ней, когда у нее умерли мать и ребенок. Я тоже, правда, не был, но мы, месяц пробыли в этой палатке, на тонком льду. Я растирал ее, когда она провалилась в прорубь. Я готовил ей кашу. Я...

Он замолчал. Молчал и я.

Так бывает. Ты сидишь в комнате и долго беседуешь с человеком. Тебе кажется, что ты его уже давно знаешь, и ты привык ко всему: к окружающим вещам, к свету и к тому, как звучит в этой комнате его голос. Но вот произнесено одно какое-то слово, и все обаяние пропадает: выступают острые углы у вещей, свет режет глаза, и тебе кажется, что ты на вокзале и поезд вот-вот отойдет...

— Что же вы молчите? Злитесь? — внезапно спросил врач своим прежним проницательски-благодушным тоном.

— Нет,— ответил я.— Во всяком случае вы здесь ни при чем.

— Гордость? — сказал он и пожал плечами.— Ведь вы житель Большой земли...

«Маршанин»,— вспомнил я хриплый жонглирующий голос.

— Я могу вам рассказать...— начал врач.

— Не надо!— крикнул я. Внезапно все показалось мне каким-то новым. Во всякое другое время я стремился бы поставить все точки над «и». Сейчас это мне не казалось уже важным.

Я подошел к нему почти вплотную.

— У вас была жена? — спросил я жестко, как следователь.— Вы сказали, что Лида напоминала вам жену.— Мне показалось, что он испугался чего-то на секунду, но тут же взял себя в руки.

— Ну, вот, теперь говорит корреспондент...— пошутил он.

— Перестаньте шутить! — сказал я.— Скажите лучше мне все, что у вас здесь,— я дотронулся до его груди.— Вы обязаны мне рассказать. Ну? У вас была жена? Она погибла? От голода? От бомбежки? Бросила вас?

— Нет. Она тоже была врачом и работала в партизанском отряде. Ее убили немцы,— сказал каким-то чужим голосом врач.— Так много горя сейчас, что если кто-нибудь находит счастье, он обязан им поделиться...

Мне захотелось плакать. Я подошел к врачу и протянул ему руку.

— Я рад, что мы встретились,— сказал я.

— Это правда? — спросил он и посмотрел мне в глаза. И только сейчас я заметил, что он совсем не молод: на его лице внезапно резко обозначилась каждая морщинка.

— Разве можно сейчас говорить неправду? — воскликнул я.

Он схватил мою руку и придвинулся к печке.

— Ну... ну вот... каша пригорела,— сказал он.

Мы начали есть кашу.

★

...В ту ночь мы так и не легли спать. Было уже утро, когда я вылез из палатки, чтобы очистить снегом тарелки. Буря утих, и воздух был прозрачен. Всюду, насколько хватывал взгляд, лежала ровная и спокойная белая поверхность.

Все кругом было бело. Но снег еще не резал глаза, потому что солнце еще не взошло. По трассе, громыхая цепями, уже неслись машины. Они шли в одиночку и цепями колоннами.

Я вернулся в палатку. Смирнов все еще спал, а врач сидел на корточках перед печью и смотрел на огонь.

— Ну, все в порядке,— сказал я, ставя тарелки на полку.— Я, пожалуй, поеду.

— Да, вам пора ехать... Обещайте мне,— тихо сказал он,— что вы вспомните обо мне, когда будете вдвоем.

Мне показалось, что он с трудом ворочает языком. Я повернулся к нему.

— Да,— сказал я,— обещаю вам.— Он протянул мне руку. Я молча пожал ее.

Я вышел из палатки и пошел к трассе.

★

Как только я приехал в Ленинград, я зашел в редакцию фронтовой газеты, написал корреспонденцию о Ладожской трассе и отнес ее на телеграф. Теперь я был свободен. Самуил помещался в другом конце города, и был уже день, когда я добрался туда.

В маленькой комнатке отдела кадров сидела девушка — младший лейтенант. Я назвал фамилию Лиды и попросил навести справку, приходила ли она за назначением.

Я ожидал, что девушка будет долго копаться в бумагах, но она ответила тотчас же, взглянув в лежащую на столе папку.

— Да, была,— сказала девушка.— И бумаги получила. Назначена в N-скую армию. Я поблагодарил и вышел на улицу.

Светило солнце. Вылепленные из снега купола сверкали тысящей искр. У меня было радостно на душе. Я знал, что, наконец, нашел ее. Теперь это было вопросом дней, даже часов. Я стоял на огромной, занесенной снегом площади. Серью гранитные здания обкружали меня. Вот там раньше стоял «Медведь всадник». — «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?..» Сейчас всадника не было видно. Он был укрыт от снарядов.

Все вокруг уже не казалось мне чужим. Я и прежде чувствовал, что нахожусь в крепости, но я знал теперь, чем она живет, и тех, кто в ней живет. Спокойно стучал метроном — сердце города...

Я знал, где расположена армия, куда Лида получила назначение. Я решил ехать и на месте ждать ее приезда. Здесь мы опять могли бы разминуться. Туда же она обязательно придет не сегодня, так завтра.

Я отправился на финляндский вокзал. Площадь была пустыня. Знаменитого памятника — Ленин на броневике — не было.

Зал ожидания был переполнен военными. Билетов никто не брал, да и кассы, кажется, не работали. Скоро все устремилось на перрон: подали состав.

Я влез в холодный, дачного типа, вагон и внезапно почувствовал, что смертельно хочу спать... Я проснулся от толчка. Было

темно. Кто-то тормозил меня за локоть и говорил:

— Все, все! Приехали, дальше некуда.

Я встал, все еще в полусне. Не помню, чтобы когда-нибудь мне так хотелось спать. Я вышел из вагона и очутился на маленькой дачной станции. В полумраке я разглядел кокетливый киоск и платформу. Киоск был забит, как бы перечеркнут двумя досками крест-накрест. Я увидел протоптанную тропинку, уходящую в лес. По тропинке юшло большинство сошедших с поезда военных. Я пошел за ними...

Вскоре я заметил, что иду по просеке один. Люди, шедшие впереди и позади меня, разошлись по боковым тропинкам.

Я угадывал блиндажи и срубы среди запорошенных снегом елей и свернул на первую уходящую в лес тропинку и постучал в первый встретившийся мне блиндаж. Там помещался комедантский взвод. Я стал расспрашивать, как пройти в санотдел, и мне дали связного.

Мы долго шли по лесным тропинкам. Наконец связной привел меня в блиндаже к начальнику санотдела. Я отворил дверь и вошел.

Прямо напротив входа, за столиком, сидел седоватый человек.

★

Через полчаса мы пили чай, и я рассказывал начальнику санотдела Николаю Федоровичу Корнышеву, что привело меня к нему.

— Так, — сказал Корнышев, когда я кончил рассказ, — она, очевидно, завтра появится. Тогда повидаетесь. Вы можете ночить у меня или поехать в город на два или три дня...

Мне казалось, что после всех страданий я просто не переживу такого счастья. По доброму лицу Корнышева я видел, что и он не меньше, чем я, счастлив, что может оказать эту услугу.

— Я думаю, вам лучше остаться у меня, — сказал он, — здесь лес, прекрасный, хвойный... Побродите здесь, а там и она придет... Рад буду познакомиться.

У меня слезались глаза. Запах хвои опьянял меня. Я уже дремал, когда услышал голос Корнышева: — Располагайтесь вот на этом топчане. Мой заместитель в командировке...

Я улетаю на топчан.

В блиндаже было тепло и замечательно пахло хвоей. Уже засыпая, я почувствовал, что Корнышев укрывает меня полупушком.

...Я хорошо помню все дни, проведенные

в Ленинграде. По эти дни выжжены в моей памяти. Я помню все, до мельчайших подробностей. Я думаю, что пройдет год, два и десять лет, и все будет казаться мне таким же, как тогда, в январе.

В тот день я встал рано. Корнышева уже не было, но на столе лежала записка, написанная аккуратным, совсем не «докторским» почерком: «Вставайте, умойтесь, завтрак вам принесет связной, погуляйте по лесу. Я зайду около двенадцати. Корнышев».

«Есть же хорошие люди на свете!» — подумал я и сделал все, как говорилось в записке.

Затем связной принес охапку дров и хотел растопить печку, но я сказал, что сделаю это сам.

Я очень люблю растапливать печь и с детства люблю смотреть на огонь. На войне зимой возможность растопить печь и посидеть у огня, конечно, роскошь, и я умел ценить ее. Я сидел на корточках и не спеша обдирал поленья. Время от времени я поглядывал на дверь и ждал, что она раскроется, но потом вспомнил, что поезд приходит только вечером и что раньше 8 часов ее ждать нельзя. Внезапно я передумал, бросил печку и пошел побродить. Было яркое, солнечное, очень тихое утро. Неподвижные ели обступали меня со всех сторон, и только изредка с верхушек сыпался снег: должно быть, птица садилась на ветки или прыгала белка.

Меня поражало величавое спокойствие царившее здесь; просто не верилось, что я на фронте. Я был рад, что встречу ее в такой тишине.

Я шел все глубже и глубже в лес по узенькой тропинке и незаметно дошел до обрыва.

Было тепло, и я расстегнул полупушок. Вдали, на той стороне обрыва лес спускался уступами, и казалось, что земля там покрыта не снегом, а выскокой зеленой травой. Небо было голубым и очень глубоким, каким бывает летом или ранним весенним утром.

Я сидел на поваленной елке, не думая ни о чем. И память и сознание мое были чистыми, лишеными всяких замет, как этот ровный, белый снег.

...Но если я начинал думать, то думал о Лиде. В моем сознании жили две Лиды, — одна привычная, такая родная и близкая, когда знаешь все наперед и забываешь, что ты и она не одно и то же, а другая, знакомая по рассказам, стоящая за спиной Ирины Вахрушевой, так много пережившая и понявшая, строгая, как весь этот город.

И думая о ней, я тут же подумал о себе и о том, поймет ли она меня теперь и не «окажусь ли я для нее «маршмарином»?

Но мысли эти шли от разума, а не от сердца. Я знал, что час, проведенный вместе, сотрет отчужденность, и если я что-нибудь не пойму, то она научит меня.

Я лежал на еловых ветках и вспоминал о тех, кто был позади меня. Я вспомнил мечтателя Козочкина, суровую Ирину и врача, толкающего машины во вьюжные ночи... Кто поделится с ними своим счастьем?

Я чувствовал, что никогда еще любовь не глядела на души людей так, как в это жестокое время.

Я лежал на еловых ветках и вдыхал пьянящий запах хвои. Я никогда раньше не думал, что хвоя может так пахнуть. Это был особый, проникновенный во все поры запах.

Я посмотрел на часы. Быкло всего лишь 11 часов утра. Я знал, что поезд приходит вечером... А вдруг она придет на попутной машине? Ведь из сапура, наверное, ходят сюда машины? Она может приехать, а меня нет, и из санотдела ее тут же направят в дивизию. Я подумал об этом и чуть не рассмеялся. До чего глупым делает любовь! Но я все-таки встал и пошел на дорогу. Я внушал себе, что иду просто так, прогуляться...

Как хорошо было бы сейчас встретить ее! ...Идет себе с солдатским мешком за плечами. Ей тяжело, бедной, тащить мешок. Она увидит меня и вскрикнет, наверное. Остановится или побежит ко мне? Ведь для нее эта встреча будет чудом, настоящим чудом...

Я шел по дороге и всматривался вдаль. Никто не шел мне навстречу. Я дошел до станции и повернул обратно...

Корнышева еще не было, когда я вернулся в блиндаж. Я принялся растапливать печку. Потом я подошел к полке, на которой лежала куча книг. «Интересно, что читает доктор?» — я стал перебирать книги. Сверху лежало несколько книг по терапии, «Письма Маяковского», «Анна Каренина» и «Записки врача» Вересаева. «Страшные бывают встречи на книжной полке», — подумал я.

Снаружи захрустел снег, и вошел Корнышев.

— Ну-с, предписание выполнили? — добродушно спросил он. У него были розовые щеки и блестящие глаза. — Гостью, полагаю, раньше вечера ждать напрасно?

Я кивнул головой.

— Ну и отлично, — сказал Корнышев. — Назначения те же: гуляйте, мечтайте! А я побежал. Обедать будем вместе.

Он ушел.

Я сидел у печки и смотрел на огонь. Потом внезапно в блиндаже стало нестерпимо жарко, и я опять ушел в лес.

Солнце светило попрежнему, елки были высоки и величественны, снег был таким же ослепительно белым, но мне вдруг мучительно захотелось вернуться туда, на ленинградские улицы. Когда я жил в Ленинграде, мне казалось, что я буду счастлив убежать от этих занесенных сугробами улиц и обледенелых изразцовых домов. Мне казалось, что я буду счастлив, очутившись в тишине, где не стреляют зенитки, не свистят снаряды и не стучит метроном.

По оказалось, что я ошибся. Я уже не замечал вокруг себя всего того, чем так восхищался утром. Я не был суеверным, но мне пришло в голову, что буду наказан за то, что хотел встретиться с ней не в Ленинграде, а убежал на этот тихий островок... Я вернулся в блиндаж и начал снова растапливать печь.

Корнышев пришел в шестом часу. Он был еще более розовощек, и глаза его блестели совсем по-молодому. Следом за ним вошел связной с тарелками и котелком.

— Ну, как вам у нас понравилось? — спросил Корнышев. — Благоприятный край! Раньше ведь тут сплошь курортные места были. После Интера-то, наверное, раем кажется?..

Я не хотел обижать его и сказал, что здесь действительно замечательно.

— Ну вот, то-то же! — Корнышев вынул часы и хитро улыбнулся. — Пожалуй, уже скоро, а?

Да, уже скоро. Я с трудом сл. С каждой минутой напряжение мое возрастало. Мне казалось, что, если она будет идти сюда, я почувствую ее шаги еще на дороге.

После обеда Корнышев лег спать.

— Надеюсь, проспавшись застать вас обоих вместе, — сказал он, засыпая.

Я вышел из блиндажа и сел на бревно. Иногда по дороге между елками мелькал полусубок, и я вставал и делал несколько шагов вперед. Потом я медленно возвращался обратно. Я уже не прятал часы в гамбургскую, а держал их в кармане полусубока наготове. До ее прихода оставался час... Если считать секунды, время пройдет незаметно. Я стал считать. Но, досчитав до 500, посмотрел на часы и увидел, что считаю гораздо быстрее, чем проходят секунды...

Стало уже темно. Потом я услышал шум поезда, подошедшего к станции... Вот он остановился. Сейчас она выходит из вагона. Осматривается. Она не знает, куда идти. К

тому же темно. Она спросит. Наверное, сейчас она спрашивает. Может быть, побежать на станцию? Нет, надо сидеть здесь, ее могут провести одной из боковых тропинок. Вот она приближается сюда... Я уже кладу часы в карман. Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать. Ее нет. Ее могло что-нибудь задержать по дороге. Она могла сбиться с пути... Ведь темно... тридцать минут. Сорок. Ее нет...

Я выбежал на дорогу. Мне никто не встретился. В темноте я дошел до станции и вернулся в блиндаж. Печка погасла... Слегка похрапывал Корнышев... Она не приехала...

Я резко захлопнул дверь, и Корнышев проснулся.

— Вы не один? — вежливо спросил он.

— Она не приехала, — тихо ответил я.

— Да ну? — протянул Корнышев.

Связной принес лампу и зажег ее.

— Вот досада-то! — сказал Корнышев с искренним огорчением. — Значит, в санузре задержали. Что-нибудь с оформлением. Ведь вам точно сказали, что она в нашу армию назначена?

— Николай Федорович, — сказал я, — как мне побастать в Ленинград?

— В Ленинград? Сейчас? Но поезд пойдет только в десять утра. Да и что вам делать почью в Ленинграде? Подождите до завтра. С вечерним поездом она наверное приедет.

— Нет, нет! — вырвалось у меня. Даже мысль о том, чтобы остаться здесь еще сутки, казалась мне невыносимой.

Корнышев внимательно посмотрел на меня.

— Если уж обязательно хотите ехать, придется потерпеть до утра. — И он подошел ближе ко мне. — Возьмите себя в руки. Я вот уйду, а вы почитайте что-нибудь. Вот хотя бы «Записки врача». Книга отличная, читали, конечно? — Он взял с полки книгу и протянул мне. Я взял ее.

— Ну, до вечера, — сказал ласково Корнышев и вышел.

Я перелистал книжку и отложил ее к стороне. Наступило полное бездумье. Мне физически было больно думать о чем-нибудь. Я не помню, сколько времени просидел так. Из оцепенения меня вывел голос Корнышева.

Николай Федорович стоял в дверях и говорил: — Скорее, скорее, сейчас машина идет в Ленинград! Идемте я вас провожу.

Я вскочил и схватил полушубок. Мы прошли по тропке, и я увидел темное очертание полуторки. Я залез в кузов.

— Ну, прощайте, — сказал Корнышев, тепло пожимая мне руку.

— До свидания, — ответил я, — сердечное вам спасибо. — Затем мы поехали.

Была ночь, когда мы въехали в Ленинград, но на улицах было светло. Вошла луна. И странное дело, — как только я увидел серый ленинградский гранит, услышал мерный стук метронома, мне стало спокойнее на душе.

Я вылез из машины на площади Урицкого и через десять минут поднимался по лестнице «Астории». Навстречу мне с копилкой в руках шел Ольшанский.

— Где это вы пропадаете, слыхор? — спросил Мефистофель.

Я ответил, что ездил в часть, и уже прошел мимо, когда Ольшанский сказал:

— А тогда, в машине, девушка одна вами интересовалась.

Я обернулся к Ольшанскому. Он стоял, прикрывая огонь ладонью, и хитро улыбался.

— И, правда, особенно не открывничал насчет вас, — продолжал он. — Кто вас знает, заинтересованы вы в встрече или нет?..

Я схватил его за полушубок.

— Ольшанский! — закричал я. — К чорту эту болтовню! Где она? Что с ней?

Он испуганно посмотрел на меня.

— Она очень просила ваш адрес. Я уж думал, не наглупил ли, что ушмянул вашу фамилию? Вы извините... но... кажется, она с утра сидит в вашем номере...

Я стоял на лестнице, прилепившись к перилам. Ольшанский что-то говорил, но я уже ничего не слышал. У меня стучало в висках и пересохло во рту. Мне казалось, что если я оторвусь от перил и сделаю шаг, то упаду тут же.

Я тысячу раз рисовал себе нашу встречу, но никогда не думал, что потрясение будет так велико.

Потом я стал медленно подниматься по лестнице. Откуда-то проник свет, и я не сразу понял, что это Ольшанский с копилкой провожает меня. У моей комнаты я остановился, чтобы перевести дыхание. Потом я тихонько толкнул дверь...

Лида сидела на подоконнике, влолборота к двери, и смотрела в окно. Луна светила так ярко, что в комнате было светло, как в белые ночи.

— Лида!.. — сказал я шепотом. — Лида!.. Она соскочила с подоконника и стояла, прижавшись спиной к стеклу.

— Ты?! — сказала она. — Наконец-то!..

★

...Я рассказывал ей о своих поисках, но она внезапно прервала меня: — Какой ты смешной в военной форме, — сказала она. —

Просто на себя не полож! Надо подложить плечи у гимнастерки. Я завтра что-нибудь придумаю.

Мы стояли друг против друга у окна, и лунный свет падал на ее лицо. Она казалась мне маленькой и хрупкой, и было видно каждую морщинку на ее лице.

За окном, на покрытой снегом площади, высился Исаакий.

— Помнишь, как мы любили смотреть из окна на собор? — спросил я.

— Да. В белые ночи.

— Сейчас совсем, как в белую ночь. Даже окно не замерзло.

Мы стояли у окна и смотрели на площадь. Потом я обнял ее и поцеловал. Мне не верилось, что я держу ее в руках. Мне хотелось стоять так всегда и не разжимать рук. Она смотрела мне прямо в глаза, и я смотрел в ее глаза. Это и было счастье. Потом мы сели на диван. Мы говорили о чем-то совсем не важном: мы привыкли друг к другу.

— Ты была у Припы? — спросил я.

— Нет. Я весь день прождала тебя в номере. Как я благодарна этому долговязому корреспонденту. Ведь это он сказал мне о тебе. Но, бог мой, как он перетрусил, когда я сказала, чтобы он немедленно повел меня в твою комнату! — она рассмеялась. У нее был глухой и немного печальный смех.

Я снова поцеловал ее. У нее были холодные губы.

— Тебе холодно? — спросил я. Потом я снял с нее валенки и закутал ноги одеялом. — Здесь очень холодно, — сказал я.

— Мне не холодно, — ответила она и закрыла глаза. — И знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что я плыву в теплой реке и попала в водоворот, такой медленный, и он так приятно кружит меня, и все ясно, и дальше не надо плыть.

— Ты устала, дорогая? — спросил я.

Она открыла глаза. — Нет. — Она улыбнулась. — Отчего мне устать, когда я весь день сижу и жду тебя?

— Голодная?

— Нет, почему же. Я получила писк па два дня.

— Подумать только, — сказал я, — как много надо мне у тебя узнать. Ты столько пережила!..

— Не сегодня, милый. Поговорим завтра. Сегодня пусть будет так, будто мы никогда не расставались.

— Хорошо, — сказал я. — Это не трудно. Ведь на самом деле мы никогда не расставались... — Я обнял ее колени и положил на них голову. Я был счастлив, но думал о

другом, безмерном счастье. Мне хотелось, чтобы эта наша разлука была последней и чтобы мы никогда больше не расставались. С этой женщиной я чувствовал себя готовым на любой труд и любой подвиг. Раньше она была моим сердцем, моей любовью. Сейчас она стала неточником моего мужества.

— О чем думаешь, милый? — спросила она.

— О том, какое было бы счастье больше не расставаться.

— Это же невозможно! После завтра я должна ехать в часть. Два дня я выспросила в санупре. День уже прошел.

— Ты получишь еще три, — ответил я и рассказал о встрече с Корнышевым.

— Целые три дня?! — она внезапно захлопала в ладоши, как ребенок, — целых три дня вместе?

Я стал целовать ее холодные пальцы.

— Я постараюсь приехать к тебе в часть, — сказал я, — очевидно, я еще некоторое время пробуду в Ленинграде.

— Ты был у меня, за Парвской?

— Был. Дом почти разрушен. Я с трудом отыскал твою комнату. У окна, где мы с тобой пили чай, сидит артиллерийский наблюдатель Мухтар Тажибаев. Я тебе как-нибудь расскажу о нем.

— Ты, наверное, решил, что я пропала. Трудно было меня отыскивать?

— Сейчас кажется, что не трудно. Сейчас мне кажется, что я отыскал бы тебя где угодно.

Она нагнулась и поцеловала меня в затылок.

— Как ты думаешь, — сказала она, — когда кончится война?

— Не знаю. Думаю, что через год. Или полтора.

— Какой это будет чудный день!.. Просто не верится. Что ты будешь делать в первый день после войны?

— Поеду в Ленинград.

— Ты же живешь в Москве?

— Мы будем жить в Ленинграде. Я думаю, что теперь нигде не смогу жить, кроме Ленинграда.

Мы молчали. Потом она рассмеялась.

— Что ты смеешься?

— Нет, просто так. Я вспомнила какой растерянный вид был у твоего корреспондента. Как его фамилия?

— Ольшанский.

— Ей-богу, он почему-то не хотел допустить мысли, что я — твоя жена.

— Дурак!

— Но ведь он прав. Я ведь и правда не твоя жена.

— Ты мне больше, чем жена.

— И ты мне больше, чем муж. Поэтому мне и смешно.

Она положила руку мне на лоб. Рука была попрежнему холодной.

— Тебе все-таки холодно, Лидуша,— сказал я.— Ложись в постель. Раздевайся и ложись.

Я встал и отошел к окну. Когда я обернулся, она сидела попрежнему, обхватив колени руками.

— Я... я не хочу спать,— сказала она тихо.— Лучше посидим вдвоем.

Она смотрела на меня, и я заметил поцупт в ее глазах. Потом она резко встала и стала расстегивать пуговицы на гимнастерке.

Потом она подошла ко мне.

— Ты был... на Ладоге? — тихо спросила она.

— Да,— твердо ответил я.— Я был в палатке, где ты жила. Я разговаривал с ним.

Мы молчали. Потом она спросила:

— Ты... ни о чем не хочешь спросить меня?

— Нет,— уверенно сказал я и поцеловал ее. Я увидел слезы на ее ресницах и вытер их губами.

...Было тихо и светло, как в белую ночь. Мы лежали в постели. Потом я услышал звуки рояля. Лида тоже услышала их.

— Что это? — спросила она.— Рояль?

— Да,— сказал я.— Это Чайковский. Старик один играет. Музыкант. Я услышал его в первую ночь, когда приехал.

— Я уже не помню, когда слышала музыку... Какие торжественные звуки!

— Мне они казались страшными. А теперь кажутся радостными...

— И мне тоже. Интересно, который теперь час?

— Не знаю. Мне вообще кажется, что времени нет.

— И мне тоже. Теперь мне хочется спать, но я боюсь.

— Бояться?

— Да, я боюсь, что усну и перестану чувствовать счастье.

Я обнял ее

— Спи, Лидуша,— сказал я.— Спи и не бойся. Ничего не бойся, когда мы вместе.

— Я хочу ничего не бояться. И все же немного страшно.

— По чего же?

— Слишком много счастья... Почему мы получили его раньше других? Кругом столько горя...

— Мы ничего не отнимаем у других.

Спи, Лидуша! Не будем сейчас думать об этом. Спи, родная, спокойной ночи.

Через несколько минут она заснула.

★

Меня разбудил стук в дверь. Я соскочил с постели. За дверью стоял боец и протягивал мне записку.

Я прочел. Секретарь редакции фронтовой газеты сообщил мне, что через полтора часа мой редактор вызывает меня к проводу.

— Кто это? — спросила Лида, когда я подошел к постели. Я посмотрел на нее, и мне показалось, что многих морщинам на ее лице уже нет. Я сказал ей о записке.

— Это далеко? — спросила она.

— Час ходьбы. Мы сделаем вот что. Я пойду на телеграф, а ты в санузел. Оттуда ты по телефону вызовешь Корнышева, и он даст тебе отпуск на три дня. Как только ты освободишься, ты вернешься сюда. А вечером... на вечер у меня есть сюрприз. Только это пока секрет. Хорошо?

...Когда я уходил, она еще лежала в постели.

Мне показалось, что я быстро дошел до телеграфа. Но все же я опоздал.

— Вас уже вызывали,— сказал дежурный и принес мне ленту. Я прочел:

«Выезжайте немедленно обратно».

Сначала у меня словно оборвалось что-то внутри. Потом я стал думать, как счастье все же получилось: ведь телеграмма могла прийти и неделю и два дня, и наконец день тому назад, и я должен был бы уехать, не отыскав Лиду. Теперь я нашел ее, и на душе все же было радостно.

Мой «сюрприз» Лиде заключался в том, чтобы получить на три дня сухой паек, пригласить Прину, Козочкина и Мефистофеля и устроить вечером ужин.

Я был так счастлив, что мне хотелось, чтобы весь Ленинград знал о нашем счастье. Мне казалось, что чем больше людей будет радоваться вместе с нами, тем сильнее будем мы чувствовать наше счастье.

Теперь все это рушилось: вечером я должен был уехать из Ленинграда.

Я шел по городу и думал, что мне тяжело будет расстаться с ним. Я ощущал его теперь как живое существо...

Я смотрел на израненные стены его домов и думал о том, как радостно будет потом жить в этом городе и видеть, как обновляются его дома, и бродить по этим улицам и вспоминать все, что было...

Лида стояла у окна, на том же месте, где я застал ее вчера.

— Как ты долго! — сказала она, иди мне навстречу.

— Я получил телеграмму с вызовом, — сообщил я ей, чтобы разом покончить с этим.

— Да? — тихо сказала она, и голос ее дрогнул. — Я знала, что это не может быть долгим... наше счастье... слишком раннее счастье...

Я ничего не ответил.

— Когда ты едешь? — спросила Лида.

— Сегодня вечером.

— Уже? — она помолчала и добавила, слегка улыбувшись: — Я говорю так, будто бы война только что началась и ты уезжаешь, а я остаюсь дома. Мне ведь тоже надо ехать сегодня.

— Не будем пока говорить об отъезде, — сказал я. — Посидим немного.

Я чувствовал ладонь локоть в своей руке и знал, что невозможно отнять ее у меня. Я всегда любил ее так, как никого в жизни. Но только теперь я понял, что моя любовь к ней нечто большее, чем просто любовь.

Есть чувства, не подверженные ни сомнениям, ни колебаниям. Они рождаются тогда, когда человек остается наедине со своей совестью. Они выкристаллизовываются из великих страданий и великой стойкости...

— Это очень странно, — сказал я, — вот, когда я шел сюда с телеграфа, уже зная, что вечером мы расстанемся, — мне казалось, что так о многом надо нам поговорить... А вот пришел, сел, и ни о чем говорить не хочется... хочется сидеть рядом, и все... Но я скажу, все-таки... Вот ты говоришь — раннее счастье. Конечно, не расставаться было бы высшим счастьем. Но есть и другое, не меньшее...

— Какое? — спросила она.

— Мне трудно выразить это. Счастье высшей любви. Любви, данной страданиям. Любви, захватившей не какую-то часть души, а всего человека. Ты понимаешь, бывает так: человек живет всесторонне, и любовь захватывает лишь какую-то часть его существования. А у нас иначе. Мы стремились друг к другу не просто... Ведь если бы завтра Ленинград победил и с блокадой было бы покончено, мы без труда нашли бы друг друга. И еще — если хотя бы один из нас не научился понимать Ленинград, не стал бы ленинградцем, то, встретившись, мы оказались бы чужими друг другу... Вот почему мы не можем изменить друг другу, пока верим в Ленинград. Это все очень труд-

но выразить, но я знаю, что это так. И больше того: я знаю теперь, — пусть мы снова расстанемся, пусть снова будут месяцы разлуки, — наше чувство будет таким же. Ибо оно — не только в вере друг в друга, не только в воспоминаниях о прежних солнечных днях, оно во всем пережитом, во всей нашей жизни, во всем, что есть в ней святого...

Лида молчала. Я видел, что затуманенные глаза ее пристально смотрели в одну точку. Потом она сказала:

— Я помню, это было на Ладоге... Выюга была... холодно... Я сопровождала колонну с продуктами для госпиталей. Переехали через озеро, погрузили продукты в вагоны. Я замерзла и забралась на паровоз, к машинисту. Машинист — молодой парень, а лицо, как у старика... Это я после узнала, что он молодой... Проехали километров десять, кончилось топливо. И вот мы вылезли все — и машинист, и я, и вся бригада... Стали кустарник ломать, пилить деревья, чтобы как-нибудь доехать до станции. Ветер руки жжет... помню, я за пилу схватилась, — кожа пристала. Доехали кое-как... На станцию прибыли, машинист стал со мной прощаться и спрашивает: «Муж-то у вас, девушка, есть?» — Есть, говорю. — «На фронте?» — На фронте, — «Ну, говорит, он чувствует, как вы тут дрова с нами пилили...» — Я, помню, улыбулась и говорю: — Откуда ж он знает? Он ведь далеко... — А машинист покачал головой и говорит: — «Вы не смейтесь. Если он человек настоящий — чувствует. И вы его муки чувствовать должны...» Тогда, помню, мы не договорили: машины к вагонам подали. Только когда прощаться стали, он меня и спрашивает: — «Мужа-то любите? Вот поэтому и деревья пилили. Настоящая любовь — она, как оборотень: когда надо — в терпенье вылезает, когда надо — в гнев, когда надо — в ласку...»

Она замолчала, и я ничего не ответил. Я знал, она понимала меня.

Потом мы пошли бродить по городу. Мы ни о чем не договаривались, но точно по уговору стремились к местам, столь памятным нам.

Мы прошли мимо Гостиного, поберытого языками копоти, по Садовой, и, не чувствуя усталости, дошла до Нарвских ворот... Оттого ли, что шел я рядом с Лидой, оттого ли, что так много пережил в Ленинграде, — все, что я видел теперь, всеяло в меня лишь уверенность и силу.

Вечером мы прощались. Было очень мало слов, и только один долгий поцелуй. Мы расстались у Пороховых заводов, и я вскочил на попутную машину.

Емельян Пугачев¹

Историческое повествование

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

**Мѣсть муллы. Падуров и другие.
Конец Яицкого городка.
Полудержавный властелин.**

1

Узнав, что Пугачев оставил Берду и принял путь к Переволоцкой крепости, князь Голицын приказал подполковнику Бедряге эту крепость занять и выслать разъезды в крепости Ново-Сергиевской. А Рейндорпу было предписано наблюдать за всем течением Яика и занять войсками слободы: Бердскую, Каргальтинскую и Сакмарский городок. Но, под впечатлением неудач во время осады, Рейндорп продолжал находиться в бездействии и приказа в полной мере не исполнил. Даже Берда не была занята его войсками. Пугачев этой оплошностью губернатора впоследствии воспользовался.

Пройдя верст пятьдесят от Берды, он вдруг встретил до тридцати человек лыжников из разведки Бедряги. Это испугало Пугачева.

— Нет, други мои, — сказал он, — этим местом нам не пройти, видно и тут у них много войска, как бы не пропасть нам всем.

Повернули назад, опять в сторону Оренбурга. Шли не быстро, потому что дороги были убийные: то раздробленные сугробы, то по колено коням грязь. Бросили три пушки для облегчения. Лица спутников Пугачева были грустны. Желая как-нибудь подбодрить людей, он сказал вполусерьез, вполуплутику:

— Если нам в зешнем краю не удастся, пойдем, детушки, прямо в Иттенбург. Чаю,

наследник мой, Павел Петрович, нас встретит там...

Атаманы уперно молчали. Их даже удивили такие несуразные о Петербурге речи. Всеи армией ночевали на хуторе проводника казака Решина.

Снег быстро таял. Всю ночь с крыши дружная капель была. По оврагам текли мутные шумливые потоки. Полным ходом шла весна.

Пугачевцы сознавали, что они почти со всех сторон окружены голицыновыми отрядами.

— Прикинем-ка, детушки, куда теперь пойдем? — сказал Пугачев.

— Пойдем в Каргалу, Сакмар да на Яик. А с Яика спустимся на Гурьев городок¹, там добудем провианта, — отвечали ближние.

— Да можно ли отсидеться-то в Гурьеве? — усомнился Пугачев.

— Конечно дело, долго там сидеть несподручно будет, — отвечали атаманы.

Никто не знал, куда идти, как от Берды спастись. Падуров тоже играл в молчанку. Он мрачен на-особицу, он не может разыскать свою Фатьму. Куда она запропастилась? Нет ни Фатьмы, ни ее брата джигита Али, ни Шванвича... Неужели они все трое остались в Берде? Неужели угодили в полон к Рейндорпу?

Бывший в хате башкирский атаман Кинзя, видя замешательство пугачевских атаманов, спросил Пугачева через переводчика Идорку:

— Куда вы, государь, нас ведете и что думаете делать?

— А веду я вас в Сакмарский городок,

¹ Продолжение. См. журн. «Октябрь» за 1943 год и № 1—2, 5—6 за 1944 год.

¹ На северном берегу Каспийского моря, при устье р. Яика (Урала).

либо в Каргале, либо еще куда подале... Пробудем там до весны, а коль скорождемся хорошего времени, поведу я свое войство на Воскресенские Твердышева заводы.

Князя затумчивыми глазами воззрелся в похулевшее лицо Пугачева и бодрым голосом сказал:

— Ну, ежели вы на заводы придете, в плашу Башкирь, я вам чрез десять дней хоть десять тысяч своих башкирцев поставлю, конницу.

— Благодарствую, Князя Арсланыч, спасибочко тебе!.. Верный ты,— растроганно сказал Пугачев, и на его душе несколько потепело, но брови были все так же хмуро собраны над переносицей.

Он тотчас приказал Падурову и Почиталпу написать воззвание к башкирскому народу.

Уходя спать, Пугачев уже который раз подумал: «Где-то Овчинников мой, да Горбатов офицер с Перфишей? Да в добром ли здоровье верный мой старик Павел Носов?»

26 марта Пугачев с войском был в Каргале, он занял ее без боя, так как Рейнсдорп не подумал прислать туда воинский отряд. Емельян Иванович с большим сожалением узнал об аресте здесь Хлопуши. Он приказал атамана Мусу Улеева и всех каргалинских старшин паче смерти переколоть, дома их сжечь.

Две красавицы татарки — Улеева и Абрешитова, крепко любившие «бачку-осударя», принимавшие его у себя и приезжавшие погостить к нему в Берду, умоляли Пугачева помиловать их мужей — сотника и атамана. Но Емельян Иваныч в раздражении сказал им:

— Ваши мужья — не люди, а собаки! Они, изменники, панвернейшего слугу моего погубили — Хлопушу.

Учняя быстроту расправу, он поставил в Каргале начальствовать Тимофея Мясникова, при нем оставлено было 300 человек башкирцев и крестьян. Наконец-то и краснощелький Тимоха, приятель Зарубина-Чики, в большие начальники попал.

В тот же день Пугачев занял Сакмарский городок, а так как провианта в армии было маловато, он послал Творогова в Берду: «Авось, чего не то там сыщешь».

Творогов взял с собой отряд конников в тысячу человек. Пред его отъездом в путь подошел к нему озабоченный Падуров и спросил:

— Когда ты свою Стешу отправлял домой, не заметил ли Фатьмы, не увязалась ли она за твоей жинкой?

— Нет, Тимофей Иваныч... За суетой и ни к чему мне было... Не до баб теперь.

Творогов быстро полетел на Берду, захватил в плен немногочисленную команду Рейнсдорпа, добыл провианту, по приметя, что к слободе полступает авангард Голицына, вернулся в Сакмару. На обратном пути пристали к нему Али и Фатьма на своих конях. Невзиряя на весенние, радостные дни, Фатьма с опечаленным сердцем, с тоской в глазах ехала к своему Падурову.

— А где Иваныч? — спросил Творогов.

— Мы искали его, нету, — ответил Али и переглянулся с сестрой.

Тем временем князь Голицын отправил для преследования Пугачева крупный отряд полковника Хорвата. Сам выступая из Татищевой, Голицын оставил в этой крепости Мансурова, предписав наблюдать, чтоб «злодей» не мог пробраться к Янку, а затем, ежели земный путь допустит, идти ему, Мансурову, на Янк.

Хорват вскоре занял Берду и понес Голицыну, что Пугачев снова успел скопить себе силу, к нему на помощь прибыла до двух тысяч башкирцев и присоединилось много «отчаянной сволочи», что «злодей» с пятитысячным войском, набрав провианту и фуража, сидит в Сакмарском городке (в двадцати верстах от Оренбурга) и намерен защищаться.

Князь Голицын принял нужные меры. Он 31 марта занял Берду и с небольшим конвоем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор. Его прибытие приветствовалось колокольным трезвонном, пучечной пальбой и радостными криками обывателей.

Повернись судьба иначе, и может быть многие горожане, казаки и солдаты с еще большей торжественностью, с еще большим рвением встречали бы Емельяна Пугачева.

Дворянством, начальством и купечеством был дан Голицыну обед. Разговоры кружились возле событий последнего времени, возле непомерных трудностей пережитой Оренбургом блокады, коснулись также театра военных действий в Турции. Но Голицын, к сожалению, ничего нового о войне не знает, так как давно не получал оттуда известий; может быть, письма, ему адресованные, где-нибудь путаются по оренбургским и башкирским просторам.

После обеда в гостиной губернаторского дворца подвыпившему, как и все гости, князю Голицыну был представлен в виле курьеза собравшийся уезжать в свой Курск купчик Полухтов. Довольно живо, с потешными ужимками, то размахивая руками, то почесывая за ухом, он рассказал князю о своей

схватке со «злодеями», о поездке к Пугачеву и страшном разговоре с ним. Слушая его, развеселившийся князь, а за ним все гости, немало смеялись.

— А господин Пугачев-то, смотрите-ка, остроумец изрядный,— говорил князь и, обратясь к купчику:— Так кто ж вы теперь, Полуехтов или Полуухов?

— Ухи пелы, ваше сиятельство... Стало, я, как и допрежь, Полуехтов,— захлебывался, бормотал купчик.

— Герой, ваше сиятельство!.. О! Герой! — восторгался Рейндорп.— С одной крошка, ваше сиятельство, инсургентов прогонял!

Князь поднялся, снял со своей груди золотую медаль, повесил ее на грудь задохнувшегося от внутреннего трепета купчика и обнял его, сказав:

— Носите с честью, молодой человек. Такие люди, как вы, отечеству нашему на пользу.

Первого апреля, в два часа утра Голицын двинулся из Берды. Приближаясь к Каргале, князь узнал, что ему навстречу выступили из Сакмарского городка Пугачев с двумя третями своего войска.

Каргала с окрестностями находилась среди Губерлинских гор, в местности, изборожденной высокими сопками, глубокими рвами и дефилеями, что создавало весьма большое преимущество для обороны и невыгодные условия для наступления.

Пугачев приготовился к захвату своей сильной позиции и на «самопужном» возвышенном месте выставил батарею из семи орудий.

Когда показался головной сводный батальон капитан-поручика Толстого и конный отряд подполковника Аршеневского, дружно заремели пугачевские пушки. Однако умелая атака воинских отрядов принудила пугачевцев бросить свои позиции и пачать отступление. Они отступили за три версты к лесопильной мельнице, что на реке Сакмаре, между Каргалой и Сакмарским городком.

Голицын, осмотрев местность, намереваясь разгромить здесь противника. Он приказал выставить орудия на господствующей над местностью высоте. Пугачев тоже довольно искусно расставил свои уцелевшие пушки, но у него было слишком мало зарядов. Он предвидел опасность поражения от голицыньских испытанных и приносившихся к боевой обстановке солдат. Пугачевская толпа, в особенности башкирцы и часть вновь приклевших крестьян, точно также взирала на многочисленного хорошо вооруженного врага с внутренним шатаем.

И, действительно, после нескольких удач-

ных выстрелов голицыньских пушек среди пугачевцев возникло замешательство.

Пугачев скакал по рядам своих войск, злыно кричал с коня:

— Грудью, детушки! Не трусь! Стой на месте!..— но в его голосе уже не слышалось зажигающего задора.

Суетились в своих частях и Падуров с Почитальным, и Жплкин с Горшковым, и Максим Шигаев.

«Ну до чего жаль, что нет Овчинникова»,— скучал сердцем Пугачев.

Сердце Фатьмы было тоже беспокойно. Вместе с братом своим Али она в боевом полку оренбургских казаков Тимофея Иванныча Падурова. Ей чужится близость чего-то недоброго. Она с тревогой поглядывает в сторону своего Падурова... Почему у него такое, совсем темное, лицо, и усы обвисли, и чуб спрятан под мерлушковую шапку; и помутившиеся, словно пьяные, глаза? Скверно на душе у Фатьмы.

Меж тем бой крепнет, входит в силу. Голицыньская картечь, как градом, стегает по пугачевцам. Вот засвистели ядра. Оробевшая толпа, теряя убитых и раненых, то здесь, то там кидается врассыпную, но, воодушевляемый личной отвагой Пугачева и полковников Шигаева с Падуровым, вновь овладевает собою. Оренбургские и янские казаки спешились. Засев за огромные камни, хоронясь за деревья, они метко отстреливаются, сшибая наступающего врага. Но враг упорно движется вперед. И всюду гремит, раскатывается солдатское «ура».

Стремясь отрезать отступление противника, голицыньские гусары спешат охватить фланги пугачевцев. Заметив это, казаки всполошились: они срываются с мест и, вскочив на коней, готовятся утечь подальше. Вскочила в седло и Фатьма. Ее копь хрипит и кружится, Фатьма бьет его нагайкой, а сама все ищет взором то место, где нестрет боевое знамя, где носится с Ермилкой одетый в простое платье государь.

— Казаки! Вперед! Не робей! — размахивая саблей, командует с коня Падуров.

Казаки выхватывают сабли, берут наизготовку пикп, кричат воинственно «ги-ги-ги!» Но под ударами вражеской картечи, не принимая боя, отступают. Падуров растерялся. Чтоб не остаться в поле одному, он и сам по необходимости устремляется вслед за казаками, за Фатьмой. Вдруг он с удивлением усмотрел, что среди гусар, наступающих на левый фланг, рыщет стая татар, а с ними седобородый с желтым иссохшим лицом старик с поднятой в руке кривой турецкой саблей. Рядом с желтолицым громоздится на

коне тучный мулла с белой чадмой на голове.

— Глянь, Падур! — прокричал испуганно Али. — Мулла с купцом... Ой, алла-алла, они Фатьма ищут..

— Не государя ли?

— Нет, Фатьму!.. Давно ее ищут... Худой дела... — И Али, взмахнув локтями, покасал.

Бой еще не сломился. По заснеженному полю, по увалам и сопкам туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад снуют пугачевцы и голышницы. И не понять было, где свои, где чужие — все смешалось.

Еще немного, и под жестоким натиском голышницев, под грохот их пушек пугачевское войнство ударилось в бег к Сакмарскому городку.

Чувствуя, что оробевшую толпу ничем нельзя уже остановить, Пугачев скакал среди отступающих и в гневе толосил:

— Гей, гей! Гургуйтесь в городке! Не допускай злодеев! Броши их!..

Отделясь от толпы, он поскакал с Ермалкой и небольшой охраной на правый фланг, чтоб ободрить оборонявшихся там уральских работников и казаков.

Гусарский офицер-рубака, ткнув пагайкой в сторону мчащегося вдаль Пугачева, заорал своим:

— Лови Пугачева! Кто словит — десять тысяч!

И вот измокшие гусары, сминая густы, тонча бегущих мужиков, поскакали наперек Пугачеву.

— Государь! Эвот, государь! — вырвавшись из перелеска с горстью храбрых казаков, пронзительно закричала Фатьма. — Спасай бачку-государя!..

И кучка смельчаков помчала за нею наперерез скачущим гусарам. Татарка потеряла шапку, длинные косы ее плескались по спине, в сильной руке сабля.

А позади нее, догоняя сестру, сплани молодой джигит Али. Его конь то вязнет в сугробе, то выпрастывается на приотпавшее место, Али бьет его плетью, надрывается в крике:

— Фатьма, назад!.. Назад!.. Мулла здесь! Гей, Фатьма!.. Мулла Ахметов... — но смертельно сраженный пулей, он, криво качнувшись вбок, на всем скаку падает с седла, хрипит, морщится в судорогах и затихает.

Казаки Фатьмы бурей врезались в ряды гусар. Мерзедобразный казак Шлюха, прихрапывая, рассек ретивого офицера пополам, бросив сломавшуюся свою саблю, схватился за пику.

Рев, гвалт, отчаянная ругань, сеча, ред-

кие выстрелы. Коня покрапывая, возвиваются грудь в грудь на дыбы. Внезапно атакованные гусары вначале смешались, затем, опомнясь и видя, что напарников на них казаков небольшая горстка, стали прижимать их к перелеску. Казакам и Фатьме грозила опасность. Зато Емельян Пваныч успел скрыться из виду.

Ратное поле от лесу до лесу теперь было чисто, лишь чернели на белом снегу тела убитых и раненых. А все живое мелькает и движется — одни отступают с боем к Сакмарскому городку, другие преследуют отступающих.

Падуров вдруг усмотрел свою татарку.

— Фатьма! Фатьма! — во все горло кричит он и, весь охваченный страхом, стремится на помощь к ней.

За татаркой, нурхаясь в снегу, спешат гусары. Препраждая ей дорогу справа и слева, они стараются загнать ее коня в глубокую снежную застругу.

Падуров ничего не видит, кроме сверкающего возле Фатьмы клинка турецкой сабли, да ослепительной белой чалмы.

— На по-о-мощь! — кричит обезумевший Падуров. — Братья казаки, на помощь!

Но казаков нет вблизи, — спасаясь от гибели, они прыгнули в лес.

И не треск ружейных выстрелов по бегущим казакам, не глухой гул ухнувшей пушки вдали, а пронзительный крик старика в чалме поразил слух Падурова:

— Алла! Алла! — визгливо вопил старик, настигая Фатьму.

Коня татарки загнали по-грудь в сугроб. Из ее рук гусары выбили саблю.

— Падур! Падур! — кричит Фатьма.

Метко брошенная петля гусарского вахмистра вмг валит ее с коня. С гортанными криками, подобными клекоту хищных птиц, поверженную на землю женщину окружают татарские всадники.

И внезапно падает в сугроб сбитый пикой Падуров. На него налетели сразу пятеро, ему вяжут назад руки, набрасывают на шею аркан, ведут прочь, подгоняя улами плеток; он беспрестанно оглятывается, в ужасе стучит зубами.

Меж тем костлявый старик, наскоро засучив рукава, уже взмахнул над голым Фатьмы кривой своей саблей.

— Сто-сто-стой! — неистово завонил подскакавший мулла. — Ля иля! Имеем Мухамеда, стой!

В пухлой руке муллы — грузный жезл с отточенным концом и позлащенным набалдашником. Мулла тяжело дышит, возродит

налитые кровью глаза к небу и сильным го-
лосом бросает Фатьме:

— Проклятая! Закон аллаха повергла!..
Так умри же, дочь демона! — и, занеся
лезв, он с еилой пронзает острием грудь
Фатьмы.

Из рта татарки хлынула кровь. Мулла
весь дрожит, затем начинает громко икать,
двойной подбородок его, обтянутый лосня-
щейся кожей, колыхнется.

— Руби!

Желтолицый костлявый старик, взмахнув
саблей, разом отсек Фатьме голову. Лицо
Фатьмы бело, глаза полузакрыты.

Все кончено. Цвела жизнь, и не стало
жизни. Но тот, кто отдает свою жизнь за
других, илет мимо смерти — в память на-
родную.

Голова воткнута на колыбе и возпесена над
всеми. Исирия черные косы повисли, как
ветви плакучей ивы. Указывая на мертвую
голову, мулла поучающе молвит:

— Великий аллах и Мухамед, пророк его,
дали мне мощь сразить цвет горький, отрав-
ляющий дыхание нашей правоверной земли.
Давайте молиться о Фатьме... Проклятье че-
ловеку, соблазнившему плод от плода наше-
го, кровь от кровей наших!.. Ля илля!..

Он заунывно поет из корана, к его голо-
су хором пристают татары.

2

Тем временем отступавшие пугачевские
толпы, отстреливаясь, подтягивались к Сак-
марскому городку. По задержаться здесь бы-
ло невозможно: изюмские гусары и чугуев-
цы с двух сторон налетали на мятежников,
а сзади тугыми цепями бежали, пуская ру-
жейные залпы, солдаты карабинерского
полка. Гористая местность, покрытая ло-
сом, вся в глубоких оврагах и падах, по
лну которых стремились потоки внешней
воды, была гибельна для отступающих.

Преследуемые, утратив в конце концов
всякий порядок, бежали пешими и скакали
на конях, не помня себя. В узком между-
горьи они стеснились так густо, что давили
друг друга. Лишь отдельные кучки удалыцов
с последней яростью продолжали обороняться,
но большинство их гибло или попадало в
полон, а кто спасался — бежал в городок
прятаться в подпольях, в банях, на черда-
ках.

Емельян Иванович скакал на свежем коне
к Пречистенской крепости. Пугачевцы были
разбиты и рассеяны.

Сакмарский городок опледали воинские ча-
сти Голицына. Производились повальные

обыски. Уже было сыскано и арестовано не-
сколько влиятельных мятежников.

Связанного Падурова с арканом на шею
вели через опустевшее поле. У него тем-
но в глазах, мутились мысли, звучал в
ушах беспощадный пронзающий душу голос
татарки: «Падур, Падур...»

Возле него стонут, ползут, кой-как дви-
жутся раненые, он шагает словно в бреду
через трупы своих и вратов, и все вокруг
него захлестнуто дымкой.

Вдруг он видит — лежит в стороне сверх
сугроба атаман Витопнов, руки раскинуты,
глаза в небо, безмолвствует.

— Андрей Иванович! Витопнов! — вскри-
чал Падуров и приостановился. — Господа
гусары, дозвольте... Он нашей Военной кол-
легии главный судья. Может, старичок жив
еще...

— Иди! Иди!.. Жив, так приколем... —
закричали гусары, и один даже слегка стег-
нул Падурова плетью.

В станичной избе, куда ввели Тимофея
Падурова, сидели на скамье связанные:
близкий друг Пугачева — Максим Григорьевич
Шигаев, Иван Почиталин, солдат Жилкин и
главный писарь Военной коллегии Максим
Горинков. Они сидели понурые, сторбленные,
с низко спущенными головами. Холеная,
обычно расчесанная надвое борода Максима
Шигаева теперь обвисла мочалкой. Ваня
Почиталин, уставясь в пол, часто взмгивал,
утирал глаза рукавом изодранного в свалке
чекменя.

Падуров взглянул на товарищей, остолбе-
нел, покачнулся. Измученным голосом ска-
зал:

— Братья казаки, старик Витопнов убит,
Фатьма убита... Жив ли батюшка?

Ему никто не ответил. Кровь разом от-
хлынула от его мозга, задрожало, остано-
вилось сердце, он судорожно стал хвататься за
воздух и с закрытыми глазами упал боком
на стол.

С толпой в пятьсот человек¹ Емельян
Пугачев, как гласят показания сосбнников
его, бежал «не кормя, во всю прыть до Ти-
мошовой слободы. По приезде в ту слободу,
только что накормили лошадей, то посакали
опять и, приехав в село Ташлу, почевали».

Избежав прямой опасности, Емельян Ива-
нович стал приводить в порядок собственные

¹ Около ста человек яицких и илецких
казаков, около ста заводских крестьян и
триста человек татар с башкирцами.

мысли. Он не досчитывался многих соратников своих. Где они, забубенные головушки? Он ничего не знал о судьбе друга своего Шигаева, Вани Ночиталина, верного полковника Падурова, Горшкова и Витомнова.

Прошло в нетерпеливом ожидании еще два дня. Никто из его сподвижников не появлялся. Пугачев, охваченный душевной мукой, наконец решил, что они либо убиты, либо угодили в полон. «А может быть — во всем благополучии, да только на след мой не нападут. А вот где Овчинников с Горбатовым?»

Он не знал, что главный атаман его бывшей армии Овчинников с остатками толпы отступил из-под Татищевой крепости в Яицкий городок. Он также ничего не ведал о том, что офицер Андрей Горбатов с Варсонофием Перешиб-Пос, с двумя яицкими казаками, башкирцем и работным человеком с Авзяно-Петровского завода, прячась от вражеских разъездов, пятый день ищут Пугачева по степи.

Но вот наконец-то они попали на его след, вот уже слышен топот их коней, вот Андрей Горбатов, испитой, едва держащийся на ногах от пережитого им в скитаньях голода, холода и тревожений, входит к Пугачеву в дом.

— А-а-а, ваше благородие! Откудов ты? — вскакивает Пугачев, морщины над его переносицей распрямляются, он с приветливой улыбкой спешит навстречу офицеру. — Пу, как да что?

Братски поздоровавшись с Пугачевым, Горбатов кратко перемолвился с ним. Затем сели обедать.

Обед подавала Ненила. Ермилка еще в Сакмарском городке прикрутил ее веревками к заводному коню, чтоб не упала, и примчал вместе с попом расстригой. За обедом, на котором присутствовал и Кинзя Арсланов, Горбатов рассказал Пугачеву об окончании боя под Татищевой, о бегстве в Яицкий городок уцелевших казаков и заводских крепостей вместе с атаманом Овчинниковым и о своем, Андрея Горбатова, желании во что бы то ни стало разыскать государя. И вот желание его сбылось!

Подробно расспросив Горбатова о всех военных делах и снова запечалившись, Пугачев принялся в свою очередь рассказывать о неудачном сражении его людей у лесопильного на реке Сакмаре завода.

— Как видишь, я всех растерял своих, один остался... Эхе-хе-хе. Вот Кинзя еще, да Ермилка полководец, да Ненила генералыша. Да еще, кажись, поц Иван. Вот и все свят-

ские мои... — пробовал шутить Пугачев, но это ему на сей раз не удавалось. — А не знаешь ли ты, что подеялось со стариком моим, Павлом Носовым, бомбардиром? Убит, пооди?

— Пет, государь, не убит...

— Ранен, что ли?

— Ни то, ни другое...

— Так чего ж с ним?

— Повесился, государь. Перешиб-Пос видит это...

— Ой ты!.. — выдохнул Пугачев и рванул рубаху против сердца.

Позвали Варсонофия. Необычайно худой, костистый, только большие обвисшие усы все те же. Варсонофий поздоровался с «батюшкой» и прочими и на вопрос Пугачева о судьбе Павла Носова насковозь прозябшим хриплым голосом заговорил:

— Бегу это я, ерш те в бок, во вся тяжкую, как бы, думаю, в лапы им, дьяволам, не угодить... Бегу, а сам глазами зыркаю, нет ли где коня. Глядь-поглядь — направо пушка ствольной над обрывом свесилась, на пушке, на ствольне, ерш те в бок, петля ременная, в петлю Павел Носов свою головушку вкладает. А сзади нас: бах-бах-бах, бах-бах-бах... Пули, как шмели, над нами жужжат-свищут... Я кричу во всю глотку: «Дедушка, дедушка!.. Что ты надумал... Побежим!» А он: «Батюшку побереги!» — да с этими словами и скакнул вниз и закрутился на ременной петле. Ахти беда!.. А сзади, ерш те в бок, бах-бах-бах, бах-бах-бах... Я на коня, да и укатил. А как отъехал в безопасность, слезы, понимаешь, ваше величество, то есть такие горькие слезы закапали из глаз... Дивно хорош старик-то был, ведь мы его с тобой... это, как его... — вдруг осекся Варсонофий. — Я ведь его, дедушку Павла-то, еще на Прусской войне знавал.

Пугачев слушал рассказ, низко опустив голову. Затем перекрестился и сказал с чувством:

— Превечный спокой его головушке... Верный был.

Емельян Иваныч еще ниже опустил голову и, зажимая то правую, то левую ноздрю, отоморкнулся на пол. Видя это, Ненила тотчас подала ему прибереженный ею чистенький платочек.

— Благодарствую, — каким-то сорвавшимся, почти детским голосом, едва сдерживая душившие его всхлипы, сказал он Нениле и вытер платком глаза, потом выдохнул с шумом воздух, не глядя ни на кого, улыбнулся и молвил:

— Скажите-ка отцу Ивану, чтоб поми-
нал старика Носова... Павла Носова. Да и
других прочих, которых... Э-эх! — отмахнул-
ся он рукой, ссутулился и повернуя голову
вниз и вправо, как будто силясь что-то рас-
смотреть в темном углу избы. Затем тихо
проговорил:

— В Яицком городке слепой старик та-
кой есть, Дерябин прозвищем, он мне вот
этот самый перстень подарил Степана Разя-
на, — и Пугачев, приподняв руку, посверкал
кольцом. — Пу так вот старик пел: «По бо-
ярам панихиду ворон каркает...» Страхусь,
как бы не по боярам, а по нам по всем
ворон не скаркал панихиду-то... Мы здесь
люди свои, да прямо говорю, без обиняков,
в открытую... Истомилось сердце-то мое...
Сон пропал. Не горазд радуют меня дела-то
наши...

Горбатов, видя расстроенные чувства Пу-
гачева, воскликнул:

— Не унывайте, государь! После невзасты
будет и солнышко.

Эти идущие от сердца слова сразу овари-
ли озябшую душу Пугачева.

— А я, ведаешь, и не унываю, — вски-
нув голову, ответил он. — В военном деле,
ваше благородие, удача переменчива: сегодня
он меня за бороду, а завтра я ему ногой
на брюхо да и кровь сосать! Еще мы, ве-
даешь, этим Рукавицным-Голицыным пят-
жи-то к затылку подведем. Кабы я тогда
ноболе пароду из Берды захватил, под Тати-
щевой-то мы смяли бы князя. Поди, сам
видел, ваше благородие, наших-то хулить не
можно, гарно бились.

Пугачев то подбоченивался, то пристуки-
вал ладонью по столешнице.

— А скажи-ка, ваше благородие, где
Иваныч? — вдруг обратился он к Горбатову.

— Не ведаю, государь, — ответил тот. —
Только знаю, что в Татищевой его не было.

— Хм, — сказал Пугачев и призадумался.

Как раз в это время в Оренбурге снима-
ли с Михаила Шванвича второй допрос.
Между прочим, он показывал: «А как Пу-
гачев по разбитии под Татищевой приехал
ночью в Берду и отправил несколько возов,
неизвестно — с чем и куда, а сам поутру
из Берды ушел, оставя в Берде множество
еще злодеев. Потом пришел ко мне оренбург-
ского гарнизона сержант Лубянов, которого
я спросил, все ли уехали? А как отвечал:
«Почти все», то вышел я на двор к воро-
там, мимо которых ехали оренбургские ка-
заки, человек восемь, которых спросил я:

«Куда вы едете?» А как они отвечали, что
«гонят нас насильно за Пугачевым», на то
я им сказал: «Лучше поедете не за Пу-
гачевым, а в Оренбург», почему они и согла-
сились. По тут я был схвачен солдатами,
высланными из Оренбурга господином губер-
натором Рейнхорном и передан офицеру».

3

Емельян Иваныч все чаще и чаще вспо-
минал пропавшего без вести главного атама-
на своего Овчинникова, жену-государыню
Устинью и непокорный Яицкий городок, к
которому уже подступал генерал-майор Ман-
суров.

Положение Симонова с гарнизоном было
тяжелее. Солдатам выдавали по четверти
фунта муки на день при изнурительной ра-
боте. Половина людей всегда была «в ру-
жье», другой половине дозволялось дремать
сидя.

Девятого марта полковник Симонов произ-
вел вылазку, но был мятежными казаками
разбит и надолго заперся в ретраншементе.
Спустя после этого пять дней над крепо-
стью взвился бумажный змеек, к мочально-
му хвосту его был привязан конверт с па-
кетом. То было письмо казаков к полковнику
Симонову и всему гарнизону. Мальчишки, в
том числе Ваня Неулыбин, клеили змейка,
с увлечением равняли «подхвостницу», кре-
пили «реницу», устраивали «трешетку». Как
только змей поднялся над крепостью, маль-
чишки подрезали нитку, и он, давая
«курны», упал в расположенные ретранше-
мента.

В письме казаки советовали Симонову, во
избежание напрасного кровоплитья, от вылазок
на будущее время воздержаться, а лучше
отворить ворота крепости, угрожая в про-
тивном случае «зверояростною мезтью». В
ответ на это Симонов отправил к атаману
Каргину увещание с требованием покорности
и прекращения смуты. Каргин со старши-
нами, прочтя увещание, стал обдумывать,
как бы покладней да «позаборнстей» отве-
тить Симонову. Составление ответа было по-
ручено писарю Живетину.

А в это время проживал в поддубье
устиньиного дворца изгнанный с Иргиза игу-
меном Филаретом раскольниковый старец Гу-
рий. Этот лохматый и черноволосый пьяни-
ца, похожий на старого цыгана конокрада и
выдававший себя за Христа ради юродивого,
был нравом буйный, на слова дерзкий, да
баб охочий. Священник, который венчал
Устинью, внашал ей, что сама государыня

Елизавета Петровна всегда приветчала христа ради юродивых, кликуш и всяких людей божьих, то и вам, мол, матушка-царица, надлежало бы сим богоугодным обычаем не брезговать.

И старца Гурья стали приглашать наверх. Войдя в светлицу, он обычно с усердием молился в передний угол, а сам ошаривал глазами стол: достаточно ли выставлено выпивки, вкусна ль закуска. Преподав благословение и выпив, «любожорный» старец начинал грубым голосом благовествовать. Он застрачивал Устинью и всех присутствующих баснями о хождении праведной Федоры по мытарствам или рассказывал «житие» святого пустытника Псаакия Долматского, как соблазняли его бесы, как они уловили его в свои сети и, наигрывая на дудках, восклицали: «Паш Исаакий! Да воспляшет с нами!» Когда на слушающих накатывалась дрожь и воздыхания, старец начинал увеселять их, не стесняясь в выражениях, побасенками о блудных деяниях монастырских и расколыпичьих. Слушая его греховные речи, подвыпившие гости покатывались со смеху, улыбалась и Устинья. Затем старец, как и преподав благословение, уходил «еле можаху» к себе в подизбицу, утаив с собой, как шаловливый бес, и мягкотелую бабушку Толкачиху, главную опекуншу над здоровьем государыни.

Вот этот старец праведный и был привлечен атаманом Каргиным в помощь к писарю Живетину. И старец Гурий постарался. Он написал такое воззвание к Симонову, что даже матери, выдавшие виды казаки ажнули. В письме были включены разные непростойные слова по адресу императрицы Екатерины, и собрание старшин под давлением богобоязненного атамана Каргина решило, что «не должно священную особу государыни так поносить, что это не только дурно, но и противно богу». В конце концов был позван сидевший в арестантской избе «прибкий грамотей» беглый солдат Мамаев. Он и занялся исправлением борзописных трудов старца Гурья.

«Всем уже не безызвестно,— начиналось послание,— на каких основаниях российское государство лишилось всемилостивейшего своего монарха от злодеев нашего возлюбленного отечества». Далее говорилось: «Егда императрица Елизавета Петровна, отыде на вечное блаженство, соизволила скипетр российского государства вручить природному наследнику, великому нашему государю Петру Федоровичу, и все государство ему присягало. И вы не причастны ли были той же присяге? И равным образом той же казни божьей

будете достойны, яко отступники и нарушители христианского закона, что изгнаша государя своего». Письмо заканчивалось так: «Да полноте нас стращать и угроживать. Мы страстей ваших оченя не опасны. Ежели хотите вы итти против нас, то мы давно милости просим, идите, а по вашему предложению быть ничего во удовольствие вам не может и переписок никаких больше принимать от вас не хотим. А от государя нашего прислазно полное наставление, чтоб с вами поступать сперва сердечно, по-христиански. А видно вы не хотите совсем его величеству служить и повиноваться, так и полно вами более дорожить».

Это письмо было вручено Симонову. Подъехавшие под стены крепости казаки кричали солдатам:

— Эй, служивые! Довольно вам голодать, сдавайтесь! Все царичыны войска батюшка побил. Уфа батюшкой взята, Казань с Самарой взяты! А Оренбург, в самой крайности, с голодухи пухнет. Сдавайтесь по добру, по здоровью.

Чтобы подпять среди гарнизона смуту, подсылались в ретраншемент разные беглые солдаты, погонщики, отчаянные казаки. Полковнику Симонову огромных трудов стоило держать голодающий гарнизон в повиновении. Он внушал защитникам, что от мятежников нельзя ожидать теперь пощады, так уж не лучше ли умереть с честью, без нарушения присяги.

На помощь извне никакой надежды у Симонова не было. Напротив, в начале апреля явился в городок атаман Овчинников с остатками воинских сил, уцелевших под Татищевой. Таким образом, силы осаждающих значительно возросли, силы же осажденных с каждым днем иссякали. Их дожимал голод, холод. Солдаты вываривали лошадиные обглоданные собаками кости, даже ели мясо лошадей, павших сапом. А когда все было съедено, варили из глины подобие киселя и им питались.

А весна все ширилась, сгоняла последние сугробы по сыртам. Всюду дружная капель и солнце, на деревьях набухали почки, воробьи и разные птички-свиристелочки слывно с ума сошли, голосистый жаворопок завел свою нескончаемую песенку, в лесной чащобе закуковала кукушка.

Трудно душе человеческой по весне в неволе быть, в окруженной врагами крепости... Еще труднее умирать...

...Настало 14 апреля. Ранним утром, когда солнце, озаря весенние небеса, выплывало из-за горизонта, дозорный приметил с кре-

постной церкви необычное в городке движение. Он тотчас сообщил коменданту. И вот все начальство и кто мог держаться на ногах высыпали на вал крепости.

С вала видно было, как из городка большими партиями выходят и выезжают казаки. Они в полной боевой готовности — с пиками, с ружьями, с двумя знаменами. Их провозжат женщины и дети.

— Гляньте-ка, гляньте, Иван Данилыч! — обращаясь к Симонову, радостно кричит капитан Крылов. — И пушки за ними... Раз, два, три... Пять! А ведь это не спроста, ей же богу не спроста!..

— А знаете что? — взволнованно бросает Симонов рядом стоявшему с ним Крылову. — Это значит, что к нам выручка идет... А казачьи навстречь... Уж поверьте... Слава богу, слава богу! — Симонов крестится, и шрам на его щеке от прилива крови синее.

Все защитники сразу взбодрились. «Как будто мы съели по куску хлеба, которого давно не видывали; и это укрепило наши силы», — вспоминали они впоследствии.

Симонов не ошибся. Накануне, в начале ночи, разведки донесли войсковому атаману Каргину, что по направлению к Яицкому городку движутся воинские отряды. Тогда атаман Овчинников ночью всех поднял на ноги, перед утром сформировал отряд из пятисот казаков, части заводских работников с калмыками, взял пять пушек, и вот громада выступает из городка в поле, чтоб задержать врага.

Тем временем генерал-майор Мансуров, совместно с Г. Р. Державиным, 6 и 7 апреля заняли крепости Озерную, Рассыпную и Илецкий городок, в котором разогнали толпу мятежников и захватили четырнадцать пушек. Подойдя к Иртыскому форпосту и рассеяв пушечными выстрелами передовой отряд яицких казаков, Мансуров принужден был остановиться. «Весь транспорт мой, будучи на санях, стал, — доносил он Голицыну. — Здесь снег весь пропал, на санях продолжать путь никак не можно».

Не дожидаясь формирования колесного транспорта, Мансуров пошел вперед и возле тесного прохода у речки Быковки, недалеко от Рубежного форпоста, встретил Овчинникова.

Началось военное состязание. Казаками руководили Овчинников, Перфильев, Дегтярев.

Генерал Мансуров, выставив на берегу Быковки семь орудий, начал переправу. В первую голову переправлялись выступив-

ший из Оренбурга Мартемьян Бородин со своими казаками и подполковник Бедряга с тремя эскадронами кавалерии. Затем переправилась пехота. Для пугачевцев бой был неудачен: артиллерия Мансурова работала прекрасно и действия частей его отряда хорошо согласованы, тогда как пушки мятежного казачества отстреливались вяло. А самое главное, силы сражающихся были слишком неравны: на каждого пугачевца приходилось по два мансуровца. Под конец боя мятежники, дрогнув, побежали. Дегтярев с двумя хорунжими попался в плен, Овчинникову же с Перфильевым и частью казаков удалось прорвать окружение и скрыться в степи.

С вала Яицкой крепости гарнизон не расходился. Солдаты с офицерами чутко прислушивались к отдаленным раскатам боя. Под конец дня осажденные заметили, как в городок спешно въехала толпа разбитых казаков, и вскоре прозвучал с колокольной набат, что означало «собраться в круг».

И вот, уже в сумерках, шумная толпа, главным образом захваченных и степенных казаков, подступила к ретрашементу. Симонов скомандовал: «Огонь!» — и по толпе загрохотали крепостные пушки. Мятежники подняли белый флаг и закричали:

— Не стреляйте!.. Мы с повинной! Признаем ее величество государыню Екатерину!..

— Вылавайте главных предводителей! — в свою очередь закричал с вала немало изумленный Симонов.

— Ведут, ведут!.. Из кузницы всех наших смутьянов ведут... — откликнулись казаки. — Овчинников с Перфильевым бежали, а к дому Устиныи Кузнецовой мы караул поставили!

Вот, в сопровождении казачьего отряда, показались скованные девять человек: атаманы — старик Каргин, Михайло Толкачев, Денис Пьянов и прочие.

Гарнизон подбрелся пиццою, доставленною сложнейшими оружием казаками.

На следующее утро, 16 апреля, вступил в Яицкий городок генерал-майор Мансуров и ненавидимый бедняцкой стороной старшина, полковник царской службы Мартемьян Бородин или, как его звали в народе, «жирный Матюшка».

Из Яицкого городка многие казаки, оставив свои жилища, разбежались; с ними уехали все жившие в городке бродяги беспаспортные. Но старец Гурий и бедный солдат Мамаев, два сочинителя письма к Симонову

были схвачены и вскоре попали на допрос к Державину.

Для окончательного очищения окрестностей от мятежных толп, а также поимки «ушлепов» генерал Мансуров сформировал два отряда — Муфеля и Державина.

Тем временем в конце Страстной недели атаманы Овчинников и Перфильев, с ними сорокалетний Изюзов и около двухсот яицких казаков, перейдя речку Чаган, остановились. Настроение у всех было тревожное, унылое. Как будто пригнали людей на край крутого обрыва, преградившего все пути-дороги, и толкают в пропасть, в темное провалище.

Овчинников, разыскав образ «спаса у жившего на берегу скрытника, сделал заклочку «в круг». Образ был прикреплен к столетнему осокору. Овчинников обратился к кругу:

— Вот, братья казаки, сами видите, положение наше хуже некуда. Нам всем предстоит государя отыскать, к нему, отцу нашему, прилежаться. Без него пропадем мы, с ним жизнь увидим и дыхание наше не скончается. Братья казаки! Не отставайте от меня, следуйте за мною, я вас выведу к батюшке, и станем служить ему до последней капли крови. Кто в согласьи, целуй образ спасов со усердием, кто не в согласьи, отъезжай прочь, тот нам больше не товарищ!

Казаки кричали:

— Идем за тобой! Только ты, Андрей Афанасьич, не спокни нас! Нам один путь: аль-бо к царскому самодержавству, аль-бо затыкай хвосты за пояс, да и за Кубань!

Все, как один, они обнажили головы и двинулись чередом лобызать старинную икону. Первым приложился Перфильев.

Переночевав, все двинулись по бузулукской дороге.

Длиннолицый, горбоносый Овчинников взглянул умными серыми глазами в угрюмое лицо ехавшего с ним рядом Перфильева и сказал:

— Вот видишь, дружок Перфинша, дела-то какие. А давно ли, кажись, ты из Питера вернулся, да мы с тобой за чарочку держались.

— Да, брат, да-а-а, — вздохнув, протянул Перфильев.

— Был Яицкий городок, и нет его... Был царь-батюшка, и того потеряли мы... В аккурат, как лягушки: болото высохло, и мы во все стороны поскакали.

Вскоре отряд переправился чрез реку Сакмару и вступил в Башкирию. Здесь Овчинников стал чрез башкирцев разыскивать затерявшиеся следы Пугачева.

Весть об освобождении Яицкого городка уже не застала генерал-аншефа Бибикова в живых. Он успел получить известие об освобождении лишь Оренбурга и Уфы. Паладив напустенне на действующие в крае многочисленные группы восставших и на главные силы Пугачева, генерал-аншеф решил перебраться в центр событий. Для окончательного успокоения края Бибиков создал несколько отрядов, составивших вторую, тыловую линию, передал команду этими отрядами князю Щербатову и выехал из Казани в Кичуевский фельдшанец. Далее он переехал в Бугульму. Дорогою он простудился, в Бугульме болезнь его усилилась, опытного врача возле него не было, и он слег окончательно.

Из Бугульмы Бибиков отправил Екатерине через силу написанное прощальное послание. Между прочим, он сообщал: «Поспешил бы я, всемилостивейшая государыня, прибытием моим в освобожденный ныне Оренбург, если бы приключившаяся мне жестокая болезнь меня здесь не остановила, которую в такое изнеможение приведен, что не имею почти никакого движения, едва только могу приказывать находящемуся при мне генерал-майору Ларионову, который, повеления мои подписывая, в разные места рассылает...» 9 апреля Бибиков скончался. Екатерина очень сожалела о его кончине. Однако глубоко переживать эту утрату она была не в состоянии: вся ее душевная деятельность была в это время направлена к возвышению генерал-поручика Григория Александровича Потемкина, своего нового кумира.

На этот раз сердце и разум Екатерины шли рука об руку, она в своем выборе не ошиблась: Григорий Потемкин представлял собою персону крупного государственного размаха.

Во время переворота 28 июня 1762 года, то есть двенадцать лет тому назад, когда Екатерина была возведена на престол, Потемкин принимал в перевороте участие в качестве всего лишь вахмистра конной гвардии. После этого он был замечен императрицей, стал ей лично известен, быстро пошел вперед по службе. Вскоре Екатерина писала ему: «Вы умны, вы тверды и непоколебимы в своих принятых намерениях. Мне кажется, во всем ты не рядовой, по весьма отличаешься от прочих».

На заседаниях Большой комиссии в

1767 году, в Графовитой московской палате, камер-юнкер Потемкин являлся представителем интересов инородцев. Двадцать два депутата башкирцев, татар, калмыков и других народностей выбрали его своим защитником. В следующем году он был пожалован действительным камергером, стал часто бывать на придворных куртагах, вел остроумные беседы с Екатериной.

Князь Григорий Орлов усмотрел в этом «марьяже» прямое посягательство на свое личное достоинство. Хотя фаворитом Васильчиковым он и был отодвигнут на задворки в сердце коварной императрицы, хотя, невзирая на все попытки, он и не надеялся восстановить былой взаимности с Екатериной, тем не менее он продолжал жить во дворце и пользоваться покровительством ее величества. И вдруг новое неслыханное вероломство... Он почувствовал себя в высшей степени оскорбленным и устроил Екатерине «шпину ревности». С присущей ему бесшабашной прямолинейностью он не удержался бросить:

— Ну, матушка, либо я, либо этот мастодонт со стеклянным глазом! Выбирай.

Екатерина только вздохнула. Она предвидела подобный оборот дела. Но какой же тут может быть разговор... Не будь Гришеньки Орлова, она была бы, может статься, не самодержавной императрицей, а всего лишь регентшей при малолетнем Павле. И теперь ей ничего не оставалось, как под разными благовидными предлогами на время удалить Потемкина от своего двора.

Не принадлежа ни к одной из враждующих партий — ни Орлова, ни Панина, — Потемкин, будучи человеком военным, решил повянуть себя делу начавшейся Турецкой войны. Вскоре состоялось повеление Екатерины: «нашего камергера Григорий Потемкина извольте определить в армию», — писала она графу Захару Чернышеву.

Под руководством фельдмаршала Румянцева Потемкин сразу же зарекомендовал себя выдающимся военачальником. В крупной битве при Фокшанах генерал-майор Потемкин, по свидетельству Румянцева, «был виновником одержанной тут победы». Почти на протяжении всей войны Потемкин, командуя крупными отрядами, то отражал атаки турок, то разбивал их армии. Так, 12 июня 1773 года, подходя к крепости Силистрия с кавалерией и легкими войсками, он опрокинул неприятеля, «отнял весь лагерь и артиллерию всего турецкого корпуса, выведя его из города Осман-Пашою».

Фельдмаршал Румянцева назначал Потемкина на самые ответственные места как человека энергичного, с отличной военной репутацией. «Со всей охотой, — отвечал Потемкин, — желаю я исполнить волю вашего сиятельства и с радостью останусь, где угодно будет меня определить». Всю осень Потемкин прорвался со своим корпусом против Силистрии, почти ежедневно бомбардировал крепость, отражал вылазки, наносил туркам превеликий вред и страх.

И вдруг... неожиданное собственноручное письмо императрицы:

«Господин генерал-поручик и кавалер! Вы, я чаю, столь упражнены глазением на Силистрию, что вам некогда письма читать; и хотя я по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирская, по тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предпринимаете ничему иному предписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав это письмо, можете статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие вам имею отвечать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна».

Потемкин тотчас догадался, «к чему сие письмо писано», и, бросив все дела, в январе 1774 года прибыл в Петербург, затем в Царское Село, куда случайно в разгар зимы выехала Екатерина, и был принят ею с честью.

Полтора месяца спустя Потемкин был пожалован в генерал-адъютанты «ее императорского величества», то есть облечен наивысшим доверием женщины-императрицы.

С этого момента начинается «царствование» Потемкина или, вернее, его соцарствование с Екатериной.

Счастливая Екатерина не преминула поделиться своей радостью с Библиковым, которому в то время было вовсе не до этого.

«Во-первых, скажу вам весть повую, — писала ему императрица. — Я прошедшего марта 1 числа Григория Александровича Потемкина, по его просьбе и желанию, к себе взяла в генерал-адъютанты, а как он думает, что вы, любя его, тем обрадуетесь, то сие к вам и пишу». Заканчивалось письмо так: «А я, глядя на него, веселюсь, что хотя одного человека совершенно довольного около себя вижу».

Бибиков получил это письмо за три недели до смерти. Он только головой покачал на сердечные несвоевременные причуды «всемиростивой матушки», и приступ лихорадки у него обострился.

Граф Сольмс в депеше королю Фридриху II писал: «При дворе начинает разгтырваться новая сщца интриг и заговоров. Императрица назначила генерала Потемкина своим генерал-адъютантом, а это необыкновенное отличие служит признаком величайшей благосклонности, которук он должен наследовать от Орлова и Васильчикова. Потемкин высок ростом, хорошо сложен, но имеет неприятную наружность, так как сильно косит. Он известен за человека хитрого и злого, и поэтому выбор императрицы не может встретить одобрения».

Граф Сольмс отчасти был прав. Обе партии — великого князя Павла Петровича, во главе которой стоял граф Никита Панин, и партия братьев Орловых, — были поражены каждая по-своему и недовольны новым выбором.

Но, с другой стороны, хотя Потемкин и стал твердой ногой между штригующими партиями, однако он счит для себя удобным временно перейти на сторону Никиты Панина. Потемкин прекрасно понимал, что Никите Панину приятно все то, что способствует уменьшению власти Орловых и влияния князя Григория Орлова на Екатерину.

Вскоре, к обоюдному удовольствию Потемкина и Панина, между Екатериной и Григорием Орловым произошла окончательная размолвка. Он и его партия запротестовали против необычайно быстрого возвышения Потемкина по служебной лестнице. Так, 5 мая Потемкину было повелено заседать в государственном совете, 30 мая он назначался помощником графу Захару Чернышеву в звании вице-президента Военной коллегии, а 31 мая — генерал-губернатором Новороссийской губернии и главным командиром войск, там поселенных.

Словом, ревность и оскорбленное достоинство переполнили чашу терпения Григория Орлова, и между ним и Екатериной произошло нечто более простого объяснения, а скорее горячее столкновение, после которого Орлов был так расстроен, как его еще никогда не видали. Он вынужден был просить позволения удалиться на пять недель в деревню, что ему и было разрешено.

Павсагда освобожденная от Орлова, Екатерина писала Потемкину: «Только одно прошу не делать — не стараться вредить кня-

зю Орлову в моих мыслях, ибо я еще почту за неблагодарность с твоей стороны... Он тебя любил, а мне они друзья — я с ними не расстанусь».

Вскоре выехал из дворца и последний неудачный фаворит А. С. Васильчиков.

«Г. Васильчиков, — писал Роберт Гунтинг графу Суффольку от 4 марта 1774 года, — любимец, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыни. теперь заменен человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы овладеть тем и другим в высочайшей степени».

В дальнейшем Потемкин назначается командующим всей легкой кавалерией и всеми казачьими войсками, влияние графа Захара Чернышева сходит на-нет, он педает в отставку. Президентом Военной коллегии вместо него становится Потемкин.

И почти все дела по борьбе с пугачевским восстанием (с конца августа 1774 г.) переходят в руки этого человека.

5

Петербург был в радости. Петербург то-пдело получал с востока ободряющие известия: главная армия мятежников разбита под крепостью Татищевой, Пугачев из Берды бежал, Оренбург освобожден. Правительство было почти убеждено, что сила восстания сломлена, остается лишь успокоить население и переловить отдельные мятежные шайки, лишённые общей между собой связи.

Поэтому, назначая после копытных Бибикова главнокомандующим князя Щербатова, Екатерина определила ему возглавить лишь военные, действующие против Пугачева силы, а все административные дела, в том числе и усмирение бунтующего населения, предоставить губернаторам, каждому в своей губернии. Таким образом, неограниченная власть, которою обладал Бибиков, была у нового главнокомандующего изъята. В Казани к тому времени скопилось сто семьдесят колодников-пугачевцев, в Оренбурге — до четырех тысяч семисот. Нужно было торопиться снимать с них допросы. И поэтому, вместо одной были образованы две секретных комиссии, одна в Казани, другая в Оренбурге. Дополнительно отправляя в эти комиссии новых офицеров, Екатерина в своем указе, между прочим, писала, чтоб они «при допросах по тайным делам ни малейшего истязания не делали». А между тем в самой столице, охраняя престол Екатерины и не без ее, конечно, ведомз, свирепствовал

во-сю обер-секретарь Сената палач «кнуто-бойник» Шешковский.

Уезжая из Казани в Оренбург, князь Шербаков доносил Екатерине, что в Казанской губернии «волнование народное совершенно прекращено и бывшие в предательстве — в законном повиновении находятся». Такого же мнения был и престарелый Брант.

Однако в казанских краях было не так уж спокойно, и «волнование народное», погаснув в одном месте, внезапно вспыхивало в другом. Между городами Мензелинском и Осое свободно бродили мятежники. Против них Брант отправил секунд-майора Скрипичина. Другой отряд под командой Берглина преследовал восставших башкирцев по реке Тулве. Тысячная толпа их отошла к северу и бродила по Пермской провинции, в Красноуфимске «колобродили» казаки, поджидавшие к себе Салавата Юлаева, скитавшегося с башкирцами за рекой Уфой.

Как только генерал Мансуров занял Яицкий городок, ставропольские и оренбургские калмыки с женами, детьми, скотом, в числе шестисот кибиток, бежали в сторону Башкирии на соединение с Пугачевым. После нескольких упорных стычек с правительственными отрядами калмыки всякий раз разбегались, но снова сходились вместе. Около двух тысяч калмыков были достигнуты и разбиты на переправе через реку Тэк. От полного пленения они спаслись чрез хитрость своего предводителя Дербетова. В разгаре боя он приказал зажечь степь. И вот степь за клубилась огнем и дымом. Ветер шел на солдат и казаков. Преследующий отряд стал задыхаться в дыму и пламени и вскоре, спасаясь от гибели, разбежался. Калмыки той порой перебрались через реку и пошли по самарской линии уничтожать мелкие крепости и форпосты. В конце концов высланный генералом Мансуровым из Яицкого городка значительный отряд стал преследовать Дербетова. Калмыки, спешко отступая, бросали на пути усталых лошадей, верблюдов и даже своих жец, спешили укрыться в вершинах Пргиза. Произошел бой, многие калмыки попали в плен и были отправлены в Оренбург; раненый их вождь Дербетов дорогою умер.

Тем временем князь Голицын, получив известие о бегстве Пугачева в Башкирию, сформировал для преследования мятежников два сильных отряда генерал-майора Фреймана и подполковника Арпеневского.

Подполковник Михельсон, освободивший Уфу и пленивший Зарубина-Чикю, был застигнут в Уфе ледоходом. Он намеревался

выступить к Симскому заводу, где, по его мнению, бродил Белобородов с тысячной толпой и неподалеку от него Салават Юлаев с тремя тысячами башкирцев. Михельсон рассчитывал, уничтожив эти бунтующие сборища, повернуть к Белорецкому заводу, куда будто бы направился Пугачев.

Наступившая распутица значительно задерживала движение всех правительственных отрядов.

Военачальники — Шербаков, Голицын, Мансуров и прочие, разъединенные между собой пространством, раскинув каждый на своем месте топографическую карту, судили и рядили, каждый на свой лад, куда бы выслать им воинские отряды, дабы как можно скорей и успешней окружить Пугачева, попутно пресекая на местах волнение народное. Но беда военачальников заключалась в том, что сам Пугачев был как бы прикрыт шапкой-невидимкой — где он, кто с ним? И военачальникам волей-неволей приходилось бороться с ветром, с пустошой, с неуловимым призраком. Вся эта естественная в тех условиях неразбериха была на пользу Пугачеву, позволяя ему осмотреться и усилиться.

Мы знаем, что вместе с Кинзей и остальными своего воинства Емельян Пугачев направился из села Ташлы в Башкирию. По дороге он получил известие о занятии Уфы Михельсоном и пленении Чики-Зарубина.

Как ни старался Пугачев взбодриться, это ему не всегда удавалось. Легче, кажется, перелить потерю отца, матери, нежеле лепиться таких своих верных помощников, как Падуров, Шигаев, Горшков, Зарубин-Чика, Ваня Почяталин, старик Витешнов и другие. Сердце его томилось, однако на людях он держался бодро. И выходило это не потому только, что он того желал, но, главным образом, потому, что люди были для него как подпора одинокому дубу в бурю. Чем больше верных людей вокруг, тем крепче, спокойней сердцу.

— Не унывай, детушки! Не клони головушек своих... Весна идет, а там и летичко. Бог велит, во здравии будем с победой...

Небольшой Вознесенский завод, куда они прибыли, встретил царя-батюшку с честью. Чтоб снова «поставить на колеса» свою Военную коллегию, лишившуюся нескольких руководителей, Пугачев пожаловал в секретари казака Шундеева, а в новытчики — заводского мастерового из хорошо грамотных раскольников — Григория Туманова.

Чернобородый, приземистый, с большими глазами и широкими крылатыми поздрами, Туманов сразу внушил к себе доверие Пугачева.

— Горные заводы наши рады будут, что вы припожаловали на Урал, батюшка,— было первым словом этого человека.— И помощь вам окажут в людях и в оружии.

— Гарно, брат Туманов, гарно! Да ведь и я так разумею. Люди заводские из крепких крепкие. Довольно присмотрелся я к ним. Да вот беда: как сражение, так и отхватят у меня сотни две. А пошто так? Ан дело-то, видишь ли, выходит просто... Как ошибка, мужики-то помажут дубинками да и бегут врассыпную, как цыпята. Ну, а заводские, те до последнего бьются: кои ранение получают, кои смерть, а нет так в полон. Эх, кабы не они, заводские, да не казаки-молодцы, не выдюжить бы нам. Ась?

— Справедливы ваши речи, батюшка.

Повелением Пугачева новые чаены коллегии составили указы башкирским старшинам и заводскому населению о наборе вооруженных людей и о присылке их в стан государя.

Пугачев, забрав на Вознесенском заводе годных для службы людей, перешел на Авзяно-Петровский завод, покоренный прошлой зимой Хлопушей-Соколовым. Здесь он осмотрел тринадцать отлитых для него чугуновых пушек, поблагодарил рабочих людей за старание, выдал им денег, а некоторым, как например, дяде Митяю, и медали.

Вешая медаль на грудь дяди Митяя, Пугачев говорил:

— Я тебя помню. Ведь ты у меня в Берде был. Сказывал мне про тебя Хлопуша, как ты с медведем да с капрамом бился в тайге. И про то сказывал Хлопуша, как ты у старца праведного в землянке жил. А теперь вот ты главный здесь.

— Твоим велееньем, батюшка... Стараемся...

— Служи!

Прихватив с собой часть людей, провиант и сено, Емельян Иваныч двинулся дальше, к Белоречному заводу. По причине весеннего безлоржья пушек он не взял, приказав доставить их в армию при первой возможности.

В Белоречном заводе пугачевцы провели всю пасхальную неделю. Первые два дня праздника было влосыт попьято-погуляно. Затем Пугачев с горячностью взялся за дело. Кой-как налаженная Военная коллегия

продолжала с помощью старшины Кинзя Арсланова рассылать по Башкирии манифесты и указы. Отовсюду начали стекаться башкирцы, татары, заводские люди, калмыки, казаки, беглые солдаты. Емельян Пугачев приступил к комплектованию и устройству новой армии. Ему усердно помогали в том Андрей Горбатов, а равно и полковник Творогов.

Однако после Берды с Твороговым начало твориться что-то неладное: он принялся по часту выпивать, даже под выговор батюшке себя подвел.

Заметно Творогов стал охладевать ко всей этой азартной игре в войну, к этой страшной, но заманчивой затее. Эх, видно сам черт бродил его в руки батюшки. Сидеть бы Творогову со своей разлапушкой-женой в собственном, крепко налаженном доме, ведь недостаток у него не малый, ведь он сотник был, а вот на, вот видишь, что поделалось. Ради каких это выгод он обрек себя на опасную скитальческую жизнь? Любям во вред, своей безрассудной голове на пагубу. Мало ли у них сгинуло паролу: где Шигаев, где Падуров да Горшков Макся, где Витошинов с Ваней Почиталиным. Эх-ма!.. Да и Стеша... Улавить бы ее, непутевую, только жаль... ведь она к его сердцу живой кровью приросла... Ну, допустим, батюшка есть прирощенный царь-распарь, Творогову-то от этого не легче, нешто Творогов не знает, что Стеша вот как ублажала батюшку; и наводно согласна бы уйти к нему... Не зря же при всей любви его к изменнице Иван Александрович сколько раз принимался колотить, трепать за длинные косы вероломную, ветреную Стешу. Да... Только тринадцать два года ему стукнуло, а глянь — в черные кудри его стала вплетаться седина, и весь молодецкый вид его начал как-то блекнуть, как в знойное лето степь.

Однажды в минуту душевного волнения подвыпивший казак непрошено вломился в хибарку Горбатова, взял его за рукав и, задвигав бровями, молвил:

— Слышь, офицер, ваше благородие. Душа у меня чегой-то закачалась, сон пропал. Ответь по правде истинной: царь ли батюшка?

— Что ты, Иван Александрыч! — с возмущением вскинул Горбатов свое открытое чистое лицо, обрамленное волнистыми белокурыми, подрубленными по-казацки волосами.— Без сомнения, царь... В противном случае ужли ж я пошел бы за ним? Самый доподлинный Петр Федорыч.

— На мою статью, ежели он, верно, Петр Третий уйти бы ему опять к римскому па-

же в сокрытие... Тогда и мы бы разбрелись по домам. А то ему и нам худо будет.

— А ты почему же, скажи-ка, пошел за государем?

— Я? А по глупости!.. Овчинников с Горшковым подзудили — иди да иди... Ну, а ты пошто из офицерского звания шриник к мужичью?

— Отнюдь не по глупости, Иван Александрыч. Я так сказать...

— С высокого барского ума? — насмешливо и раздраженно перебил его Творогов, потеребившая свою темную бороду.

— Ну уж с барского, — обиженно проговорил Горбатов. — Просто душа потянулась к государю, поскольку он свое знамя за бесправный народ поднял.

— Стало, народ ты пожалел? — Серье, хитрые, глубоко посаженные глаза Творогова ухмыльнулись. — А мне сдается, на вольную жизнь потянуло тебя, как осу на мед: власть поест да попить, в весельи марьяж с девками позабавиться... Вот ты из голодного Оренбурга-то и метнулся в нашу шайку... А теперь вот...

— Что?

— Подал в стаю, лай не лай, а хвостом вилай!

Горбатов неприятно прищурился на Творогова.

— Обидно мне от тебя слышать это, Иван Александрыч! Ей-ей, обидно. Ведь ты Военной коллегии судья и должность главного писаря по сей поры правинь. Нешто не ведомо тебе, что я выпиваю редко, а девки мне и на ум не идут? Да и зазорно было бы свою голову класть за такое добро... Ведь головы-то наши считаны, Иван Александрыч, расплаты не избежать нам. Ну что ж, ведь на это мы и шли, с тобой... Так ли?

В офицерскую избу вечерние сумерки заливали. На столе склянка с чернилами, два гусиных пера, песочница, исписанные листы бумаги — списки новоприбывших: кто с чем пришел, есть ли конь, каково вооружение. Творогов, все время стоявший возле офицера, покачнулся под ударом его слов — «не избежать расплаты», сел на скамью, опустил голову. Выдохнув и раз, и два, он уныло сказал:

— Все в гору, в гору с батюшкой-то лезли, а теперь под гору бежим... Дерьмо наше дело, собачье дерьмо на лопате... От веселой нашей игры эвот я сесть зачал, — казак уставился напряженным взором в пол, омерзненное лицо его окаменело.

— Не печалуйся, Иван Александрыч, на нашем пути еще не одна гора и не одна удача будет. Силы напомним, по России с дымом, с грохотом пойдем! А крестьянства там, в России-то, да всякого обиженного люда великое множество... Пусть простой народ знает, что и у него есть заступники, что он, бездельный, может голову поднять да правды себе потребовать. Наше дело взбудить спящих, внушить им это. Понял ли меня, Иван Александрыч?

Творогов вскочил с места.

— Ты, господин Горбатов, точь-точь как Падуров говоршь... Эх, ни в ком в вас правды настоящей нет, ни в ком! — выкрикнул он, насутился и, не простившись с хозяином, быстрым шагом вышел вон.

На улице рабочего поселка, во дворах, на огородах и за пределами Белорецкого завода почти та же картина, что и в Берде. Пестрые толпы народа, верблюды, кони, спящие сквозь сутемень златогривые костры, говор на разных языках, крики, смех. У костров казаки вприсядку пляшут.

Двигается шагом конная сотня башкирцев, лошади вопотели, над ними легкойное облачко, они притомились в быстрой, нещадной дороге.

— Эй, котора место бачка-осударь? Кажя дорога! — вопрошает вожак башкирской сотни.

С презрением поглядывая по сторонам, чинно и лениво шагает по дороге караван навьюченных верблюдов. Калмыки и киргизы, шумно перекликаясь, ставят свои «дюрты» из серой кошмы и решетчатых щитов, сколоченных из деревянных реек.

Четверо конных казаков, в их числе палач есаул Иван Бурнов и Ермилка. Вот они разъезжаются в разные стороны, останавливаются у каждого костра, громко возглашают:

— По приказу его величества завтра с полден в поход!

Ермилка, подбоченившись, трижды играет в трубу, трижды возглашает. Он любит красоваться. На правой его руке золотое обручальное кольцо. Перед великим постом поил Иван венчал их с Ненилой в церкви. Ненила теперь пишется: «казацкая женка Ненила Педоскоккина».

Отец Иван, не отстававший от пугачевской толпы, на масленой неделе «соскочил с зарубки», снова ударился в пьянство, пропиал обе пары сапог, подаренных ему Ванькой Бурновым, тот поучил его кнутом и пригрозил повесить. По все обошлось благополучно.

Итак, над Уральскими горами предвесенние подыхают звезды, всюду немая, от земли до неба, тишина: птица не взлетит, собака не взрехнет, все погрузилось в непробудный сон — завтра выступать. Все живое спит, но по окраинам и прч дорогах дозорят люди: где-то и, может быть, очень близко, коварный враг скрадом бродит, а где он, кто он, никому не вестно: то ли князь Голицын, то ли Мансуров с Деколонтгом, то ли Михельсон?

Карауль, казак, не больно-то любуйся звездами небесными, не клонит на грудь отпетой голыш своей, не верь могильной тишине — она обманна, чутко лези ухом каждый шорох, каждое дуновенье ветерка: из ветра родится буря.

Три всадника: Кипзя Арсланов, Горбатов, Чумаков под лунными звездами едут проверять дозоры.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пугачев на Воскресенском заводе

1

Как только узналось, что царь-батюшка пришел Малые Ярки и приближается к Воскресенскому заводу, все рабочие люди с детьми и бабами высыпали на дорогу версты за две от заводских построек. Народ бежал, шел и ехал из деревни Александровки, что стояла у больших прудов за плотиною, а также из рабочего поселка, расположенного внутри завода.

Поселок, состоявший из немудреных хибарек, среди которых, впрочем, выселись и банирские, изукрашенные резьбой избы, расставшая от земляного вала с деревянной стеной до так называемого канала. Хотя, в сущности, это не канал был, а небольшая речка Тора. У самой заводской стены речка была запружена плотиной, получилось многоводное озеро — «скбп воды», а дальше, в пределах заводского участка, речку Тору выпрямили, слов берега ее в бревна и доски, — получилась канал.

Еслили залезть на высокую сосну, можно видеть, как вся заводская площадь, огражденная земляным валом, разрезана каналом на две части: на одной — рабочий поселок, на другой — управительская усадьба, контора, заводские мастерские, склады и прочие во имя воскресения христовы, отчего и завод назван Воскресенским. На самом же

канале стояли две воддействующие мельницы — лесопильная и мукомольная. Ни в рабочем поселке, ни даже в управительской усадьбе не было огородов, да и вообще на всем заводе не имелось никакой растительности — ни деревца, ни зеленой травки, и единственная сосна была мертвая. Эта пустыльность участка — результат тлетворного действия смертоносных газов, изрыгаемых «домашними» и «штыковыми» горнами. И сами люди, жившие в поселке, не мало хирели от газов. Испитые, бледные, с лихорадочно блестящими или вовсе потухшими глазами, они были физически еще сильны, но оставляли впечатление людей болезненных, как будто на солнечном Урале никогда не ласкало их горное солнышко.

...Народ бежит, бежит, навстречу царь-батюшке и выстраивается по обе стороны тротуа. Весь снег давно ушел в землю, деревья обтрясло ветром, на дороге старая хвоя, шлак, угольная пыль, песок.

— Едут! — дружно заорали парнишки.

Показались желанные гости. Впереди полсотня казаков со значками-хоружками, за ними, окруженный близкими, сам царь-батюшка на крупном жеребце в наборчатой сбруе, возле него распушенное большое знамя. А позади — казаки отдельными сотнями, башкирцы и прочее войско. В хвосте — далеко растянувшийся сбес. И лишь только показался царь в ороем зеленом суконном полукафтаны с позументами, толпа с криками приветствия ослепилась на колени.

— Встаньте, ребяташки! — крикнул Пугачев. — Вот я, царь ваш, прибыл проведать вас, нуздицу вашу посмотреть, каково живете. Не теорит ли вам, рабочему люду, утеснения. Ведь я своего человека поставил над вами, Якова Антипова.

Лица у всех просияли довольными улыбами. Раздалась бодрые выкрики:

— Яковом Антипычем мы не обижены. Тухлятиной он, как додрезь бывало, не кормит нас.

— И жалованья он, Яков-то Антипыч, не денежечке на день набросил. И харч подешевле супротив прежнего опускает.

Слезать с коня Емельяну Иванычу помогли рыжебородый с хохлатыми бровями Яков Антинов, доставленный управлять заводом, и мастер-литейщик Петр Сысов. Емельян Иваныч приложился ко кресту, принял хлеб-соль от двух пригехих тестей, пошутил с ними, затем спросил:

— Далече ль до завода?

— Да версты полторы, царь-государь. Ишь из-за лесу дымок валит. Ну-к там.

— Гарно. В таком разе я пешком пойду. Поразматься... А на моего коня,— усмехливо прищурившись, проговорил Пугачев,— посадите какого не то старичка почтенного. Кто из вас самый старый-то?

— Да старей нашего батюшки, отца Пятфила, никого нетути.

— Отец Пятфил, садись,— сказал Пугачев.— Ермилка, подмогни попу вскарабкаться...— и пошагал по дороге.

Маленький попик, не сразу поняв в чем дело, вытаращил глаза и со страху пошатнулся, затем, когда Ермилка, схватив его в охапку, стал подсаживать, попик закричал, а как сел в седло, расплылся в самодовольной улыбке.

Слегка придерживая левой рукой саблю, Пугачев шел своей сильной и легкой походкой столь быстро, что люди едва поспевали за ним. Пойдут, пойдут да вприпрыжку.

По плотной, утоптанной перед заводом дороге раздавался дробный цокот кованых копыт и звяк оружия: то мерно двигалась пугачевская конница. Вот начался обоз: прехал фаэтон с какими то красотками, возы сена, несколько телег с мукой и крупой, тарантас с Нешпой и расстригой полком Пьяном. Пьян курит трубку, поплевывает на дорогу и правит лошадей. Он в трезвой полосе теперь и на все руки мастер: приводит новых людей к присяге, поминает убитых в сражениях: — «Помыни, господа, во царствян твоём нашего казака-воина Сергея, нашего есаула-воина Митрофания, нашего убиенного атамана-воина Андрея». Помыная их в молитвах, он упирает на слово «нашего», дабы в небесах не произошло путаницы, не сменили бы там за великими делами душу какого-либо галицынского злодея, с праведной душой павшего за веру, царя и отечество, скажем, атамана Андрея Витовитова. Помыная он также на кухне, учит Ермилку и Нешпу азбуке, чистит парю-батюшке средку, ловит для царского стола рыбу.

Загудел, залялся, рассыпался по всему лесу медный трезвон колоколов и вслед затем грянул с заводской батареей пушечный выстрел. Завод торжественно встречал своего заступника, по-царски.

После Пугачев ходил с атаманами и отцом Пьяном в баню, да после бани отдыхал, Андрей Горбатов готовился читать государю подробный доклад о заводе. Он побывает в канцелярии, рассмотрел там планы, указы, побеседовал со старыми штабс-герами, затем,

уже вечером, направился в управительский дом, где остановился Пугачев.

Дом был хороший, просторный, в лапу рубленный из кондовых сосен. Пугачев со своими ближними поместился в небольшом, но уютном зале. Под потолком бронзовая люстра, на столах и по стенам бронзовые же подсвечники, кеткеты, шалцады — все эти отличные, тонкой работы, вещи были отлиты здесь же, на заводе. Большой, из латуни, в виде вазы, самовар, тоже местного изготовления, пускал на столе пары и шумел, как сухой вешик, когда им с усердием метут полы. Пугачев с атаманами и Кинзей Арслановым, держа зажжённые в полсвечниках свечи, столпились возле висевшей на стене картины. Они звонко хохотали, отпущали чудаковатые словечки по поводу изображенной на облаках голой красотки.

— Слышь, Чумаков,— прыская в горсть, плутил горбоносый Овчинников.— Да уж потоя ли это духовная? Вишь, развалилась, и лезая ножка у нее кабудь покорооче...

— Ты тоже брякнешь,— притворно обидчиво возразил Чумаков, уткнув в грудь широкую с просадью бороду.

— А до чего гладка, до чего гладка! — восторгался Творогов, рассматривая картину.— Не ушлепнешь...

— Я видел девуку,— проговорил хмурый усатый Данилин,— ну так та горазд по-здоровше этой будет. Она щекы да шюю жирем смазывала, ее, вишь, застращали, что, мол, кожа лопнет...

— Стой! Я знаю, кто это срисован,— сказал Пугачев, освещая картину свечей.— Это либо Асраксина графиня, либо Строганова Танька в пьяном положении. Я их зывал. Их, бывало, приденут, преденут, а они все с себ до нитки промотают, пагипш и стоят по неделе в горнице. Вот те и графини!

— Нет, государь,— сказал вошедший Горбатов.— Здесь изображена богиня Венера... Вот и серпик месяца в ее волосах запутался. Это из греческой древней религии.

— Верно, верно! — вскричал Пугачев.— Я в Греции бывал, и у турецкого султана. Да вот, послушайте.

Все обратили улыбочивые взоры к Пугачеву. После баньки, после сытой трапезы, а впереди — самовар кинит, настроенне у батюшки хорошее, уж он что-нибудь да «отчубучит». Когда на душе у Емельяна Иваныча спокоебно, он мог порассуждать о великих занятых в его жизни приключениях. Он при этом так искусно перемеживал

бывшее с небывшим, правду с вымыслом, что подчас и сам удивлялся, сколь складно получается. Впрочем, подвирал он с умом и на пользу дела. Удивленные слушатели или иззаправду верили его рассказам от слова и до слова, либо только притворялись, что верят, и все же в немалом восхищении думали: «Хоть батюшка иным часом и плетет лапти с подковыркой, а под конец, глядишь, и на всамделишную жизнь повернет, людям на поученье... поистине, у батюшки ум густой, охватистый».

Вот Емельян Иваныч поставил подсвечник со свечой на стол, подбоченился и, не спеша расхаживая по горнице, начал:

— Как-то заходим мы с султаном к нему в гарем, оба выпивши. Ну, там всякие цветочки, дерева разные произрастают, маленькие попугайчики перепархивают с веточки на веточку, а султанские жонки в водоеме плавают, аки белорыбьяцы. И показывает султан пальцем: «Вот, говорит, вчуже самодержавское величество, Петр Федорыч Третий, взгляните на это мое сокровище, главную жену-супругу. Поступила она, говорит, ко мне трех пудов весу, и кажинный год, говорит, по пуду набавляет, а живет семь лет у меня в гареме и вес имеет десять пудов без трех фунтов». Вот султан команду подал ей: «Вылазь на сухое место!» Как она из воды вылезла, да трепыхнулась, так у меня, верите ли, аж в голове круженье сделалось. Поцеловал я султана в маковку и спрашиваю по-французски: «Как это, ваше султанское величество, могло стать, чтоб молодая красотка таким пышным телом обросла?» Султан отвечает: «А чего же ей, ваше самодержавное величество, белые телеса не растить, ежели она проснетя, в водичке поплавает, полбарапа умрет, кофлем запыет, да опять набокковую». Ну, султан, копешпо, старый, я молодой. И спознался я с ней ночью, стражу подкупил. «Откулов ты сама-то, красавица, будешь?» — спрашиваю ее по-французски. А она мне по-русски: «Я, говорит, не понимаю, чего вы, ваше императорское величество, допчете...» Тогда я на русскую речь перетолмачил. Она отвечает: «Я, говорит, девушка Федосья, а теперь Фатма называюсь, двалпять два года мне, и весу тяну пять пудов три фунта, а не десять пудов, султан наврал вам».

«А как же ты, разнесчастная, попала сюда?»

«А я, — говорит, — крепостная крестьянка распроклятого князя Голицына; он, говорит, злодей, променял меня султану на двух туркинь да на эфиопа с халдеем, да

еще ученого журавля о трех ногах в причащу выпросил, вроде чуда».

Тут она причмокнула меня и горько заплакала.

«Ах, говорит, ваше императорское величество! Вызвольте меня отсель. Хоша тут и распрекрасно, хоша султан меня ни разу за волосы даже не трепал, иначе шибко я по Расеюшке тоскую, по отце-матери, по роду-племени. А как вспомню про леса, да про березки белые, про малых пташек за соловушку, сама же своя, руки на себя чаложить готова... Ой, спасите вы меня, спасите!»

Я тут едва передохнул, даже жалко мне ее стало. Говорю ей:

«Лишь бы мне снова престолом завладеть, я бы Голицыну князю ноги из слынь повыдергал».

А она мне:

«Ой, повыдержайте ему ноги-руки, уж очень шибко тиранит он крестьян своих, чтоб его лихоманка затрясла!»

— Да уж не тот ли это Голицын-то, ваше величество, что под Татишевой супротас вас шел? — спросил Овчинников, присаживаясь к самовару.

— А кто же? Он и есть! — подмигнув, воскликнул Пугачов. — Голицын-то один у паряцы, князь-то. Оп, собака, этот самый Голицын-Рукавицын дознался, что мы за крестьян стоим, вот и полез на нас. Мы ему бжак кость поперек горла. А солдатне-то своей набрехал про нас — мы-де разбойники, народ грабим. Те с дуру и поверили!

Затем все уселись за стол. Овчинникова разливал по расписным гарцнеровским чашкам чай. Ненила притащила пышек да густого меду.

— Ну-ка, ваше благородие, докладай, что да как? — обратился Пугачев к Горбатову. — В коем году завод-то обособан?

— В тысяча семьсот сорок шестом, государь, — ответил Горбатов, раскинув пред собою неписанный им лист бумаги.

— Стой-ка уже... Слышь, Яков Аптатов, — сказал Пугачев своему ставленнику. — А где приказчик Петр Беспалов, коему мы, помнится, указы стали?

— А его, батюшка, повесить довелось, — встав и поклонившись государю, ответил рыжебородый, рослый, корнуспый Яков Аптатов.

— Чем же он не угодил тебе? Делу нашему, что ли, прилежен не был?

— Не токмо пиколкой пользы не приписал, но делу вред творил! Стакнулся он, приказчик-то, с немцем Мюллером, главным при заводе шихтмейстером и мехашком, да

и принялся бронзовый сплав, что для литья пушек, портить: не ту плеворцию олова в медь давал. Чрез что изъян получался и делу пагуба: как поставят отлитую болванку на станок да учнут сверлить стволину, весь сплав в раковинках да в трещинках.

— Как дознались, что изъян сплаву был от неверной плеворции? — спросил Пугачев.

— А сам Беспалов показал... Как присудил народ покончить с ним, он на колени, да и ну каяться.

— Народ, говоришь, присудил-то? — вскринул Пугачев головоу.

— Народ, народ, ваше величество! — воскликнул Яков Антипов. — Весь работный люд... Уж очень большая охота была у мастеров да работников угодить тебе, царь-государь, пушек да мортиров-то поболее отработать...

— А с немцем Мюллером как? — прищурив правый глаз, по-строному спросил Пугачев.

— Сохранили Мюллера мы. Хоша народ щурив правый глаз, по-строному спросил ли.

— То-то же, — и Пугачев с шумом передокнул. — Немца, ежели он знает дело, обласкать надо. Покличьте-ка его.

Побежали за Мюллером. Антипов сказал:

— У него, у немца-то, голова дуже смекалистая... Ведь по его плантам пушки да мортиры-то делались, кон перекидным огнем палат. Правда, что не он один, а с ним вместех другой знатец работал, наш...

Явился тучный шихтмейстер Мюллер. Он нес перед собой тугой живот, полнотный толстыми ногами в клетчатых коротких штанах, шерстяных чулках и грубых башмаках с медными пряжками. На плечи небрежно накинута, тоже клетчатая куртка-распашонка. Лицо круглое, наливное, глазки плутоватые, с усмешкой. Длинные рыжие волосы на концах завиты в локоны. В зубах дымит трубка. На холу немец задыхается. Вошел и со спесью небрежно кивнул головой.

— Здравствуй, Карл Иванович, — произнес Пугачев, возмущившись на немца.

— Мой — Генрих Мюллер, — хрипло промямлил мастер, не выпуская из рта трубки.

В русских придворных делах он разбирался плохо, однако знал, что Екатерина свергла Петра III с престола. А вот ныне будто бы свергнутый царь снова появился и ведет войну против парницы. По крайней мере, так толкуют заводские работники, но главный приказчик Беспалов когда-то говорил ему, что оный человек, обложивший со своим сбродом Оренбург, есть беглый каторжник,

лжецарь Пугачев. Мюллер поглядывал на Пугачева и гадал: кто он?

Пугачев в упор с любопытством и строгостью посмотрел на немца. Тот несколько поежился, стал усиленно попыхивать трубкой.

— Умешь по-англицки, Карл Иванович? Либо по-гишпански? — приосанившись и покручивая ус, спросил Пугачев.

— Нет, Генрих Мюллер говорит только по-немецки и маленко по-русски.

— В таком разе балакай по-русски, как умешь, — сказал Пугачев, скользя взглядом на Горбатова, внимательно следившего за разговором. — Отвечай, знаешь ли, что я — Петр Федорыч Третий, царь всея России?

— Нет, не знайт, — шотряс головой и щеками немец.

— Ну, так знайт! — с сердцем сказал Пугачев. — А когда этак мне русский человек отвечает — не знаю, мол... Так я, чуешь, приказываю тому человеку голову рубить! — И Пугачев пристукнул ребром ладони по столу.

Позади Емельяна Ивановича стоял широкоплечий Идорка, увешанный кривыми ножами, и свирепе смотрел в густо покрасневшее, щекастое лицо немца. Мюллер явно испугался слов царя и задыхливо произнес:

— Мой голова рубить не можно есть... Голова Генрих Мюллер подданный великий король Фридрих Прусский.

— А ты, иноземец, не фырчи... Петя, мотри, у меня недолго и с перекладной спознаться... Тогда узнаешь, чей ты верноподданный... Ты, с Беспаловым сговорясь, вред чинил моему императорскому делу... — сказал Пугачев, пронзая Мюллера суровым взором.

Немец, хорошо понимавший по-русски, открыл рот и покачнулся. Затем выхватил из рта дымящуюся трубку и, выбив ее о каблук, поспешно сунул в карман. Лицо его вытянулось, окаменело. Подметив его замешательство, Пугачев сказал помягче:

— Ну, Карл Иванович, как ты угодил мне своими пушками, кон под Оренбург присланы были, а все твои вины передо мной прощаю. Пушки новые есть?

— Есть две пушки, два мортир, кайзер-цар...

— Приготовься назавтра пробу учинить. Иди, Карл Иванович.

Генрих Мюллер, потеряв спесь, шаркнул ногами вправо, шаркнул влево, дважды прыткнул каблуком, изогнулся корпусом вперед, подобрал брюхо и с подобострастием на лице попытился в дверь.

Все с веселостью заулыбались, поглядывая на «батьюшку».

2

— Ну, Горбатов, докладывай теперь, — приказал Пугачев офицеру.

Заглядывая в свои записи, Горбатов начал:

— Итак, Воскресенский завод был основан тридцать лет тому назад симбирскими купцами братьями Твердышевыми. Этот завод, как и многие заводы, стоит на башкирской земле. Вынытав у простодушных башкирцев, где имеется медная руда, они облюбовали возле этого места огромный участок земли, ни много ни мало, как в пятьдесят тысяч десятин, с медными богатствами и высоким строевым лесом. За всю эту землю они умудрились заплатить хозяевам ее, башкирцам, всего четыреста рублей, то есть меньше одной копейки за десятину.

— Во-во! — проговорил Пугачев, обжигаясь горячим чаем. — Мне об этом самом и полковник Шадунов, бедная головушка, когда-то рассказывал.

— Яман, яман, дерьмо дело! — закричал тонким голосом Князя Арсланов, и стал лопотать наполовину по-башкирски, наполовину по-русски.

Толмач Идорка переводил его речь. Князя Арсланов говорил:

— Поэтому наша башкирская и пошла к тебе, бачка-сударь... За правдой пошла, верят, что ты обидчиков нашего народа наказываешь, а землю опять возвращаешь первоначальным хозяевам, значит, нам, башкирцам.

Пугачев подумав, подвигал бровями и, обратясь к переводчику, проговорил:

— Перетолмачь: мол, с землей дело прошлое; что с возу упало, то пропало. А то выходит, — лежит собака на сене, ни себе, ни людям... Стой, погоди, Идорка! Насчет собаки не перетолмачивай, а толкуй тако: наш, мол, завод со всеми землями в нашу государеву казну отошел, а земля для завода так и так нужна. Уж пусть башкирцы не прогневаются, им той земли хватит, кой владеют. И еще башкирцы пускай ведают, что без государевых заводов России не стоять: заводы пушки с ядрами льют, оружие стоговляют. А то придет враг с стороны и заберет всю землю — башкирскую и русскую. А без русского народа малым-то народцам где устоять? С них, с бедных, враг шкуру-то до ребер спустит, ни земли, ни лошадей, ни жилища не оставит им. Сам на

всю землю съедет и распространится. Горе тогда всем вам, малым! Будете, как желторотые птенцы в брошенном гнезде, когда орел с орлиной застрелены. Ты только покрепче подумай, Князя Арсланович, да и сородичам расскажи своим. Вот заводчики, разные там Твердышевы да Демидовы, замест пользы один вред приносили вам, обиды да притеснения сотворяли башкирскому. Этому простому. А я тебе, Князя, говорю своим великим царским словом — впрямь этого не будет. Кто башкирцев на заводской земле обижать станет, голова тому бичею рублена!

Идорка персвел. Князя, выслушав, кивнул головой, сказал:

— Якши.

— Для полного уяснения обстоятельств, — продолжал Горбатов, — надо вам сказать, государь, что башкирцы подпали под власть Москвы еще при Иване Грозном, после покорения Казани. И вплоть до петровских времен в Башкирии не было ни русских заводов, ни русских деревень. Далекая Башкирия никому не нужна была. А вот, когда Петр Первый новые порядки на Руси завести начал, тогда все круто переменялось.

Петр укреплял государство силою оружия. При нем постоянные войны шли, требовалось много пушек, много прочего оружия, значит, заводились и металлургические и железоделательные заводы. Наш торговый флот к тому времени знатно увеличился, расходы на войны были чрезмерны, довелось усилить торговлю с границей хлебом — стало быть, потребовались под пашню новые земли. У вот потянулись в Башкирию купцы вроде Твердышевых, да на ирдачу им — помещики: пронюхали они, что дикой, незапаханной земли в Башкирии много и земля та чернозем. — Горбатов сделал паузу и продолжал: — Вскоре государыня Елизавета Петровна возвела Твердышевых в звание потомственных дворян и обещала оказывать им воинскую помощь, ежели от башкирцев да от киргизов предвидена будет какая-либо бунтовская опасность.

— Эх, напрасно это, — крутил головой Емельян Иваныч. — Этакую тетюшка моя блаженные памяти, промашку допустила. По-бабски это! Тут полюбовно надо было, полюбовно, говорю. А народ на народ неча, как собак, патравливать. Она бы лучше, матушка Лизавета, вечная память преславному ее имени, указ-то издала, чтобы купцы Твердышевы мелоданные деньги выплатили башкирцам за землю сполна, по-справедливости. Да их бы, Твердышевых-то, надо было, сукных детей, не в потомственное дворян-

ство, а на каторгу! А этикие указы давать станешь, кого хошь озлобишь.

— Вы правы, государь,— вновь выговорил Горбатов.— С тех пор башкирцы возненавидели и русских заводчиков с купцами, а заодно и русских мужиков, тех самых, коих навезли в Башкирию помещики да разные предприниматели.

Пугачев расправил бороду, откинул со лба челку и, подумав, сказал:

— Идорка, перетолмачь, а ты, Кинзя, слушай... Мы решили тако, и наша императорская Военная коллегия не единожды от том манифесты выпускала — бедноте башкирской я слезы вытру, а что касаемо, чтобы русских мужиков избивать, тому строгий запрет кладу, чтобы ни-ни! Уж не прогневайся, Кинзя Арслангч. Наслышавшись мы немало, как башкирские толпы безначальные, наущаемые муллами да богатыми баями, мужиков беззастыдливых забижают... Да нешто мужики виноваты, што господя суды их перевезли, в Башкирию?

Когда Идорка перетолмачил, Пугачев, хмуро насупясь, спросил башкирского старшину:

— Поняя ли, Кинзя Арслангч? (Тот кивнул головой.) А поняя, так на ус покрепче намотай... Идорка, перетолмачь.

Горбатов, поглядывая в бумажку, продолжал:

— Предприимчивые Твердышевы принялись распространяться по Уралу все шире и шире. За каких-нибудь пятнадцать лет они открыли еще десять заводов¹.

Пугачев встал, подошел к поднимаемому Горбатову и, похлопав по плечу, сказал:

— Благодарствую. Мастер докладывать. Теперь мне все явственно. А вот что это такое, ваше благородие, в трубке-то у тебя свернуто.

Горбатов сорвал с рулона нитку и раскинул на столе чертеж пушки и мортиры, по бокам чертежа пестрела рябь мелких цифр.

— Сие есть изобретение шихтмейстера Мюллера, государь,— сказал он.— Хотя нечто подобное было, кажись, введено в нашей артиллерии еще в Семилетнюю войну.

Все сгрудились подле чертежа. Пугачев мигнул глазами в рисунок, наморщил нос, посылывал. Яков Антипов сказал:

— Не один Мюллер над этим башку-то ломал. А ежели по правде-то молвить, не

Мюллер, а наш мастер-пушкарь, по прозвищу Коза, пушку-то эту выдумал. Он знатец великий. У него два сундука разных книг с цифирью, у Козы-то... Вот те и Коза. Он и зовет себя «механикус». Только пьяница — не приведи бог!

— Где он, Коза ваш? — оживился Пугачев.

— Петути его, ваше величество,— ответил Яков Антипов.— Он, пьянь горячая, на Каму нивесть зачем подался. Нешто его, Козу, удержишь?

Чай пили с каким-то ожесточением, и вскоре самовар усох. Ермилка притащил другой — в полтора ведра — с клеймом Воскресенского завода. Стало темновато. Зажгли в люстре восковые свечи. Разговоры по смолкали.

Старый заводский мастер, литейщик Петр Сысоев — человек высокий, со впалой грудью, лицо сухошавое, скуластое, в небольшой темной бороде, глубоко посаженные глаза сильно косят, он стал рассказывать о Тимофее Ивановиче Козе.

История Козы такова. Он сын крестьянина Ярославской губернии. Будучи мальчишкой шустрым и затейливым, он зачастую играл со своим сверстником барчонок, был вхож в господский дом, затем отобран от родителей и помещен в людскую. Барчонок обучал разным наукам губернёр из отставных офицеров-артиллеристов. На уроках всегда находился и Тимошка, барин хотел вывести его в люди, чтобы иметь доморощенного механика, архитектора, садовода и вообще на все руки мастера. Но выходило так, что Тимошке наука давалась легко, а барчонок ни в зуб толкнуть. Тимоха стал по-немецки говорить и «всю рихметию произошел». Барин, присутствуя на уроках, злился на сына, что ничего не может усвоить, тряс его за вихры, давал подзатыльника, а Тимоху, за то, что отвечает бойко, без заминки, отсылал на конюшню драть.

Когда Тимохе исполнилось двадцать лет, на него начала заглядываться пятнадцатилетняя барская дочка Танечка. Одежды родители нашили у нее под подушкой тимохино письмо: «Ненаглядная, золотая, дорогая. Бежим, не бойся, будет хорошо. Бери денег. Поженимся, а после займемся к родителям. Меня избьют, выдерут и тебя также, а тут — простят. И жизнь пойдет не надо лучше». Ну, словом, что то в этом роде, сам Коза сколько раз Петру Сысоеву об этом толковал. Хоть и жаль было расставаться барину с Тимохой, а ничего не подлаешь; продал он его за хорошую цену на Веткинский завод, разлучив дочь свою с

¹ Преображенский, Богоявленский, Благовещенский, Верхотурский, Катав-Ивановский, Симский, Белоренский, Юрезанский, Усть-Катавский и Сысертский.

крестьянским сыном, а крестьянского сына с родителями его. И заделался он на заводе подмастерьем, а через четыре года мастером. Вошел в доверие. Хозяин послал его с железным товаром на Макарьевскую ярмарку. А в те поры проживал в Нижнем Новгороде великий изобретатель, механикус Булибин, самой государыне ведомый. Тимофей Коза направился к нему, прожил у него двое суток, посмотрелся всяких диковин; видел он у Булибина золотые, с гусиное яйцо, часы, им изобретенные, дивные-предивные, еще видел «электрические машины» со стеклом и трубу, длинной в сажень, луну рассматривать.

— Много Коза рассказывал о мудрости всякой, кою видел у Булибина. И книжиц охачку оттудова привез, — говорил Петр Сысоев. — Яков Антипыч, нет ли у тебя какой из его книжек-то?

Антипов сходил к себе в спальню и принес в кожаном переплете измызганную книгу: «Георг Крафт. Краткое руководство к познанию простых и сложных машин, сочиненное для употребления российского юношества. Переведена с немецкого языка чрез Василия Аладурова, адъюнта при Академии Наук, 1738 год».

Книгу полистали и Горбатов, и Чумаков с Перфильевым, и сам Емельян Иваныч.

— Ах, добро, ах, добро!.. Замысловатая книга! — восторгался он. — И картинки. Пук, а что же дальше-то с Козой?.. Толкуй, Петр Сысоев.. А ты, Творогов, нацели-ка мне еще чашечку покрепче.

— С этих пор, — продолжал Сысоев, прищуривая то один, то другой глаз, — с этих пор Коза полез в гору на Воткинском заводе, и его за большую цену купили братья Твердышевы, купили и, видя в нем старание, а от сего большую для себя корысть, в награждение дали ему вольную. И определили его на Воскресенский завод, сиречь сюда, в помощники немцу. Старший-то из Твердышевых, Иван Яковлич, хотя и совсем стариком сделался, а ума палата, он некая о процветании дела своего, и было у него устроено здесь вроде школы: ребята обучались грамоте, штейгерскому и всякому ремеслу. Школу вел немец Мюллер. Только та беда, что главных своих секретов он ученикам не передавал, чрез что хозяин был им недоволен. Поэтому он и Козу-то Тимофея к нему определил, в мыслях у хозяина было немца прогнать, а Козе препоручить весь завод. Пронюхав это, немец, проклятая душа, принялся Козу вроде как бы спаявать. И стал Коза на работу пьяненький являться. А напьется — плачет, слезами разливается, все Танечку свою вспоминает, забыть не

может, волосы на себе рвет. И было ему в те поры под сорок годков...

— А теперь-то сколько же? — спросил Пугачев.

— Теперь-ка, ваше величество, к шестидесяти подходит... И образовался он вроде как запойный: месяц работает, неделю пьет, четыре месяца на деле, два в гульбе. До зеленого змия допивался. И чрез сие соделался плотно немощен, ну а разумом, как и допреж, крепок. Хозяин, Иван Яковлевич, zelo скорбел о нем, потому — мастер золотые руки. Ему сверхурочное жалованье платил. Однако он завсегда пропивался до пятачка и все Танечку свою вспоминал, еще до сей поры жениться на ней мыслит. Мы, бывало, говорили ему: «Сдурел ты, Тимофей Иваныч... Да твоя Танечка-то ненаглядная давно старухой сделалась, а может богу душу отдала». А он: «Над ней смерть власти не имеет, Танечка ко мне, пьяному горемьке-бражнику, завсегда во образе прекрасной юницы появляется. О, мучения моя великие, о, распята на кресте жизнь моя!..» — скажет так, схватится за голову и горько-прегорько воспышет. И пам-то до смерти становится жаль его, и у нас-то зачинает в носу свербыть.

— Скажи на милость, скажи на милость, до чего прочная любовь! — рыдающим голосом поставив на стол блюдо с чаем, воскликнула Пугачев и приударил себя ладонями по бедрам. Он вдруг вспомнил недавнюю жену свою, государыню Устинью, вспомнил Катерину, с которой слушал на Каме словесы, вспомнил дворянскую дочь, ненаглядную — Лидию Харлову, замученную хриstopродавцем Митькой Лысовым, еще вспомнил, наконец, красавицу Стешу Творогову, последнюю разлуку с ней в Берте. Все милье его сердцу женщины пришли на память вдруг, как слезвишье с облаков райские жар-птицы. Вихрем кругнулись в мыслях, опалили сердце и исчезли. Пугачев вздохнул.

И все вздохнули. Под влиянием рассказа внезапно родились у всех воспоминания о счастливых днях юности, о звездных ночах, о жарких поцелуях, о горьких слезах, пролитых при разлуке с милой. Да, хороша забываемая юность, вся в цветах, вся в хмельных соках жизни! Но лучше не вспоминать о ней — она неповторима.

Часы пробити двенадцать, все принялись укладываться спать.

3

Выжав время, когда вокруг заснул Пугачев оделся и вышел. Была холодная осенняя ночь. В небе серебрился полумесяц

в окружении ярких звезд. Плавающие очертания выросших лесами невысоких увалов и приземистых гор, чуть хваченных голубоватым светом, мутно темнели вдали. Из двух медоплавильных печей валили густые клубы дыма то черного, как сажа, то желтогрязного. Из открытых дверей и окон мастерских полились мерные удары водяных молотов, звяк металла, отдельные людские выкрики, да еще слышался неумолчный шум воды, ниспадающей из обширного пруда чрез приподнятый щит плотины. Серел рабочий поселок — большая куча хат с острокопечными кровлями. В поселке один за другим горласто перекликались петухи. Из лесу заплывал лишний пронзительный писк сов и всякой ночной твари.

К заводским, окованным железом воротам входящая обоз: поскрипывали телеги, отфыркивались лошади. Забрякало железное у ворот кольцо. Привратник прокричал:

— Кого бог дает?

Из голубоватой сутемени загалдели:

— Углезюги с уголем!.. Да еще известкового камня на сорока возах. Отворий, Макарыч!

Ворота распахнулись. Обоз потянулся к окладам, часть телег стала разгружаться возле литейной мастерской. Старший обозный и еще два углезюга вошли в мастерскую, а вместе с ними пробрался туда и Пугачев. Он был в будничной казачьей сраде, с простоволосой головой. Мастерские люди — литейщики и сварщики — за недосугом встречать с народом «батюшку» не выходили и поэтому не знали, каков он из себя.

— Любопытствуешь, господин казак? — спросил его пожилой мастер в больших очках с синими стеклами.

— Любопытствую, — ответил Пугачев, — из государственной армии я.

— Не заспалось, должно?

— Не заспалось, братец.

— Слых есть — быдто царь-отец самолучно завод станет осматривать со всеми нашими фабричными.

— Похоже — будет. А ты кто таков сам-то, в какой должности?

— А сам я первой руки токарь по меди, Осиноватиков. А ныне надсмотрщиком поставлен. Я с семейством из выкликанцев, по вольному найму, из государственного экономического села. Да отойдем, казак, к сторонке, вот тут в уголке-то столик мой, я тебя молоком угощу. Желаетшь?

Они сели у засаленного прокопченного стола, возле которого тускло горел на стене масляный фонарь, стали пить густое молоко, прикусывая ржаной духмяный хлеб.

— Добреющее молоко, — начал Пугачев. — Вот и коровка у тебя. Стало, живешь в достатке?

— Две коровки, да две телки, да лошади, ну там, овцы, свиньи, куры с утками.

— Ишь ты! Должно, изрядно зарабатываешь?

— Да как сказать, — ответил Осиноватиков, снимая синие очки. — Нас в семейство шестеро работников-то: я с братаном, да два сына наших, да еще отец, да дедушка, все получаем заработку в год триста двадцать пять рублей серебром, то есть, ежели расчесть, по пятнадцать копеек на день на каждого...

— Что же, маловато тебе, ай нет? — спросил Пугачев, прищуривая правый глаз.

— Да нет, господин казак, — откликнулся мастер.

— Ну, а скажи ты мне без утайки, мастер, раз вы, рабочие люди, добропорядочно живете, так почто же себе заступивка народного поджидаете, избавителя?

— А вот пошто, господин казак, слухай, — проговорил надсмотрщик, ласково коснувшись рукой колена Пугачева. — Первым делом редкие зарабатывают, как я. А много рабочих людей получают по семь да по пять копеек на день. Так тут не до жиру. Что получишь, то и проешь. А взять коренного мужика. Хоша мужик и живет во множестве своем не вовсе голодно, однако промеж крестьянства и бедности достаточно и земли у многих маловато. Только, говорю, но об этом крестьянство думушку свою думает, а думает о том, что несносные обиды ему творятся, от коих весь мир крестьянский стонет. Мужик человеком восхотел быть, вот что!

— Верно, верно! — с горячностью воскликнул Пугачев, а надсмотрщик продолжал:

— Вот поэтому-то и бунты повсеместные, все крестьянство государя ждет, также и по заводам. Добер ли до нас, сирых, государь-то, господин казак?

— К барам строг, к народу-труднику — милостив.

В это время дверь распахнулась, раскачивая крутыми плечами, вошел управитель Антипов.

— Ну как, плавка готова? Скоро ли выпускать?

— Нет еще, Яков Антипыч, — сказал, подымаясь ему навстречу, надсмотрщик. — Часика этак через два...

— Ой, ваше величество! Так вот ты где... А мы-то тебя, свет наш, ищем, — удивленно

воскликнул Антипов, приметив сиющего у стола под фонарем Емельяна Иваныча.

— Что?! Так это кто же будет? — переуганно забубнил надсмотрщик, лицо его вытянулось.

— Это владыка наш! Петр Федорыч Третий, — торжественно сказал Яков Антипов.

Надсмотрщик суетливо подскочил к поднышаемому Пугачеву и кувырнулся ему в ноги.

4

На другой день рано поутру Пугачев с Яковым Антиповым и мастером Петром Сысоевым, заседлав коней, направились на ближайшие медные рудники, верстах в пятнадцати от завода. Рудники разрабатывались здесь открытыми шахтами от 5 до 25 сажен глубины. Пугачев видел, как руду застилают в большие бадьи и вздымают наверх на ручных «валках». Этот рудник иногда затопляло. Для водоотлива была устроена «водяная машина», приводимая в движение кошной тягой.

— Оные машины на Урале новшество. Твердышевы первые ввели, — говорил Антипов. — На прочих заводах медная руда из рудников идет напрямиком на завод. А у нас тут другой обряд, тоже Твердышевы завели.

— Какой же? — спросил Пугачев.

— А вот вздымаем на пригорок. Оттуда выдать.

С пригорка им открылся вид на широкую поляну с площадкой посредине. Площадка была черна, она походила на место пожара. Здесь производился предварительный обжиг руды в открытую, чтобы сделать ее мягкой, годной к проплавке.

— По первоначалу разжигают кострище из сушияку и в огонь руду валят, — пояснил Антипов. — Дело обжига, ваше величество, тяжелое, опасное. И работы эти зовутся «огневыми».

— При обжиге, — сказал Петр Сысоев, — руда исходит ядовитым газом, самым злобным для здоровья. Газ по земле стелется и ежели его погоняет ветерком на открытую шахту, рудничные работники с рудников бегут без оглядки... А то — смерть неминуемая.

От сернистых газов погибали не только люди, но и все живое, вплоть до птиц, пчел и растений. Вось лес, даже сосны, пихты, ель на большое пространство вокруг стояли оголенными, без листвы и хвоя.

Вернувшись на завод, первым делом зашли в плавильный цех. Здесь было жарко. Каменный цех был довольно просторен и достаточно высок. Вдоль одной из стен стояло

в ряд пять муззтых печей, они топилась дровами.

— Мы зовем их домницы, а немец называет — крумфены, — сказал Петр Сысоев.

Пылали три домны, а в две производилась загрузка. По особым, на столбах, выкатам подвозились на тачках к горловинам печей уголь и «флюс» с толченой медью, то есть «шихт». Высоко, почти под потолком, стоит работник, называемый «засыпка». Он покрывает на тачечников:

— Эй, вы, гужеды сиволалы! Шагай, шагай! А ну, падайсь! Стой, довольно шихту! Уголь сыпь!

Он командует загрузкой домны: пласт угля, пласт руды и флюсов, и снова пласт угля, пласт руды и флюсов¹. Донелзя прокоптелый, взмокший от пота «засыпка» похож на живое существо, ради озорства вымазанное жидким дегтем. Из трех топящихся печей наносит газом. От жары, газа, угольной и известковой пыли «засыпка» задыхается. Он не может высочить из цеха хоть на минуту, чтобы отдышаться на свежем воздухе — его держит на месте беспрерывный ход работы. Он ковш за ковшом пьет воду, исходя чрезмерным потом. Он жалок, хил, кашляет, сплевывает копотью и кровью.

— Слышь, Яков Антипыч, — обратился Пугачев к управителю. — И на иных прочих заводах приглядывался я к «засыпкам»; работа их, ведаешь, из трудных трудная...

— Верно, батюшка. Люди вредятся часто. Самый кренкий «засыпка» больше пяти лет не выдюжит: либо калекка, либо на погост...

— «Засыпке» да еще рудокопу в подземных шахтах — одна честь, — продолжал Пугачев, от параставшей жаричи пятясь к двери. — Я на Азянском самолично спускался в бадье — на лычпой веревке, она у них в глыбь сажен на полсотни. Люди там по штрекам да по штольням на четвереньках пслазют, как звери, а руду тятают на себе вьючно, в тележке. — Он ухватил управителя за руку, пониже плеча; управитель пежился от боли. — Как воззрился я, Антипыч, на рудокопцев-то, что середь грязи да сырости грузносе на четвереньках волокут, аж на сердце у меня захолонуло. То ли люди, то ли скотинка вьючная! А заговоришь да послушаешь любого-каждого, диву даешься: что ни слово, то — золото, ей-ей... И нет, ведаешь, промежду трудников-то этих ни ссор, ни подковырок. Одна вроде бы у всех думка — как из тьмы кромешной выкрутиться. Поднялся я на свет божий из штольни

¹ В каждую печь входило 200 пудов руды, 60 пудов флюса и 80 коробов угля.

мпей да и взмыслил: эх, вот бы народа ка-кого державе нашей, да поболее!.. — Помолчав, он сторого продолжал: — Вот что, Яков Антипич, надлежит тебе почаще сменять зыблук-то этих, на другую работу ставить их. О сем, слышь-ка, строгий наказ даю тебе. А кой покалечены в работе, тех па бездежное кормление взять, навечно... Моим царским именем!

— Сделаю, батюшка, постараюсь, — ответил Антипов.

Пугачев, видимо, волновался; он то засовывал руки за кушак, то одергивал чекмень, то оправлял па голове шапку. В цехе была шумно: гремели по крутым выкатам чугунные колеса тачек, шуршали сваливаемые в жомны шихт и уголь. Возле домниц понаделаны холодные амбарушки, там во-всю пытели две пары ветродуйных кожаных мехов. Сильная струя воздуха со свистом врывалась в поддувало, в печную утробу и разжигала угли. Через кривошипы и колесный вал мехи приводились в движение шумевшей за стеной водою, она падала на водоёмные колеса.

Людей в цехе было десятка полтора. Бородниками и венчиками они прочищали вырытые в земляном полу небольшие ямки, соединенные между собой мелкими узкими канавками. Вскоре по ним брызнет-потечет оплещакая, расплавленная медь. Все, вместе с Пугачевым, надели спиче очки, а рабочие и мастера — кожаные фартуки да кожаные геллицы. Старший мастер проверял, правильно ли наклонен желоб от печной лещадки к канавкам. Работники похватили железные лопатки. Старший еще раз подошел к одной из трех домниц, чрез слюдяной глазок всмотрелся в бушующее пламя печи, чутко прислушался к тому, как в брюхе ее гудит и клочкот расплавленный металл, и поднял руку:

— С богом, ребята! — Затем он схватил тяжелый лом, перекрестился и долбанул ломом в замазанное глиной выпускное оконце.

— Пошла, матушка, пошла, пошла! — закричал он, ударяя второй и третий раз.

Глиняная пробка вылетела из брюха домны, хлынул огненный, ослепительно белый поток. Расплавленная масса потекла по желобу вниз, в канавки, в ямки.

Мастера и подмастерья сустились с лопатами; они направляли лаву из канавки в канавку, куда нужно. Сразу сделалось вокруг нестерпимо жарко. Люди в пылу работы скакали, как козлы. Фартуки затвердели, мокрые от непрерывного пота рубахи высыхали на холоду, на них выступила соленая пыль, как иней. Пугачеву показалось, что от жару у него затрещала борода, он вскинуты-

ми ладонями заслонил лицо и попытался к выходу.

— Готово! — прокричал старший; он снова вбил затычку в спусковой продух опущенной домницы, велел замазать его глиной и поспешил ко второй пылавшей печи. За ним потянулись работники и подмастерья.

— Самое главное, знать, когда медный сплав в домнице дозрел, — пояснял Пугачеву сопровождавший его Сысоев. — Знатецы опытом чуют. Зевать уж тут не приходится, а минута в минуту чтобы. Таких мастеров-опатцов хозяева берегут, за ними даже тайный досмотр установлен, чтоб мастер не сбегал к другому заводчику да секрет свой не передал.

Один из мастеров плавильного цеха подошел к «батюшке» и низко поклонился ему.

На расспросы Пугачева мастер принялся объяснять ему, что сейчас получилась черная медь, сплав меди с железом и другими металлами. А чтоб окончательно очистить сплав от ненужных примесей, медь отправляют в соседний Верхотурский завод и там будут плавить сначала в особых печах — «сплейсофенах», а затем еще раз переплавлять в штыковых горнах. Тогда получатся бруски, или «штыки», чистой меди. Затем раскаленные докрасна штыки будут класть под тяжелые водяные молоты и расплющить в «доски» весом до пятидесяти фунтов.

Тем временем ко второй печи начали потягивать висевший на цепях, перекинутых чрез блоки, огромный каменный ковш с двумя ручками и «рыльцем». Подошедший мастер сказал:

— Теперича сплав не в землю станем пускать, а в тот вон ковш. Как наполнится он до краев, переведут его воп к тем глиняным формам, к опокам. Это для пушек болванки будут. Трое суток остывать им, а потом в сверлильный цех потянут стволину делать. Сплав этот из меди очищенной с примесью олова — бронза.

Пугачев попросил напиться. Ему подали подсоленной воды.

— Это пошто же с солью? — спросил он.

— А чтобы жажда не столь долила, — пояснил Сысоев. — Соли-то, ишь ты, даже много из человека от жарини выпаривается, ну так недостачу-то и надбавляют внутрь о водичкой...

Вышли на улицу и направились в невысокий, но довольно просторный кричный нех. Пугачев здесь оставался недолго,ковка железа была ему знакома по другим заводам. Все-таки он посмотрел, как многонудовые молоты, приводимые в движение водою, обжиг-

мают железные крыцы¹. И здесь стояла нестерпимая жарница. Люди с опаленными бровями и бородами, с раскрасневшимися, как бы испеченными, сухощековыми лицами и слезящимися глазами, ловко и проворно перекладывали клещами раскаленный добела металл, подставляли его то одному, то другим боком под молоты. От удара молотов брызгали во все стороны огненно-белые искры пагара и окалины.

— Ну, батюшка, а вот это моя фабричка... Здесь-ка твоей царской милости пушки изготовляем,— сказал Петр Сысоев, ввязав Пугачева с Антиповым в сверляльно-обделочный цех.— Уж я тут останусь, спожину тебя, а то недосуг — работка-то не ждет.

Мастерская рублена из пихтовых бревен, стены голые, прокоптелые. Три широких застекленных окна давали пухлый свет. На сверляльном станке была укреплена бронзовая ствольница для пушки, над ней трудился широкоплечий мастер Павел Греков с окладистой русой бородой и длинными волосами, схваченными чрез лоб узким ремешком. Когда Пугачев стал приближаться к мастеру, он нажал ногой/деревянный на ремнях привод, вал со ствольницей заработал вхолостую.

— Здорово, друг мой! — поприветствовал мастера Пугачев.

— Здрав будь на много лет, царь-государь! — гулко и вятно ответил тот, низко поклонившись.

От крайнего окна, где был стоя с раскинутым на нем чертежом, отделился немец и, неся вперед себя своей раздувшийся живот, подошел к Пугачеву.

— О, кайзер-цар, кайзер-цар! — восклицал он, пыхтя и кланяясь Пугачеву.

— А, Карл Иванович! Ну, как дела? Скажи-ка, сколько пушек послано мне было да голубиц с мортирами?

— Мой — Генрих Мюллер, кайзер-царь, Мюллер! — с гордостью пристукнув себя в грудь, ответил немец, и на щекастом крупном лице его проступила обида. — За пять месяц Берда отлит дванасать пушек, три мортира, два хаубиц и трех тысяч ядра, гранат.

— Верно, а таперь?

— Новый работать трех пушка, этта — четверти, этта — шяти, — ответил пихтмейстер Мюллер, тыча пальцем в ствольницу и в бронзовую болванку, которую четверо работников подымали на станок. — Шестой пушка готовый, на улочка, питаенье будет ему при вас, кайзер-цар...

— Ту пушку Коза Тимофей мастерил, по

это расчеленню... — сказал Антипов. — А Генрих Мюллер только помогал ему.

— Я мастерил! Мой пушка! — снова приударил немец себе в грудь и по-злему посмотрел на Якова Антипова.

— Ладно, учини пробу, — сказал Пугачев.

...Новая пушка на высоком лафете стояла за чертой завода, на берегу пруда. Возле нее толпились казаки, башкирцы и прочий пугачевский люд. Тут же рассматривали пушку Андрей Горбатов, Овчинников, Чумаков, Творогов. С башкирцами, сидя на коне, беседовал о чем-то Князь Арсланов.

Когда Пугачев, сопровождаемый немцем и Антиповым, быстрой своей походкой приблизился к толпе, народ дружно обнажил головы. Антипов! объяснил Пугачеву, что пушка должна пальнуть чрез завод и чрез войт тот лесок прямо в известковый сарайчик, отсюда невидимый. До сарайчика расстояние умерено жеженой цепью и равняется двум верстам ста сорока саженьям. Пугачев сел на коня, вместе с Князем Арслановым смахал туда и, осмотрев сарайчик, вернулся. Возле сарайчика — два «глядельщика»; они сгорюнились за сделанным из плитняка укрытием. Пушку зарядили по указанию немца, количество пороха отмерял он сам на весах. С правого бока пушечной ствольницы, возле «казенной части» была приделана медная дуга в четверть окружности, разделенная на девяносто градусов. А к ствольнице был приделан «указатель», при подъеме и опускании дула он ходил по окружности и показывал градус подъема ствольницы над горизонтальной плоскостью. Немец дал наклон ствольнице в двадцать четыре с половиной градуса. По жеженому плану местности пушка заранее была поставлена так, что она, церковь и сарайчик находились на одной прямой линии. И если взять направление выстрела через крест колокольни, а дулу пушки придать правильный уклон, то, при удаче, ядро должно обязательно, ударить в сарайчик.

— Можно пальять скоро-скоро невидим жел... Лафай скоро! — скомандовал немец.

Пушка стрельнула чрез завод, чрез крест колокольни, чрез лес. Эхо раскатилось по горам. Вот прискакал на коне «глядельщик» и сказал, что ядро «прожужжало» над их головами и пролетело выше сарайчика.

— Да насколько выше-то, парель? — спросил Антипов.

— А кто ж его ведаст, може на сажень, може на двадцать саженьев, а може и на два лаптя... Как знать... Только что чик-в-чик не вдарило.

¹ Крыца — железный брус.

Немец слушал, разинув рот и двигая бровями. Вдруг (от пруда видно было) к управительскому дому, звеня колокольчиками, подкатила таратайка. Сидевший в ней человек что-то кричал и размахивал руками. Затем полез из кибитки, оборвался, упал, с усилием поднялся, посмотрел по сторонам и, завидя на берегу пруда большую толпу, пошел на нее с громкими криками. Весь народ устремил на него свои взоры. Кто-то в толпе оказал:

— Да ведь это Коза прибывши... Ишь его из стороны в сторону мечет.

Невысокий человек в черном одеянии то бежал, то шел, то частенько падал.

— Он, он!.. Тимофей Иваныч это... — раздалось в толпе.

И, действительно, вскоре стало все отчетливей доноситься с ветерком.

— Я Коза! Тимофей Коза! Встречайте! Коза-дереза приехал!.. Прозвище Коза!.. Я Коза, а вы люди-человеки... Коза приехал!.. Я Коза! Прозвищем — Коза! — беспрерывно, как одержимый, резким и тонким голосом кричал он, приближаясь.

Пугачев со своих глаза глядел на него, оглаживая бороду. Навстречу Козе двинулся Антипов.

— Я Коза, Коза! — продолжал кричать тот, не переставая. — Вы люди-людинами, а я Коза! Прозвище Коза!.. Врешь, немецкая твоя образина, я сам механикус! — взмахнул он рукой, его круто бросило в сторону, он упал. — Я Коза!.. Любое число... могу в зензус и в кубус возвести. На-ка выкуси, Мюллер!.. Ты Мюллер, а я Тимофей Коза... Русская!..

К нему подбежал Яков Антипов, поставил его на ноги, стал что-то говорить, указывая в сторону Пугачева. И видно было, как механикус заплотенно взмахнул руками, нетвердым, но торопливым шагом приблизился к пруду, сбросил с себя свитку и шляпу, прижал к холодной воде на колени и суетливо стал окачивать лысую свою голову. Антипов меж тем встряхивал, чистил его свитку.

И вот перед Пугачевым остановился протрезвевший механикус. Он — низкорослый человек, лицо костистое, широколобое, с темными, глубоко посаженными глазами; в них светился ум и затаенная скорбь. Пугачев с любопытным вниманием всматривался в чисто бритое исхудавшее лицо его и хмурил брови.

— Я Тимофей Коза, твое величество! — выкрикнул механикус и, держа шляпу подмышкой, поклонился Пугачеву. — Прости, отец!.. В ноги тебе не валюсь, не чирюбык

царям кланяться всемо. Цари бо царствуют, вельможи господствуют, рабы стонут-воздыхают, пресмыкаются. А я, горький, того не желаю — я сам себе царь!

— Царь, друг мой, всякие случаются, — возразил Пугачев, глядя в упор на механикуса. — Одни, верно, царствуют да бражничают, а есть и другие, кои и труждаются, страждут.

Механикус опустил взор в землю, лысая голова его склонилась. Пугачев участливо сбросил его:

— Пошто ты пьешь, Тимофей Иваныч? Мастер ты, слышать, отменный, а этакое погубление себе чинишь. Званье свое марашь. А ведь ты не мал человек на белом свете...

— Обида, обида твое величество! — закричал Коза и закаплялся. — Убери перепраду с земли, тогда брошу. Чья пушка? Моя пушка! А немец говорит — его пушка... Вот он в небо вдарил, а я в сарайчик тот, защуря глаза, влелю.

— Мой пушка! — брызгая слюной, закричал немец.

— Ну, ладно, твой так твой! — более спокойно сказал механикус. — Ты ее по моим исчислениям слелал, а выдумал ее я, Тимофей Коза. Полгода сидел над чертежами. Для турецкой войны старался.

— Мой пушка! — снова запальчиво воскликнул Мюллер, натирая брюхом на механикуса.

— Царь-государь, дозволю! — отодвигался от немца, заголосил Коза, и крикнул пушкарям: — А ну, ребята, заряди! — Он бросил шляпу в руки малайки-башкиренка, достал из кармана измызанную записную книжку с карандашом и спросил Антипова о расстоянии до сарайчика.

Тимофей Коза, морща лоб и двигая бровями, делал в книжке пужные расчеты, бубнил себе под нос: — Я и субстракцию знаю, и что есть радике знаю... Зензус, кубус...

Он замолк, проверил свои исчисления, присвистнул, всмотрелся в показатель на дуге, выкрикнул:

— Враки, немец! Траектория неверна. Двадцать три с четвертью градусов надо, а у тебя, чорт некованный, двадцать четыре с половиной.

Все с нетерпением ждали выстрела. Пугачев, покусывая усы, прищуривал то левый, то правый глаз. Коза перевел показатель, закричал:

— Пали!

Ударил выстрел. Пугачев сказал механикусу.

— Слышь, Тимофей Иваныч. Все едино —

утрафишь ты, не утрафишь ли в цель — ты люб мне. Хочешь вольной волей идти в нашу императорскую армию — иди, рад буду... Только до пряма говорю тебе: пьянству положи зарок. Не люблю я в деле пьянчужек...

— Зарекаюсь, царь-отец, зарекаюсь! Сей же день пить брошу. И в армию к тебе явлюсь. Авось, мимо нареченные невесты моей путь твой предлежать будут... Я вживе ее почасту вижу, она, юница непорочная, до сей поры из своего сердца не истребляет меня. И я, горький, такжею верностью ей блюду и не творю блуда ниже делом, ниже помыслом своим... — Тимофей Коза говорил жарким, захлебывающимся голосом, глаза его горели безумством, испещренное морщинами желтое лицо покрылось красными пятнами.

— Брось ты нескладницу молоть, Тимофей Иваныч, — отмахнулся Пугачев. — Опамнись!.. Слышал я про юницу про твою, она старухой давно стала.

— Отец! — с отчаяньем закричал Коза и, скривив рот, заскорготал зубами. — Я думал, ты един поверишь мне, а ты — как все... Сказываю тебе, время не трогает ее, время над ней идет. До днесь Таня моя в юности обретается. Да вот и сей день, как подвезжал к заводу, она сидела у лесной опушечки, вьюнок плела. «Это говорит, Тимошенька, тебе». Вот он вьюночик-то, вот, — мехашикус, тяжело, с прихлюпом, вздыхая, достал из кармана свитки небольшой венок первых полевых цветов и помачал им пред Пугачевым.

— Едут, едут! — вдруг зашумела настроженная толпа.

Не один, а оба глядельщика, настегивая лошадепок, неслись вскачь, на злу голову орали:

— Попало, попало, ядрена бабушка!.. В самую крышу брякнуло... Вдрызг разворотило!

Пугачев слернул кафтан и накиннул его на плечи Козы:

— Премудрая голова у тебя, Тимофей Иваныч, — произнес он громко, и в толпе, как бы подхватив слова его, дружно закричали «ура, ура!» Затем он резко повернулся к Мюллеру: — А ты, Карл Иваныч, ежели хочешь — валяй себе к своему Фридриху косожаные пушки ему лить... Понял ли?

Немец понял и помрачнел, как почь. Дымя трубкой и распахивая брюхом толпившийся народ, он со свирепостью покосился на Козу и грузно двинулся прочь, как медзедь через чащобу.

Емельян Иваныч всем заводским людям решил сделать угощение. Работникам были накрыты столы в двух цехах. А в деревню Александровку атаман Овчинников отправил расторопного Дубровского с двумя казаками устроить мужикам «царский обед с выпивкой».

В управительский же дом были созваны все мастера и восемь наилучших подмастерьев. Тимофея Иваныча Козу всюду искали и, к великой досаде Пугачева, не могли найти.

Стол был накрыт пышно. У братьев Твердышевых сундуки ломились от дорогой посуды. Пугачевские начальники и гости чинно ожидали появления государя. Среди подмастерьев выделялся исполинским ростом и богатырской статью молодой парень Миша Маленький. Плечи у него широленные, а кудрявая голова не по корпусу маловата. Огромный старик Пустобаев казался рядом с ним человеком среднего роста, а крижистый Чумаков — карапузиком. Темного сукна, перехваченная цветистым кушаком поддева парня была туго набита мускулами. В каждый подкованный сапог его могло бы поместиться по мешку крупы. Словно вылитый из чугуна, Миша Маленький давил ногами пол.

Вскоре вышел из соседней горницы Емельян Иваныч в ленте через плечо и со звездами. Все низко поклонились ему. Тут выступил вперед мастер-сверлильщик при пупечном деле Павел Греков. У него широкое лицо в густой русой бороде и длинные, перехваченные ремешком волосы. Он взял за концы лежащую перед ним саблю, приподнял ее вровень со своими плечами и, передавая «батюшке», сказал:

— Вот царь-государь... Это подарочек вашей милости от нашего завода, в путь дорожку тебе и во счастье. Прими, отец, не обессудь!

Пугачев взял саблю, прищурился и, рассматривая ее, заприцеливал языком. Сабля была изумительной работы. Рукоятка в густой позолоте, ножи серебряные с золотыми насечками, с вытравленным, покрытым эмалью и чернью сложным узором. Драгоценные камни, крупные и мелкие, были вкраплены и в рукоять и в ножи.

— Спасибо, трудники, благодарствую, — сказал расторопный Пугачев, продолжая любоваться подарком. — Этакой сабли я ни у Фридриха Прусского, ни у турецкого султана не видывал... Чья работа?

— Мастеров-оружейников завода Златоустовского, — ответил Греков, одергивая свою

связку стального сучья. — Твердышевы заказали новую саблю для ради подношения князю Григорию Орлову, да не заналобилась, сказывали — его место Потемкин заступил.

— А, знаю, — ухмыльнулся Пугачев и поставил саблю в угол. — У Катьки этих Потемкинских-то сколько хопь. Она ведь и сама весь свой век в потемках, как сова, жьвет, да измышляет, кого бы заколотить...

— Спаситель наш, Христос, рек: — начал поп Иван, уставясь водянистыми глазами на саблю, — «не мир я принес па землю, а меч». Вот он — меч!.. Для истребления злобствующих, для защиты праведников.

Пугачев махнул на него рукой, сказал:

— Ну, детушки, садитесь-ка потрапезовать. Эх, редко мне доводится с работным людом-то!.. Все в походе да в походе...

Стали пить здравницу за государя. Приветствие произносил Петр Сысоев. И как только закричали «ура», пещаданно грянул возле са- мых окон орудийный выстрел, весь дом встряхнулся. Отец Иван привскочил за столом и расплескал вино. Гости бросились к окну. Овчинников успокоил их. Пугачев, улыбаясь, сказал:

— Это, други мои, зовется салют, не страшитесь.

— Да ведь как, батюшка, не страшиться-то, — раздались голоса. — Время самое тревожное, по заводам начали воинские отряды рыскать. Предосторога не вредит.

Неняла с Ермилкой и стряпухой разносили блины. Полон дом напустили кухонного чаду; хотя и холодно было, довелось от- крыть окна.

Пили здравницу за государыню Устинью. Чекнулись, прокричали «ура», ждали повторного громового раската пушки. Отец Иван даже схватился за столешницу, но выстрела не последовало. Блины уничтожались во множестве. Масло, сметочки, белорыбца. Старик Пустобаев, а глядя на него, и Миша Маленький ели блины зараз стопочками, по пяти игук в каждой. Пили за здоровье наследника Павла Петровича с его супругой. Отец Иван опять схватился за столешницу и напряженно ждал, вот-вот ахнет пушка. Но и на этот раз пушка промолчала.

Завязались разговоры. Мастера наперебой отарались выразить царю-батюшке свою любовь и преданность, любопытствовали о его исходах, о здоровьи: слых прошел, что батюшка был ранен. Пугачев отвечал на все с готовностью и в свою очередь расспрашивал заводских людей о их житье-бытье.

И вот приказал он наполнить чары очищенным крепким пенником, встал (и все поднялись) и вятно произнес:

— Ну, детушки, подымаю я чарочку в честь вашу, в честь всех заводских людей-трудников, какие только водятся на белом свете. Здравствуйте, люди заводские!

Широко улыбаясь и радостно между собою переглядываясь, гости чокнулись с государем, громогласно закричали «ура». И вдруг грянула-хватила пушка. Отец Иван привскочил, лягнул ногой и опрокинул чарку. Уж вот тут-то он никак не ожидал этой окаянной пушки!.. За государыню молчала, за наследника молчала, а тут... Все засмеялись на отца Ивана, Пугачев сказал:

— Ведь ты, батя, кабудь обстрелянный, а лягаешься, как конь...

— Боюсь, ваше величество, боюсь... Сергеце у меня, как у кошки у худой.

Затем начали разносить из свежих карасей уху. На вопрос Пугачева, велико ль на заводе людство, мастер Греков, осанистый и важный видом, расправив бороду, отвечал ему:

— Работных людей у нас, твое царское величество, полторы тысячи человек мужского пола. Из оного числа — тысяча двести крепостных, они куплены Твердышевыми у разных помещиков.

— Поди, в вашей деревне Александровке крестьянство-то бедно живет? — спросил Пугачев.

— Да не шибко прибористо, а прямо сказать — бедно да грязновато, — ответил Петр Сысоев. — Хозяева-то дали им на каждую семью земляцы малую толику, да недосуг людям обрабатывать-то ее.

— Ведь с утра до потух-зари на заводских работах бьются, — сказал старик мастер с густо морщинистым лицом.

— Ну, а идет ли им плата-то? — спросил Емельян Иваныч.

— Идет, идет, — хором подхватила застеллица. От трех до семи копеек на день.

— На эти деньги жиру не накопишь, — вздохнул Пугачев. — А скажите-ка, кто же здесь, окромя вас да мужиков закрепощенных?

— По вольному найму, царь-государь, иные прочие труждаются, — ответил морщинистый старик. — Есть и государственные, и оброчные помещичьи крестьяне, городские ремесленники, башкирцы, да всякие беглые беспаспортные людишки. Вольнонаемным выкликанцам плата идет хорошая. Плотники подряжаются по двадцати пяти копейк на день.

— А правда ли, я слышал, будто бы в деревню Александровку медведи заходят? — поинтересовался Пугачев.

— Медведь-то? Еще как заходят, батюшка! — подхватила вся застольца. — Ведь Александровка-то в самой труппе торчит и тайге. Как-то медведь-набызень едва старуху не задрал, она в лачуге жила, зверь-то на крышу залез, стал крышу разворачивать, да, спасибо, Миша Маленький подошел...

— Какой такой Миша? — спросил Емельян Иваныч.

— А вот, что супротив вас сидит.

— Это я Миша Маленький зовусь, — проговорил богатырь шепелявым мальчишеским, но по росту, голосом и стыдливо прикашлянул в широкую, как лопата, ладонь.

Все заулыбались, улыбулись и Пугачев. Миша возвышался над столом горой и, обливая пальцы, смачно чавкал вкусный пирог с мясом. Все взяли пирога по дольке, по другой, а он придвинул к себе один из четырех поданных Пенилой широтов и работал над ним самостоятельно. Не пила, поглядывая на него, втихомолку удивлялась.

— Как же ты, Миша, с медведем-то? Изружья, что ли? — спросил Пугачев.

— Пет, я ружья боюсь, твое величество, — проицал дегтина. — А я его по башке стяжком березовым. Стяжок пополам, а зверь кувырком с крыши. Ну, я его за галтку. Он и язык вывалил.

— Наш Миша-то, царь-государь, — сказал Петр Сысоев, скосив оба глаза к перелоспце, — на себе коня протащить может, сажень с сотню...

— А как-то воз с медной рудой захряе в грязнице, позвали тут на помощь Мишу. Он лошаденку выпряг, сказал: «Пешто тут коню овладать», да как выпряся в оглобли, да как дернул-дернул, сразу на сухое выкатил.

— Так неужто всякого коня на себе протащить можешь? — спросил Пугачев, прищурив на парня правый глаз.

— Всякого пошу, ваше величество, — проицал Миша, досая остатки пирога. Ему услужливо придвинули баранью ногу.

— Что ж ты, друг мой, мало пьешь выпца-то? — спросил Пугачев.

— Как мало, со всеми вровень пью, — сказал Миша. — Да ведь оно меня не берет. Вода и вода...

— Ну, как это не берет. Не пила, подайка нам ковш сюда! — велел Пугачев, ухмыляясь на Мишу.

Миша Маленький вылил из графина в поданный ковш очищенной водки, долил до краев из другого графина, перекрестился и не отрываясь, припаялся большими губками пить. Пугачев, сосунувшись вперед и подоткрыв рот, смотрел на парню. И все, затаясь, взирала на него. Вот он кончил, кряк-

нул, вытер кулаком губы. Пугачев вместе со всеми громко засмеялся.

Миша исподлобья взглянул на всех своими дремучими, с шрозельню, медвежьими глазками. Затем, принявшись за баранью ногу, сказал:

— Оно, конечно, после пирожка да после блинков жажда долит, не грех жижкыцы попить... А так — водичка и водичка!

Помолчали. Пугачев задумчиво смотрел перед собой в пространство. Затем, окинув взором бодрые лица мастеров, сказал:

— Вот, други мои, о чем хочу попечаловаться... Пушек да мортир с ядрами дуже мало льете. Не можно ли, детушки, горазд поболее лить?

— Пет, надежа-государь, — подумав, ответили мастера. — Это дело многотрудное. Уж мы промеж себя еще до твоего царского приезда мозговали так и этак. И меди в достаточности петуги, а пуще всего станков рабочих нет... Оно, конечно, можно бы, да не вдруг.

— А нельзя ли, детушки, как ни то поскорейча дел повернуть, шокруче?

Пугачев всем палил чарки, ждал ответа. Отец Иван все порывался что-то сказать, Емельян Иваныч грозил ему пальцем. Мастера шептались меж собою. Наконец мастер Греков, поклонясь Пугачеву, произнес:

— По край сил своих постараемся, царь-государь. За медью завтра же спосылаем на другие заводы, да, может статься, и станки добудем. Мы, заводский народ, дружный. Приналяжем, царь-государь.

— Твое царское величество! — воскликнул отец Иван, он держался за столешницу перади опасения пушечного выстрела, а почему, что от вышивки изрядно кружилась голова его. — Царь-государь, прислушайся! Сказано бо: «Низложу сильные со престол и вознесу смиренные...» Всемли и подумай, отец наш!.. И вы, братия, подумайте, ибо все вы смиренны. А на престоле-то Катерина, великую силу в руках держащая! Пустобаев! Своим стихру, глас восьмой!

Пустобаев кивнул головой и гудко откачался. Вызывающе косясь на Мишу, он загремел басом, поп Иван подхватил усердным тенорком.

Низложу си-и-ильные со престол,
И вознесу смире-е-енные!

...И вот царский поезд прибыл в заводскую деревню Александровку. После сытной трапезы народ веселился на полянке, душой гулянья был затейливый Дубровский. Люди разбались на кучки, пили щеспи, мясы.

игры. Паря-батошку встретили громкими, дружными криками приветствия.

— Гуляй, веселись, детушки! А завтра — на работу.

— Рады постараться тебе, свет наш!

Пугачев посмотрел на борьбу татар с башкирцами, посмотрел на забавные фокусы, которыми потешал толпу Дубровский. Ребяташки закричали:

— Миша пришел! Миша Маленький пришел!..

— Что, Миша, пехтурой, никак? — спросил его Емельян Иваныч.

— Пешечком, ваше величество... Лошадки подходящей нетути. Обнаковенный коняга сразу сомлеет подо мной.

— Канат тащите, канат! Перетягу устрёмим! — шумел Дубровский.

Меж тем Миша, закинув руки за спину и чуть ссутулившись, не спеша пошел по луговинке, улыбочиво поглядывая на мужиков своими медвежьими глазками. Мужики, зная его повадку, опасливо сторонились от него: бросил он взгляд на Митродора, Митродор нырнул в толпу, взглянул на Карпа, Карп скорей в толпу. Вдруг он круто повернулся, сгреб в охапку зазевавшегося небольшого мужичка-брюхапчика и с легкостью швырнул его вверх. «Караул!» — благим матом завонил брюхапчик и упал в мягкие ладони Миши. «Ура!» — заорала толпа.

— Становись, становись к канату! — И вот десяток крепких мужиков, поплевав в пригоршни, вцепились в конец длинного каната, другой же конец схватил правой рукой Миша Маленький. Началась игра в перетягу. Миша стоял к своим противникам правым боком, немного откинувшись назад и заложив свободную левую руку за спину. Он, казалось, не делал никакого усилия, легко сопротивляясь натужливому старанию своих противников.

— Надбавь ошо! Давай ошо столько жа! — прокричал Миша.

К канату бросались на подмогу мужики и парни. Канат натянулся до отказа и дрожал, как приведенная в колебание струна. Стал слегка дрожать и Миша, его глядевшие исподобья узенькие глазки раздвинулись пошире, он покруче откинулся назад. Тут оторвался от свиты государя не утерпевший старик Пустобаев, он вцепился в канат и загалкал на весь лес:

— Ай-ха!.. Давай, давай, православные! Идауись!..

Миша Маленький сразу почувствовал богатырскую силу казака. Сдернутый с места, он, подаваясь помаленьку вперед и стараясь удержаться, пахал землю каблуками.

— Ай-ха!.. Тяни-тяни-тяни! — шумел Пустобаев, за ним дружно подхватывал народ. — Ага, Миша!.. Сдал?!

Но Миша вдруг остановился, схватил канат обеими руками, стиснул зубы и весь напряжился. Круглошеекое лицо его сделалось напряженным, злым, огромные кисти рук стали красны, как клешни вареного рака. Канат гудел, толпа противников, выбиваясь из сил, орала. А Миша Маленький все-таки ни с места. Тут откуда ни возьмись пьяненький отец Иван. Пугаясь ногами в длинной расе с поблескивая на солнце наперсным крестом, он вшаг подошел к канату, схватился за его конец и закричал:

— Низложу сильные со престола! — стал внатуг тянуть его.

Вдруг Миша весь затрясся, широко разинул рот и выпустил канат из рук. И все, кто держался за другой конец каната, разом кувырнулись вверх лаптями. В толпе взорвался хохот.

Пока шло игрище, Емельян Иваныч с Антиповым, сев на коней, осматривали деревню Александровку.

— Деревня обширная, — сказал Антипов. — Мужиков поболее тысячи сволочилося сюды со всяких местов, и народ добропорядочный. А хозяева, Твердышевы братья, вишь каких хлезов людям понастроили.

Действительно, сөренькие, подслеповатые избенки в одно оконце были понатыканы кой-как, без всякого тшания и смысла. Большинство изб стояло без труб, они топились по-черному и мало походили на жилище человека. А между тем кругом высились заросли строевого леса, уж где-где, а здесь-то вся стать быть крепко рубленным высоким хатам с расписными воротами, тесовыми кровлями. И люди жили бы тогда по-другому, в чистоте и просторе, и зазвучали бы по лесам, по заводам бодрые, веселящие душу песни. Но этим людям лишь во сне, как туманное воспоминание, грезится сытая, веселая жизнь — жизнь господ, которые когда-то продали их на чужбину. И они продолжают тянуть ярмо свое. Втайне они думают, что живут здесь временно, что, может быть, завтра погонят их в Сибирь, перебросят на другой завод или продадут другому господину. Поэтому у них нет и прицепки к жизни, и жьвут они, словно стая перелетных птиц, от весны до холодов, чтоб бросить свои постылые гнезда и лететь дальше, неведомо куда.

Пугачев глядел на эти обомшелые избенки, глядел на огромный погост, густо утыканный крестами, как донские плавни тростником, и его сердце сжималось. И потому, что больно

сжималось сердце, в голове Емельяна Иваныча крепла мысль, что дело его свято.

Обратной дорогой Пугачев со святой ехал изломом. Миша с отцом Иваном тащились на телеге, запряженной парюю. Поп, телега и ящадки в сравнении с Мишей казались игрушечными. Окруженный мастеравыми, Емельян Иваныч в праздничном настроении шел с ними беседу. Яков Антипов сказал:

— Как приедем, покажу тебе, ваше величество, одну штуку. Тимофей Коза сварганил, таясь ото всех, особенно от Мюллера. Только я один знаю.

— Да, други мои, — кивнув головой Антипову, проговорил Емельян Иваныч. — Коза немал человек, такие люди в редкость, им цены нет. Поберегать его надо. Как придет он в память, пускай замест немца становится. А этого самого Барла Иваныча, не чиня ему пушей обиды, закиньте в степь, пускай к королю Фридриху ползет, раз немец похваляется, что он есть его подданный.

На заводском дворе тоже шло веселье. Работный люд гулял вместе с ящадками казаками. Было шумно, весело, но не пьяно.

День погас. Вечерело. Яков Антипов велел слесарю прихватить инструмент, чтоб вскрыть замок на амбарушке механикуса Козы. Когда же приблизились вчетвером к амбарушке, усмотрели, что ворота в нее отперты.

— Глянь! — вскричал Антипов. — Сам Тимофей Иваныч здесь, нашелся друг сердешный...

Распахнули ворота, но Козы в амбарушке не приметили. Темновато там. Посредине громоздилась какая-то станина с небольшими пушками. Подошел Миша и всю станину выкатил наружу. Люди увидели на свету нечто неожиданное. Большой, сколоченный из байдаку и брусев деревянный круг, диаметром около сажени, лежал горизонтально на катках и легко мог, как карусель, вращаться в одну сторону — справа налево. На круге, на равном друг другу расстоянии, были размещены восемь малых пушек. Антипов залез в широкую прорезь круга и стал вместе с пушками неспешно вращать его, поясняя:

— Вот надежда-государь, смотри. Допустим, все пушки заряжены. Первая пальнула, круг маленько повертывается. Вторая пальнула, круг опять повертывается. Вот и третья. А в это времечко первую да вторую уже заряжают. А как из восьмой пальнут, уже первая снова к стрельбе готова. И таким побы-

тем, без всякого перерыва — знай себе шарь.

— Гарно, гарно! — восхищался Пугачев. — А ежели, скажем, неприятель окружил, так и зараз из восьми палить можно картечью. Только грузновата махина-то, вот беда.

— Грузновата, батюшка, — проговорил Антипов. — Возить трудно по нашим убойным дорогам. Да ведь колесо-то, впрочем, сказать, разборное.

В это время из амбарушки донесся затюшанный голос Петра Сысоева:

— Эй, суды, суды! Беда!

Все вскочили в амбарушку. В темном углу лежал ничком, не шевелясь, Тимофей Иванович Коза.

— Он, голубчик, стружками был засыпан. Я думал — пьяненький. Потолкал, потолкал — молчит, не дышет.

Тело механикуса бережно вынесли на свет, положили на кошму, стали осматривать.

— Убит, — сказали все в голос. — Глянь! Затылок-то насквозь проломлен...

Костлявое лицо убитого потемнело, глаза полузакрыты.

— Вот тебе и побережки, — мрачно сказал Пугачев, с печалью взглядываясь в лицо мертвеца.

— Не иначе — немецко это задело... Его, его! Больше некому, — проговорил Антипов.

Все обнажили головы, закрестились. Глаза Пугачева вспыхнули. Раздувая ноздри, он сказал:

— Выходит, маху мы с тобой, Антипов, дали, что загодя не повесили иноземца-лиходея. — И закричал, сжимая кулаки: — Подать мне его! Из земли выкопать! Я из него сала натоплю!

Ударили в набат. Гулянка сразу прекратилась. В Александровку поскакал нарочный. По всему поселку разыскивали немца. Обоздчики со стражниками седлали лошадей. Работная молодежь собиралась в кучки, чтоб искать исчезнувшего Мюллера.

По армии было объявлено: завтра выступить в поход. Ночь прошла в тревоге, в поисках, в приготовлениях к маршу. Была обшарена со зверовыми собаками вся окрестность. Немец исчез бесследно.

Наступило солнечное утро. Отец Панфила служил заупокойную литургию по убиенному рабе божием Тимофее. Гроб с телом механикуса стоял в церкви.

На заводском дворе собрался весь работный люд. Немногочисленная армия с обозом была вполне готова к выступлению. На видном месте стояли полторы сотни молодых работников завода, пожелавших вольной волей следовать за «батюшкой». У многих за плечами ружья. Тут же поблескивали свежие

бронзой новые, только что изготовленные пушки, запряжены они были сытыми лошадками. Впереди работного отряда Андрей Горбатов на коне.

Конца окрепло солнце, Емельян Иваныч выехал к народу в богатой сряде, с лентой, со звездой, при драгоценной сабле (подарок Воскресенского завода). Пугачев поднял руку с платком, взмахнул, и все затихло.

— Детушки! — прозвучал в тишине властный голос. — Пришло мне время шествовать дальше с воинством моим. А вы оставайтесь и мне, государю, порадейте. Поспешайте пушки лить да ядра, в них шибкая нужница у меня! По жительствовам вашим покамест не распускаю вас, воли не даю вам и не дам, куда не воссяду на прародительский престол. А как воссяду, тогда и вам новые порядки выйдут. Работное время сбавлю, жалованья набавлю, харч положу сытный. И воздыханиям вашим придет окончание (многие в толпе стали осенять себя крестом). И распусти вас по домам вашим, объявлю волю всему крестьянству во всеуслышанье. А впредь укажу набирать по заводам выкликанцев, по вольному найму и хотенью. И заводы расширю, и новые выстрою, и управлять заводами будут выбранные вами люди. Еще вот чего. Управитель ваш Яков Антипыч, по моему указу, выдаст в награждение всем семейным работникам, мужикам и бабам, по рублю серебром на человека, а холостякам по полтине. («Спасибо, царь-государь!» — дружно закричали в толпе.) Ну, детушки! Век бы жил с вами, да ничево не подекаешь: разлученый час настал. Прощайте покудод! Живите в труде и во счастье.

И заорала толпа, замахала шапками. Окруженный ближними и провожаемый народом, Пугачев двинулся в путь-дорогу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Встреча Белобородова и Пугачева.
Крепость Троицкая. Девочка Акуличка. Подполковник Михельсон

I

8 мая генерал Фрейман занял Авзяно-Петровский завод, в котором так недавно побывал со своей толпой Емельян Иванович.

Приказчиков, «как людей весьма усердных», Фрейман отправил в Табынск, чтоб «их здесь не убили», а двух человек, верных Пугачеву, повесил. Многие работные люди бежали в горы.

Дядя Митяй сплеховал, был пойман и тоже повешен. Пред смертью вспоминал старца

справедного Мартына, надеясь в простоте душевной повстречаться с ним на том свете.

Фрейман направился через Белорецкий завод к Верхне-Яицкой крепости, полагая найти там Пугачева. Где находятся отряды Деколонта и Михельсона, Фрейман не знал, лазутчики давали ему ложные, сбивчивые сведения, он шел вслепую.

Тем временем выступившему из Уфы Михельсону предстояли в пути большие затруднения. Для переправы через разлившися реки ему пришлось делать паромы, строить снеженные водой мосты. Согнанные из деревень крестьяне, проработав день, ночью убежали. Возле деревни Юрал Михельсон наткнулся на полторатысячную толпу башкирцев под водительством Салавата. Башкирцы были расположены несколькими отдельными кучками. Михельсон приказал майорам Харину и Тютчеву атаковать их левый фланг, а сам устремился против правого фланга. О происшедшем бое Михельсон доносил:

«Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли навстречу. Однако, помощью божиею, по немалым от них сопротивлениям, они были обращены в бег».

Куда же идти Михельсону дальше? По сведениям, которые никак нельзя было проверить, Пугачев покинул Белорецкий завод и направился к Магнитной крепости, Белобородов ушел с Саткинского завода в неизвестном направлении, в окрестностях Симского завода бродят толпы башкирцев со старшиной Аникой, — они шли на помощь Салавату, по создали. Михельсон разбил Анику с его толпой, привел эту местность в повиновение и двинулся к Катавскому заводу, окруженному мятежниками. Он их разбил и рассеял, атамана Сидора Зашина в «страх другим» повесил, а многочисленных пленных распустил по домам, обещая полное помилование всякому, кто явится к нему с повинной.

На подмогу Пугачеву спешил разбитый под Екатеринбург атаман Иван Наумыч Белобородов. Не покладая рук, собирал атаман людскую силу, всюду рассылал приказы, направлял башкирских и мещеряцких старшин с призывом к их сородичам, давая указания собираться людям к Саткинскому заводу. Сотнику Коновалову Белобородов от 16 апреля 1774 года выдал ордер:

«Напред всего, данным от меня тебе, Коновалову, повелением велено собрать разбегшихся и прочих казаков, явиться к соединению в один корпус. Накрепко подтверждаю — с имеющейся при тебе командою следуй ко мне.

Белобородову, в Саткинский завод для соединения, ибо и батюшка наш великий государь Петр Федорович изволит следовать в здешние края».

Отдавая такие приказы, Белобородов с точностью не знал, где в данное время Пугачев. О месте пребывания самозванца не знали и екатерининские военачальники; Михельсон послал, что Пугачев на Авзяно-Петровском заводе, князь Щербатов имел сведения, что он с башкирцами уходит за Урал, в Сибирь. Трусливый генерал Деколонг доносил, что «злодей свои отважные и отчаянные силы могутно устремляет» под Челябину на его, деколонгов, войска.

И снова — уже который раз — в правительственном лагере неразбериха, толчея, перетасовка отрядов.

Князь Щербатов из Оренбурга отправил башкирцам увещание; он, подобно Михельсону, обещал полное прощение всем бунтарям, кои оставят самозванца и придут в повиновение правительству. В ответ на это башкирцы призадумались. Они собрались на совещание, и наиболее робкие из них стали высказывать желание покориться.

Но вот появились посланцы Пугачева, они привезли с собою башкирца, изуродованного комендантом Карагайской крепости полковником Фоком. Пойманному пленнику Фок приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы.

— Вот, братья башкирцы, присмотритесь к своему сородичу! — бросал в толпу новый пугачевский повьтычик Григорий Туманов. — Оный человек, столь претерпевший от рук злодейского коменданта, был вышущен из крепости с приказом, чтобы ехал он по Башкирии и всем разглашал, чтоб, значит, превращать буйство, иначе жестокой казни никто не минует!

Изувеченный, с непомерной печалью в глазах, показывал окружившим его беснелую, еще плехо поджившую культяпку, стараясь левой ладонью стыдливо укрыть страшное, как у Хлопуши, лицо свое. Он ничего не говорил и не обливался слезами, но небритый, в черной щетине, подбородок его дрожал, и широкая грудь нахально дышала.

Чернобородый, преземистый Григорий Туманов, окинув большими глазами толпу, достал из сумки бумагу, вздернул вверх голову и вновь заговорил:

— А вот прислушайтесь, братья башкирцы, что пишет змей Ступишян, комендант Верхне-Яицкой дистанции...

И как только он начал читать бумагу, переживченную в дороге, в толпе закричали:

— Эге ж!.. Бulyно злой он!.. Шибко стра-

щает комендант-та! Знаем, знаем, и мы с собой грамоту эту тудой-судой возим.

— Прислушайтесь! — повелительно крикнул Туманов. И начал раздельно и медленно читать воззвание, останавливаясь на некоторых строках и повторяя их:

«Башкирцы! Я знаю все, что вы замышляете. Ежели до меня дойдет хоть какой слух, что вы, зоры и шельмы, ждете к себе вора Емельку Пугачева, величающего себя царем, и всей его сволочи корм, и скот, и стрелы с оружием припасаете, я пойду на вас с пушками, тогда не ждите от меня пощады: буду вас казнить, буду вешать за ноги и за ребра, дома ваши, хлеб и сено подожгу, а скот истреблю. Слышите ли? Если слышите, то бойтесь!»¹

Рядом с Тумановым сидел на коне толмач Идорка. Он резким голосом переводил прочитанное и в крепких местах угрожающе потрясал плеткой. Толпа башкирцев шумела.

«Возле Верхне-Яицкой, — продолжал Туманов, — я, комендант Ступишян, поймал башкирца Мусина с воровскими от разбойника Пугачева письмами. Письма я велел принесть под барабанный бой сечь, а тому веру-башкирцу приказал отрезать нос, уши и к вам, ворах, с сим листом от меня послать!..»

Толпа в ответ шумела еще громче.

— Но с вами ли оный Мусин? — спросил Туманов.

— Нет, бачка-начальник! — закричали башкирцы. — Зеутфундн Мусин помирл горлем себе резал, сапсем кончая. Срамно было свой наслег показаться, свой дюрта.

«Говорю вам, башкирцы, — опять поднял до крика свой голос Туманов, продолжая чтение, — говорю вам, если кто впредь будет с таким письмом пойман, велю пытать накрепко, а также нос и уши отрезать. Знайте же, воры, и ужасайтесь!»

— Смерть кудой собак Ступишян! — снова взорвалась толпа, и многие сотни башкирцев, как по уговору, вскочили в седла. — Веди нас к бачке-осударю!.. Вот уже Салават-батырь придет, вот ужко-ужко Юлай придет! Постоем за бачку-осударя! Стрелы наши метки, кони, как ветер, быстры. Степь застонет от их топота, и все супротивники будут раздавлены, как ползучие гады...

И уже, не слушая Григория Туманова, только вопили:

— Веди!

¹ Это воззвание от 4 апреля 1774 г. очень многословное, здесь дается в выдержках. — В. Ш.

Так было во многих скрытных местах, во многих еселениях. И вскоре почти вся Башкирия, раздраженная жестокостями разных Ступинских с Фоками, потянулась к Емельяну Иванычу. Так тянется к теплему солнцу освобожденная от ледяного холода весенняя степь.

К началу мая скопилось у Пугачева до пяти тысяч народу. И вот он выступил по направлению к Верхне-Янцкой дистанции, туда, где его меньше всего ожидали. Подойдя к Магнитной крепости, Пугачев окружил ее. Тем временем Военная коллегия послала строгий указ Белобородову, в коем указе: «панстрожайше определяется с получением сего тот самый час выступить и секуренировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющейся при тебе артиллериею».

Командант крепости Магнитной капитан Тихановский, при содействии гарнизона и жителей, усердно до вечера отбивал все атаки наступавших.

У пугачевцев было мало пушек. В последнем штурме вел войска на приступ сам Пугачев. — Грудью, грудью, детушки!.. Эх, тряхни!.. — подбадривал он свою рать.

В разгаре боя он был ранен картечью в левую руку. Его отвели в кибитку. Встретивший Андрей Горбатов осмотрел руку, — кость цела, — и, как умел, перевязал ее.

С наступлением ночи, разделившись на пять отрядов, пугачевцы близко прокрались к деревянным заллотам. Во тьме они зорко следили, как зажженный вражеский фитиль «подносился к выстрелу», и разом падали вниз. Затем, когда пушки выпускали снаряд, осаждающие, вскочив, мчались к заллотам, дружным натиском быстро ломали их. И к утру, после упорного боя, ворвались в крепость.

Капитан Тихановский с женой, священник и жена убитого поручика были повешены.

На следующее утро, а именно 8 мая, в стап явился Белобородов с отрядом в шесть-есть человек, главным образом заводских крестьян. Вскоре он был позван к Пугачеву в его обширную кибитку (юрту) белой кошмы, разукрашенной узорами из разноцветного сафьяна. Пол кибитки и тахта — в дорогих коврах. Белобородов с душевным трепетом подошел к кибитке. Он знал, что на него были царю доносы, что царь на него в гневе.

Дежурный Давылин при входе отобрал от Белобородова все оружие, оставив ему лишь палку с завитком, на которую тот оперся.

Белобородов еще более оробел.

В кибитке, куда он с яркого света вошел,

дремал полусумрак, мешавший прибывшему рассмотреть выражение государева лица. Он сразу же опустился перед Пугачевым на колени и уткнулся лбом в ковер. С левой рукой на перевязи Емельян Иваныч сидел в кажаном кресле. Невзирая на вчерашнее ранение, он был бодр и весел, — крепость взята с боем, а Белобородов привел шесть сотен молодцов.

— Встань, Иван Паумыч, — обратился он к Белобородову и насунил брови. — Сказывали мне, — сдѣлаться ты от меня хотел, чтобы своевольничать. Не гоже это!

— Облыжно оклеветали меня, ваше величество, — опираясь на палку, поднялся Белобородов. — Как служил вам верой и правдой, так и по гроб служить намеренно твердое имею. А это я знаю, кто это, — Шибав ¹ казак клеветает на меня.

— Верю, оп... Стало, ты не сунотвляеши мне? Не злоумышлял против меня, государя своего?

— Ваше величество! — ударил Белобородов кулаком себя в грудь. — Я весь перед вами. Верьте мне! И дозволейте молвить...

— Сказывай, Иван Паумыч. Эй, Давылин, подай-кось сюда какое нѣто стуло! Ну вст, садись, атаман, да сказывай.

Ободренный милостивым обхождением Ивана Паумыч сел, выпрямился и, опираясь на клюшку, стал кратко, но толково докладывать о всех делах своих. Пугачев попутно ставил ему вопросы, Белобородов по-умному отвечал ему на них. Беседа тянулась долго. И вот она идет к концу.

— В бытность же мою на Саткинском заводе прислан от вашего величества в помощь мне атаман из бывших унтер-офицеров, дворянин Михайло Голев. А как я увидел, что тот Голев стал делать перорячки и нянствовать, то, сковав его, отослал обратно к вам.

— Голев Михайло под Татищевой убит, — вздохнув, молвил Пугачев.

— Царство ему небесное, — перекрестился Белобородов. — А когда пришел я в Нижние Биги, явились ко мне из вашей армии два казака да атаман. Казак по тайности донес мне, что они все трое отложились от вас и прибыли ко мне с увещательным князя Щербатова указом отвращать людей от вашего величества. Тех двух — казака да атамана — я велел повесить.

— Гарно, — сказал Пугачев, и суровые складки над его переносицей распрямились.

— Вскороети после того прибыл от вас

¹ Фамилия, созвучная с фамилией М. Г. Шигаева. — В. Ш.

илецкий казак есаул Иван Шибает, он привез приказ двигаться мне под Магнитную крепость, а сам уехал обратно. Меня поддержало с выступлением разлитие рек, все дороги рухнули. Довелось ждать. И вот получаю я от жителей Шайтанского завода из вестие, что Иван Шибает в оном заводе хозяйский дом разграбил, у жителей лошадей и седла отобрал, почему я и послал следом за ним команду в сто человек поймать его и заключать. Прибыв и сам туда, я уведомился, что Иван Шибает скрывается, что он послал на меня вашему величеству рапорт, будто бы я хочу-де от вас отложиться. Тут я в гнев вошел, отрял вот этой самой ключью Шибаета Ваньку по морде и под караулом препроводил его к вам, батюшка.

Пугачев встал, обнял правой здоровой рукой поднявшегося Белобородова и по-братски поцеловал его в щеку.

— Будь и впредь верен мне, Иван Намыч, спасибо тебе за службу твою.

Он вынул из кармана большую медаль — рубль Петра Первого с припаянным ушком и красным бантом — и, наморщив нос, приколол ее на грудь Белобородова. Поймав парскую руку, тот облобызал ее.

— Давилин! — позвал Пугачев. — Подай нам с атаманом по чарке сладкой водки.

По выходе Белобородова из кибитки к нему просунулся Федор Чумаков и, оглаживая пиндюкую, как новый венчик, бороду, тайным шепотом спросил его:

— Узнал ли ты государя? Ведь в Петере-то видывал его, поди, не раз.

Щеки Белобородова вспыхнули, сердце зашевелило; помедля, он твердым голосом сказал:

— Узнал.

— Гм, — неопределенно гукнул Чумаков и подергал себя за нос.

...И — радость за радостью. Явились в стан без вести пропавшие: Овчинников, Перфильев, Пустобаев — старые верные друзья, испытанные соратники! Овчинников привел с собой тридцать янцких казаков да двести заводских работных крестьян.

Встреча была самая душевная. Емельян Иганыч рад был на особицу. Еще бы! Его боевой любимый атаман Овчинников вернулся из опасного похода цел-невредим. Все трое по очереди валились Пугачеву в ноги, спрашивали на перебой: «Рученька-то, рученька-то у ты што?» Богатырь Пустобаев, уже успевший «кляпнуть», обливался слезами. Так встречаются долго не видавшиеся любящие братья или отец с дорогими его сердцу сынами. Тут уж, хочешь не хочешь, надо было батюшку угостить и самим угоститься.

Под звездным уральским небом песни гре-

мели во всю ночь, раскатистое эхо раздольно гуляло по горам, пламенное созвездие огромных костров, — здесь сухостоя сколько хочешь, — огненными взмахами опаляло нависшую над землею плотную тьму. Пой, казак, пеллым голосом боевую песню, швыряй во все концы земли свой победный зык! Только бейся дремать, удалой казак, чутко вслушайся в мертвенные дали: враг, как сова и ячичи, крадучись, ищет тебя всюду.

Наутою был смотр пришедшим людям и торжественный прием башкирских и татарских старшин. Все они были позваны к кибитке Пугачева. Он стоял, окруженный свитой, знаменами. На нем парчевая бекеша троеклином, красные сапоги, золотая, из кованой парчи, шапка. Он обошелся со старшинами ласково, разрешил им, по их неуступному хотению, рунуть и жечь до таз крепости, чтоб не давать царцыным войскам в них обосноваться.

— Объявите верным моим башкирцам и самим ведайте, — взволнованно сказал он, — вся Башкирь будет отдана вам, яко хозяевам. И ни губернаторов, ни иного прочего начальства у вас не станет. И будете вы управляться сами собою, через выборных своих людей, коим довериться можно. Будете моего величества верными подданными казаками, и весь военный распорядок у вас насажу казачий, без солдатчины, без рекрутчины. Довольны ли, дегушки?

Старшины упали Пугачеву в ноги, а толпа башкирцев закричала:

— Урра-аа!! Само якинъ есть! Спасибо, бачка-осударь!..

Находившийся возле Пугачева Горбатов заметил ему:

— Мудрым словом, государь, одарили вы башкирский народ.

— С пародом, ваше благородие, разговор надо вести умеючи, — приняв осанистый вид, откликнулся Пугачев. — А то: будешь сладок — разлижут, будешь горек — расклюют.

Горбатов посмотрел на Пугачева с чувством большого уважения.

Белобородов и донесший на него илецкий казак Шибает помирились. Пугачев обоя содружников своих произвел в полковники. Белобородову дал он четыреста заводских крестьян и полсотни илецких казаков.

Забрав в Магнитной четыре пушки, Пугачев выступил по направлению к Верхней Янцкой крепости. Но узнав, что там засел генерал Деколонг, он обошел ее Уральскими горами.

Заняв крепости Барагайскую, Петропавловскую, Степную, а также два редута, Пугачев непокорных повесил, многих взял

плен, пополнил свою артиллерию, запаса провиантом и хлебом.

19 мая он овладел довольно сильной Троицкой крепостью¹. Крепость упорно сопротивлялась, но пугачевцы все-таки взяли ее после трех отчаянных штурмов. Комендант крепости бригадир Фейервар и четыре офицера были убиты, противные солдаты и жители переколоты копьями. Жену Фейервара башкирцы привязали к лошадиному хвосту и таскали по улицам. Жилыща состоятельных подвергались ограблению. Торговые лавки оренбургского купца Крестовникова были расхищены, а его салотопенный и кожевенный заводы сожжены.

Пугачев недолго оставался в крепости, он стал лагерем в полутора верстах от нее. Настигавший его Деколонг доносил о ту пору Рейнсдорпу: «Шельма самозванец проклятые свои силы имеет конные и неказанную взял злобу по причине полученного себе в руку блеспрования², так скоро свой марш расположил, что угнаться за ним не можно».

Сады в цвету. Луга позеленели. Уже степной ковыль — краса весны — распускает свои пышные кивера. Всюду неумолкаемый бубенчик-песня жаворонков. Воздух гудит, трепещет от их трелей. И сердца собравшихся у костров людей охвачены волнением свободы. Весна, солнце, бачка-осударь, воля! Никого нет над ними, над башкирцами, кроме царя и солнца.

А бачка-осударю, а Юлаю с Салаватом честь и прославление из края в край!

Озорные суслики, пересвистываясь, приподнимаются на дыбки, греют на солнце свои пестрые грудки, с любопытством осматривают ожившую степь. Хохлатые чибисы перепархивают с места на место и тоскливо стонут.

Лошади пасутся на густой траве, молодые кобылицы сильны, их сосцы набухли живой влагой, турсуки с крепким кумысом переходят из рук в руки.

У дальнего костра семеро заводских крестьян. Тюмин варит кашу. Мажаров с Ильиным пекут по башкирскому способу, на раскаленных камнях, житные лепешки. К костру подходит рослый белокрысый парень Дементий Верхоланцев, секретарь Белоборова. Он любопытен, как суслик, бродит от костра к костру, выщупывает настроенные людшек.

— Мир честной компании!

— Спаси бог, присаживайся. Каша живчиком упрет. Ложка есть?

¹ В 100 верстах к юго-востоку от Челябинска.

² Ранения.

— Спасибочко. По горло сыт, — говорит он, садится и раскуривает от уголька трубку. Сапоги у него начищены, рубаха новая, синяя, с кумачными ластовками, ворот высокий, на горловине семь пуговок. Опытным глазом он приглядывается к крестьянам и сразу определяет: заводские. У одних босые ноги в чирьях, суставы пальцев на руках и на ногах опухли, — это люди трудились в подземных шахтах. У других преждевременно вылезшие волосы, тноящиеся воспаленные глаза — эти работали у домниц, выпускали чугуи. Вот тот сутулый, кривошлечный надрывался у кричного молота, а эти двое с неотмываемыми, пьезденными копотью и угольной пылью исхудалыми лицами — углежог.

— С каких да каких заводов вы, старатели? — спросил Верхоланцев крестьян.

— С Златоустовского, желанный, все семеро оттоль, с Златоустовского железночугунного... А ты, чистая такой, откуль?

— Я с Билимбаевского.

— Ну, знаем. Из писарей, поди, сам-то? Фрелстай этакой, гладкой.

Еще перекинулись кой-какими словами, и крестьяне повели прерванный разговор.

— Вот я и толкую, — заговорил Тюмин, — он жидковолосый и безбровый, глаза добрые. — Пошто беззащитных людей мучать? Я воевать воюю, в драчке кого хочешь пристрелю, а чтобы беззащитных увечить, в том моего согласия нет. Совесть воспрещает! — выкрикнул он и сорвал с пламени котелок с кашей.

— Не совесть, а душа, — поправил его седусый Макарлов с острыми слезящимися глазами.

— А я тебе говорю: не душа, а совесть воспрещает разбойничать! — осердился Тюмин. Верхоланцев сказал:

— Я самолично видел, как комендантшу Фейервар то ли пьяные башкирцы, то ли калмыки к лошадиному хвосту привязали на те улицам волокли...

— Я тоже видал, — сказал Тюмин, бросая в кашу масло. — А царь-то батюшка, дозрив оное убийство, зараз запретил. А калмыка-те, мучителя-то, кажись, повелел казнить...

— У батюшки не долго с петьелькой спознаться, — шпроговорил Мажаров, — батюшка завсегда справедлив.

— Он, когда осердится, люзует, сам по своей, а несчастный да обиженный за всяк час у него заступлене сыщет, — сказал Тюмин. Он постукал ложкой о котелок и пригласил всех к каше. — Я ведь с батюшкой-то сызначала хожу. И вот, как-то по зиме, вле-туть Бердой — мимо государева жительства. Гляжу, — брыластый этакий парень, казачин,

у костра рубаху сушит, а сам голышом по зимнему времени. — «Неужели на морозе-то взойрел?» — спрашиваю его. А он мне: «Нет, говорит, не на морозе, а с батюшкой чуждый разговор имел...» Вот каков батюшка-то наш. Дай бог его царскому величеству здравствовать...

Семь деревянных ложек мелькали быстро. Проголодавшиеся заводские крестьяне глотали кашу не жевавши.

— Эвот у того дальнего костра, — сказал Верхоланцев, — слышал я, будто бы матушка Екатерина от престола отреклась.

— Истина, истина это! — воскликнул Тюмин. — Она, царца-т, на покой ушла. На покой, на покой, уж это верно. А Павел Петрович со своим дядей Георжем десять полков на помощь батюшке ведет...

— Да уж полно, так ли? — и глаза Верхоланцева выпыхнули от любопытства.

— И не сомневайся, и не сомневайся! — замаяхал на него ложкой восторженный Тюмин.

Вскоре Верхоланцев чинил подробный доклад полковнику Белобородову о том, чем живет, чем дышит его белобородовская армия.

В копье доклада Верхоланцев с особой торжественностью, задыхаясь от восторга, — вот-то обрадует полковника! — сообщил о том, что ныне-де предвидится скорая победа государя императора, что вот-вот вся Россия покорится ему, ибо царца престол передала сыну своему, а сын идет-де с войском восстановить поруганные права своего великого родителя.

Белобородов, слушая его, сначала улыбнулся, затем нахмурился и бросил:

— А п дурак же ты, братец мой...

Верхоланцев крикнул, одернул рубаху и выпучил на полковника удивленные глаза.

Ночь в лагере под Троицкой крепостью переспали благополучно. А чуть зорька в небе, примчались на взмыленных конях дзорные.

— Вставайте, вставайте! — с шумом, с криком скакали они по-мертвецки спавшему лагерю.

Засвястали медные дудки, забили из конца в конец трещотки. Сонный Ермилка, надув толстые щеки, со всех сил наигрывал в начиненную трубу, Чумаков пальнул из сторожевой пушки, — по степи раскатистые гулы пошли, суслики испуганно нырнули в норы, из кибитки выскочил в одном бельишке встрепанный, нечесаный Емельян Пваныч.

21 мая, в семь утра генерал Деколонг подошел к пугачевскому лагерю вплотную.

Чумаков с Варсонофием Перешибин-Пос и с канонирами из заводских мастеров открыли по врагу дружный огонь из пушек. А Пугачев с Овчинниковым и Белобородовым атаковали Деколонга всеми своими силами. Вначале атака была удачна: Деколонг пятился, но вскоре в его крупном боевом отряде замешательство от первого удара кончилось. Перестроив ряды и подтянув резервы, Деколонг перешел в наступление. После упорного боя нестройные толпы пугачевцев дрогнули. Первыми поскакали в разные стороны башкирцы, — их было около двух тысяч. А затем, будучи не в состоянии держаться без их помощи, и остальные силы армии — казаки и крестьяне обратились в бегство.

Пугачев был узан по перевязанной руке и по окружавшей его на хороших конях свите. Два офицера — Беницкий и Борисов — с отрядом драгун бросились его преследовать... И вот он, вот он, Пугачев!.. Беницкий был от него в каких-нибудь пятнадцати шагах, уже рослый конь Пугачева швырял копытами в лицо офицеру комьями земли с зеленой травкой... Но лошади драгун цетомились, конь же Пугачева был десьж, рысест... взмах плетки, еще, еще, — и Емельян Пваныч скрылся в густом лесу. Лес укрыл и спас от пленения не одну тысячу пеших и всадников.

Полобно дробящимся до бесконечности шарикам ругти все пугачевцы рассыпались в разные стороны. И когда будет можно, они спова стекуются к «батюшке». Они найдут его, куда бы он ни скрылся.

В этой несчастной битве потери Пугачева были огромны. Майоры Гагрин и Жолобов, преследовавшие пугачевцев, впоследствии доносили, что «лежащих мошенических трупов на четырех с лишком верстах перечесть было невозможно». В бою погибла новый секретарь Военной коллегии Иван Шундеев и новый повытчик Григорий Туманов. На глазах Пугачева оба опя с кучкой дружных заводских крестьян яростно бились с врагами. Пугачев впоследствии долго печалился об этой потере. Он давно наблюдал, что утрата среди заводских крестьян всегда наибольшая. Жалко, очень жалко их, по слава им! Они либо бьютя до смерти, либо, лптившись последних сил, попадают в пленение. Они, эти крестьяне с Уральских заводов, да еще вот прирочные казаки — первый оплот его, Пугачева, армии. Только одна беда — мало их.

Потери Пугачева под Троицкой крепо-

стью — двенадцать восемь пушек, около четырех тысяч убитых и раненых. Да еще освобождено победителями больше трех тысяч человек разного звания, в том числе дети и женщины. Все они были захвачены пугачевцами в недавно занятых крепостях, редутах, форпостах.

Печальный, но все еще твердый духом Пугачев неизвестно куда скрылся. Екатеринбургские воинские части надолго потеряли его из виду.

2

Леса. Хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедровник. Ой, солнце, как оно ласково прогревает и какой духмяный, смолистый воздух течет по узкой лесной дороге!

Меж высокими стенами густолесья едет горстка всадников. Это Пугачев со своими немногими близкими, которым удалось скрыться из-под Троицкой крепости. У Емельяна Иванаыча нет больше армии. Она разбежалась, рассыпалась по непролазным лесам и потеряла след своего владыки. Пугачев один. Возле него нет ныне армии. И хвойные леса сопровождают его загадочным шопотом: то ли удачу сулят ему, то ли пророчат конец его грозным деяниям, предрекают всякие бедствия. Ветру нет, а лес шумит-пошумливает шелковым шелестом. Ветру нет, и вет возле батюшки армии. Армии нет!

Навстречу Пугачеву попадают захудалые деревеньки в десяток-другой домков. Бродят в перелесках коровы и овцы, при них то старуха с хворостиной, то пузатенький на топких ножках парнишка с кнутом — пастух.

Вот, завидя едущих рысью всадников, мальш выхватил из-за пояса самодельный берестяной рожок и пачинает наигрывать заунывную. Он перенял эту песню от родимого дедушки. Его рожок выговаривает трогательным человеческим голосом, жалуется на что-то, о чем-то неутенно плачет без слез. Лесная русская песня берedit душу всадников, они задерживают коней возле мальчика и тоскующими глазами улыбаются ему. Эх, песня, русская заунывная песня! Играют тебя и на разгульных свадьбах и на печальных похоронах, когда правят тризну... Нет у Пугачева армии. Подольше послушать бы тебя, дивная песня, погрузить бы возле тебя, поднять с души всю горечь...

Пугачев протягивает пастушку пятак, все благодарят его за добрую игру и — дальше, дальше...

А вот движется навстречу малая девочка. Она издала похожа на крохотную

старушку-карлипу. В руках — батог, через плечо холщевая торба под куски.

— Здравствуй, девочка! — приветливо крикнул Пугачев с сядла, и всадники остановились.

— Здорово, дяденьки! — Девочка тоже стала среди дороги и воззрилась на всадников. Она — шупленький заморыш, ноги в потрешанных лапотках и руки худы, личико бледное, вытянутое, темнорусые волосы растрепались, сзади косичка. Глаза большие, серые, они оживляют лицо, делают его привлекательным. В разговоре она сдвигает брови, тогда над переносицей появляется какая-то не по возрасту страдальческая складка, и детское личико приобретает выражение большой заботы.

— Куда ты идешь, девочка? — спросил Пугачев.

— До паря иду, — охотно и доверчиво ответил ребенок. — Только не ведаю, в какой стороне парь-то живет. Велели мне до паря итти, правды-матки искать... А вы кто такие дяденьки?

— Вот я — царь. А со мной атаманы да полковники...

— Нет, уж ты, дяденька, не загибай... Врачек-то я слыхала на своем веку много...

— Ой, да и век же твой долог... Ха-ха... — засмеялись атаманы.

— А пошто же ты за паря-то не хочешь меня признать? — улыбаясь, сказала Пугачев и подбоченился; он был в простой казацкий сряде без ленты, без звезды.

— Да нешто пари такие? — проговорила девочка. — На парях злат венец и одежина из бархату... Ведь, поди, я знаю сказки-то... И про Бову-королевича знаю. Вот подай грошик, либо хлеба кусок, и тебе сказку расскажу. Дяденьки, миленькие, где же мне паря-то искать? — и девочка, крестообразно сложив на груди топкие руки, низко поклонилась всадникам.

— Царь перед тобой, — сказал Овчинников и кивнул головой на Пугачева. — Вот он — царь.

— О-о-о, — прстянула девочка и, вложив в рот палец, невоверчиво уставилась в лицо ласково улыбавшегося всадника с черной бородой, на его рослого выхоленного копя в дорогой упряжке.

— Как звать тебя?

— Акулькой звать, — ответила девочка Пугачеву. — Я сирота. Добрые люди сказали мне: иди в куски. А я спрашиваю: куда же? А они мне: иди хоть куда, везде доля худа, — проговорив так, она замигала; потупилась, из глаз ее закапали слезы.

Атаманы переглянулись, вздохнули, закру-

спине возять, давай палкой охаживать меня.

— Какой же годок тебе втапору был?— спросил Творогов.

— Сказывали, семь годов, а сейчас восьмой идет,— ответила девочка.

— Ну, а как же ты попала-то сюда из Тамбовской-то?

— А с народом, батюшка царь-государь, с мужиками. По первоначалу-то пешая шла верстов сто, а то двести, дуже волков боялась. Опосля того мужики меня подсаживали, то один, то другой... К тебе, батюшка, мужики-то правятся, тебя ищут...

Вскоре подъехали к лагерю. Сотни крестьян бежались навстречу, пали на колени. Пугачев перемолвился с ними ласковым словом и проехал к своей палатке. Акулечка покарабкалась с коня на землю. И такая тщедушная, такая несчастенькая, остановясь в сторонке, вопросительно взирала снизу вверх на могучего «батюшку». Подошедшей Нениле он сказал:

— Вот тебе дочерь наша всеобщая... Возьми к себе, береги ее. Приодень. Вишь пестрядинный сарафанишко-то на ней поистерпался как...

...И стала девочка Акулечка среди пугачевского народа самой любимой «всеобщей дочерью».

3

О разгроме под Троицкой крепостью Михельсон сведений не имел. Он лишь догадывался, что Пугачев «пугается» где-нибудь поблизости, по ту сторону Уральских гор. Поэтому на заводе он не задержался и 17 мая был уже в вершине речки Ай.

Разведка донесла, что в восьми верстах, в глубине Уральского хребта, стоит тысячная толпа башкирцев. Михельсон выслал авангард и со всем отрядом пошел вперед. Башкирцы спешились и, карабаясь по кучам, заняли высоты, чтоб задержать врага в тесном проходе между гор. Подскакав к чугуевским казакам, Михельсон крикнул:

— Поручик Замошников! Потрудитесь с эскадроном зайти неприятелю в тыл.

И полтораста сабель помчались в обход горы. Как только казаки показались в тылу повстанцев, Михельсон ударил в наступление. Башкирцы очутились между двух огней и, к удивлению Михельсона, дрались отчаянно. Когда башкирцами выпущены были все стрелы, израсходован порох, пошли в ход топоры, ножи и зубы. Бойцы схлестнулись в рукопашную. Вспоров врагу живот, вонзив в грудь нож, смертельно раненные воины валялись на землю, судорожно переплетались

руками и ногами, с визгом грызли один другого и, уже мертвыми, сцепившись в обнимку, парами скатывались с круч в пропасть. Многие башкирцы в кольчугах и в латах, сделанных из толстой заводской жести. Оставив триста бойцов убитыми, башкирцы скрылись в горах.

Михельсон двинулся к сопкам, где подбирали раненых солдат: их срок пять, да восемнадцать человек убиты. Среди них поручик Замошников, пронзенный тремя стрелами. Была вырыта братская могила, прогремел прощальный залп. Все так обычно и так просто.

Отряд выступил дальше. На сером жеребце, окруженный офицерами, ехал Михельсон.

В слободе Кундравинской, куда подходил отряд, блин па колокольне всполох, по улицам из конца в конец бегали ребятишки, орали:

— Енарал идет!.. Енарал идет с солдатней!

Слобода оживилась, как на пожаре. Бабы прятали холсты, ловили кур, гусей, старики загоняли телят, кричали парнишкам:

— Васька! Федька! Степка! Дуй па конях в лес! Да подале, в трущобу коней прячь, а то слышут.

В Кундравинскую, расположенную в семидесяти верстах на юго-восток от Златоуста, Михельсон с конвоем въехал ранним вечером: возле скворечен еще напевали скворцы, лоснясь на заходящем солнце атласным оперением, в церкви началась всенощная. Солдаты и казаки табором расположились за слободой. Задымили на лугу костры, солдаты стали таскать из колодцев воду, варить кашу, похлебку с бараниной, на воткнутых внаклон к огню кольях развесили прелые онучи, началась стирка белья. Расседланные, распряженные кони выстаивались, курясь духовитым парком. По табору шел гул, смех, перебранка и, на облатан слободским девкам, песни с трензлем и бубном.

Слобода будто вымерла. Во многих избах окна заколочены, двери приперты бревешками. Улицы пустынные.

Михельсона встретил староста Ермолай, с ним человек с десяток стариков, старух, баб и кучка любопытной детворы.

— Слышали что-нибудь про злодея Пугачева?— спросил Михельсон и слез с коня. Тотчас спешились и все конвойные.

— Был слых, был слых,— стал кланяться, сгибаясь в три погибели, чернородый староста, глаза его недружелюбны, хитры.

— А почему избы заколочены? Где народ?

— А кто же их ведает. Пыхом собрались и тягу... Уж недели с две.

— Куда же?

— Вестимо куда, к нему, к нему... Боле некуда. Вишь ты, отряд от него прибегал в нашу слободу. Отряд, отряд, кормилец... Манхвост вычитывал набольший-то: покоряйтесь-де государю Петру Федорычу, а то все жительство огню предаю... А мы, знаем, люди темные, боязливые. Вот многие и приклонились к нему.

Михельсону было ясно, что староста хитрит.

— Что ж он, злодей и преступник государыни, поди всю землю вам обещает? Подати не платить, в солдаты не ходить?

— Это, это! — в один голос ответили крестьяне.

— А бар да пачальство вешать?

— Так, так... Да ведь мы — темные. Може, он обманщик и злодей, как знать. А може и царь... Где правда, где кривда, нам не видать отсель. А ты-то как, барин, думаешь?

— Мне думать нечего, я отлично понимаю, где правда, где кривда, — все более раздражаясь, отрывисто проговорил Михельсон. — Да и вы не хуже меня это ведаете, только прикидываетесь...

Крестьяне опустили головы.

Михельсон сказал старосте:

— Вот что, староста. Ведомо мне, что у вас много добрых лошадей. Я намерен сменить своих истомленных на свежих, дабы удобнее воровскую шайку преследовать.

— Коней у нас нетути, твое превосходительство. Сами бьемся, — кланяясь, сказал староста Ермолай и часто замигал.

— А где же ваши кони?

— Конх волки задрали, а большая часть в самому уведена, европний отряд забрал. А достальных лошадушек наши утеклецы с собой прихватили.

— Врешь! — крикнул Михельсон и угрозил пальцем старосте. — Мне ведомо, коней своих вы угнали за околицу. Я тотчас покажу гусарам оценить ваш лес, искать жопей, и ежели ты, староста, и впрямь осмелился наврать мне, будешь сегодня же повешен. — И обращаясь к конвою, Михельсон бросил с небрежностью: — Сказать плотникам, чтоб возле церкви два столба с перекладиной излазили.

Тут неожиданно выдвинулся вперед древний дед Изот — во всю голову прожженная солнцем лысыя, борода с прозеленью, правый глаз с бельмом, посконная рубаха — заплатка на заплате, ворот расстегнут, на волосатой груди деревянный, почерневший от пота

крестик. Когда-то был он высок, широкоплеч, время сломало человека пополам. Наморщив брови, он с печалью смотрел в землю, будто стараясь пайги нечто драгоценное, давным-давно утерянное, чего никогда никому не отыскать. Опираясь на длинную клюшку и с трудом отдирая босые ноги от земли, дед пошagal внаклон к Михельсону. Тому показалось, что сгорбленный старец валится на него, он подхватил деду под руки. Тот мотнул локтями, как бы отстраняя помощь барина. приподнял иссеченное глубокими морщинами лицо и глухо прокричал:

— А? А? А? Ревн громчей, я ушами не доволен, глухой я. Чего ж ты? Вешать людей хочешь? А?.. Ну, дык вот меня вешай первова... Мне за сотню лет другой десяток настигает... Я Петрушу, государя моего, Ликсеняча, мальчонкой знавал. Я в Москве службу царскую нес. Опосля того Азов с Петром вместе брали. А ты кто будешь? А?

— Я слуга ее величества государыни Екатерины Алексеевны, — наклонясь и обхватив старика за плечи, громко крикнул в его ухо подполковник Михельсон.

— А-а, та-так. Слышу! — закричал дед, елико возможно распрямляя спину. — Катерина-то соромно на престол сядила, через убивство. А муж-то ейный, Петра-то Федорыч, бают, вот опять ожил... Аль не по праву тебе слова мои? Ежели не по праву — вели вешать али так убей, ты этому обучен.

Глаза Михельсона все шире, шире.

— Уведите прочь этого сумасшедшего, — не стерпев, приказал он.

Старика взяли под руки, повели. Горбя спину, он волочил ноги, как паралитик, упирался, поровняв обратный взор к Михельсону, через плечо, кричал надсадно, с хрипом:

— А ты, барин набольший, виваки, не будь собакой, как другие прочие! Мы, слышь, мертвый парод. Никто за нас не вступится. Как есть мертвяки мы все от мала до велика.

— Мертвяки и есть... — подхватили старика: — Бездыханные... Ни на эстодько вздыху жисть не даст нам. Тьфу!

Михельсон враз уразумел всю мудрость страшного слова «мертвяки», вырвавшегося с кровью из сухой глотки стадесятилетнего крестьянина. Он смуглился, стало стыдно, не знал, как вести себя.

— Коня! — велел он денщику, вскочил в седло и поехал в лагерь.

Отдернутый в сторону дед Изот все еще шумел и вырывался:

— Погодь, ироды! Не тащи! Мы, хрестьяно, может статься, навскрес мрем! Мы

навскрес хрем, вот чего... Петра Федорыч, царь государь, поспешает к нам... Воскресит нас!.. Волей пожалует. Не страшусь вас, разбойники, не страшусь!..— он рванулся, огрел солдата батоном и, потеряв равновесие, упал.

На ночь Михельсону раскинули палатку в обширном огороде старосты.

В пять часов утра разбудил его барабанный бой. На заре доносилась из лагеря хоровая молитва солдат. Михельсон вышел умываться. Денщик смазывал дегтем стоптанные сапоги своего барина. На картофельной ботве, на травах сверкала под солнцем алмазная роса. В борозде возилась с котятками рыжая кошка.

Михельсон добыл из лапца иголку с ниткой, стал пришивать пуговицу к сюртуку. В шесть часов явились с докладом офицеры, хорунжие. Все сели за общий завтрак.

— Ну, как, красная девушка, чувствуешь себя? — обратился Михельсон к прапорщику Игорю Щербачеву.

— Ничего, господин подполковник. — щеки молодого человека зарумянились, голубые глаза сияли. Рад служить ее величеству и вам...

В семь часов утра отряд выступил в поход.

4

Дорога все еще тянулась лесом. Но вот и полною распахнулись широкие поля и степи с ковылем. Вдруг все увидели: верстах в пяти, на открытом месте, темнеет огромный воинский отряд.

— Деколонг! — от радости подкочив в седле, закричал Михельсон. — Ребята! Корпус генерал-поручика Деколонга...

— Ур-ра! — заорали солдаты.

Михельсон перекрестился. Наконец-то истощенный отряд его усилится свежими войсками: ведь люди Михельсона сорок дней преследуют врага без отдыха, у многих охули ноги, иные на ходу валяются от слабости.

Подзорная труба в его руках плясала.

— Треногу! — приказал он, живо слез с коня и, пристроив трубу на треноге, жадными глазами стал прощупывать толпу.

— Не вор ли это, васкордие? — несмело заметил боролатый казак. — Сдается, что это злодейские войска.

— Какой к чертовой матери вор! — и Михельсон, чтоб лучше через трубу видеть, сдвинул шляпу на затылок. — Пугач разбит и бежал. Тут тыши две-три... Хорунжий Ценов! Бросьте подсолти в разведку.

Казачий разъезд на рысях двинулся вперед. Михельсон на всякий случай построил войско к бою.

Вдруг, к немалому удивлению всего отряда, из толпы вырвалась сотня всадников и поскакала навстречу казачьему разъезду. А вся толпа с двумя развернутыми знаменами устремилась в боевом порядке на отряд Михельсона, стараясь обогнуть его левый фланг.

— Ребята, Пугачев! — громко крикнул Михельсон, проносясь на копе перед своими войсками. — Не трусь, молодцы!

Он быстро перестроил отряд лицом к врагу, ввел в дело артиллерию, дружно загремели пушки. От пугачевцев тоже раздался единовременный орудийный выстрел.

— Очень хорошо, — сказал Михельсон адъютанту, — либо у них пушек нет, либо в порохе нехватка.

У Михельсона шестьсот человек регулярных войск, небольшую часть он отделил для прикрытия обоза.

Пушки гремели. Густая толпа пугачевцев, поражаемая картечью, ядрами, наполовину спешилась в версте от врага и, невзирая на сильный урон, бросилась на орудия, ударила в копья. Все заволочло дымом, завоняло тухлыми яйцами.

В этот миг Емельян Пугачев, в обычном сером казацком кафтане, на черном диком скакуне несся с конницей на левый фланг врага, тенористо кричал, размахивая саблей:

— Де-е-тушки! С нами бог! Кроши!

Его конница живо смяла, опрокинула команду метеряков. Те, как цыплята от стаи ястребов, с писком бежали и замертво падали.

— Пушки, пушки забирай, атаманы! Артиллерию! Кроши! — кричал Пугачев, подбадривая своих.

Но большинство башкирцев, калмыков и крестьян, видя, как дрогнул и бежит левый фланг Михельсона, уже считало себя победителями. С воинственным ревом они бросились врассыпную на обоз. Ни злобный окрик Пугачева, ни отчаянные попытки атамана Перфильева, полковника Белобородова, старшин и яинких казаков-пугачевцев задержать их, сгрудить в один кулак, не помогли: новые толпы народной армии еще плохо подчинялись дисциплине.

Опытный Михельсон, стоявший в стороне с эскадроном изюмских гусар, сразу оценил положение врага и молниеносно воспользовался этим. Встав во главе эскадрона, он приказал всей кавалерии быстро ударить по пугачевцев с разных пунктов.

— Изюмцы! — скомандовал он своему

эскадрону, высоко подымая блеснувшую на солнце саблю.— Помни присягу, изюмцы! Рази врага, лови злодея Емельку и — по домам... Кто живьем словит вора — десять тысяч!

— А где он? — неслось по рядам.— Они все на одну рожу.

— За мной, изюмцы!.. С нами бог!..

Эскадрон гусар ринулся сквозь самый дым, сквозь дробную трескотню ружей, сквозь крики, стоны, рев, прямо на отряд янцких казаков, окружавших Пугачева.

Взбешенные лошади спшиблись грудь с грудью. Ржанье, визг, блеск сабель, кровавая работа пик. Сеча была коротка. Казаки-пугачевцы оробели и, окружив своего вожда, с гиком помчались в степь.

Воздух в степи чист, ковыль-трава мягка. По всему простору, пригнувшись к шее лошадей, летят, как птицы, всадники.

— Держи, держи!.. Вот он скачет... От своих отбился...

— Пугачев!.. Пугачев!..— орали изюмцы, настегивая своих уставших лошадей.

Впереди них не вмах, а только шибкой рысью бежал рослый, черный жеребец, унося на себе широкоплечего мужицкого царя, золотую десятитысячную приманку.

— Лови! Чего ж отстали? — закричал Пугачев, осадил жеребца, круто повернулся лицом к погоне. Под обычным казацким его кафтаном голубела генеральская лента со звездой.— Эх, детушки! Видать, Михельсон плохо кормит и вас и кляченок ваших... А ну!..— и всадник под самым носом прихлынувших к нему изюмских гусар, как ветер, умчался вдаль.

Погоня злилась, изнуренные кони в мысле, выбиваются из сил. Молоденький, шустрый прапорщик Игорь Щербачев, позабыв и смерть и жизнь, дурил нагайкой свою кобылу-полукровку, голосил:

— Настигай, настигай!.. Дави его! Дуй с боев, бери наперсек!

Он всех опередил, вот-вот подскочет к Пугачеву, в руках пистолет, метит в спину — раз!

Пугачев резко повернул к нему копы, несколько секунд проскакал рядом с офицером.

— Худо, барин, целишь... А ну, чей копы быстрее! — и, распустив поводья, с гиком унесся прочь. Оглянувшись, опять приостановил копы.

На пригорке возле леса отряд янцких казаков, от которых только что отбился Пугачев, с любопытством наблюдал за своим вождем.

— И чего это он игру завел,— сквозь зубы пробурчал хромоногий Белобородов.

И громко:— А что, казаки-молодцы... Не ударить ли нам па вырчку государя-императора?

— Ни черта,— успокоил Творогов.— У него конь ученый, не дастся.

Меж тем на позициях снова гремели пушки, пуская картечь вслед пешим пугачевцам. Батареей командовал и наводил орудия сам Михельсон.

А погоня за Пугачевым все дальше, дальше. К изюмцам пристала часть чугуевских казаков. Вместе с ними скакал волонтер-поляк Врублевский. Горячий офицерик Щербачев надрывался в крике:

— Братцы! Неужели упустим?.. Нажми, нажми!

Пугачев вымахнул в сторону и, сделав по степи крутую дугу, заколесил вокруг скачущей погони.

— Детушки! — вопил он на скаку, черной жеребец храпел под ним, ярился желтым глазом.— А нет ли среди вас, детушки, барина Михельсона? Нетути? Ну, так скажите ему поклон от государя императора. Шли бы, детушки, ко мне... Я до простого люда шибко милостив!

Всадники, как охотники за волком, раздвывая ноздри, тараща закровенелые глаза, на скакивали па Пугачева, до сипоты ревели:

— Имай! Имай!.. Стрелей в коня!

Но черный жеребец, топча ковыль, копытами швыряя землю, карьером мчал по степи, как разъяренный волк. Погоня сразу осталась позади.

Зазеленели перелески, засиял огромный лес. Щербачев, с турецким пистолетом наготове, визгливо кричал:

— Упустим!.. В лес сигнет!

Его глаза безумны, кровь бьет в виски, весь мир для него пропал, и сумасшедший взор лишь неотрывно ловит дьявольскую спину врага на черном жеребце. Вот вылетел он на быстроногой кобыле далеко вперед, вот настиг ехавшего шибкой рысью Пугачева, сыпнул на полку пороху, прицелился, опустил курок. Емельян Иванович боднул головой и, повернув жеребца, стал делать коварный круг возле скачущего офицера. Бронзовое лицо Пугачева теперь взрыбилось лютейшей злобой, в черных глазах огонь.

— В царя стрелять, лиходей?! — бешено прохрипел он, задыхаясь, и приподнял нагайку.— Я те!

— Вор, вор, вор! Собака! Сукин сын! — кипятятся, горел в пламени задора обезумевший офицерик Щербачев. Но вдруг у него захолонула вся душа, по животу прошла судорога, сердце остановилось: не человек, а страшной силы зверь скачет рядом с ним.

«Назад, скорей назад!» кричали ему в уши небо, ветер, степь. Игорь Щербачев втянул голову в плечи, разинул рот, зажмурился и, леденя, весь оцепенел.

— Ха-ха! — играл с ним Пугачев, словно бот с изжеванным, полуживым мышонком, гикал, по-разбойничьи присвистывал. Стараюсь увильнуть от своего мучителя, офицерик судорожно дергал поводья вправо, влево, его кобыла скакала вмах зигзагами, рядом с ней скакал, храпя, черный жеребец.

Подлетели далеко отставшие изюмцы и казаки. Впереди них пан Врублевский.

Вмиг взвился в воздухе аркан. Черный жеребец резко скакнул вперед. Офицерик Игорь Щербачев, сдернутый с седла, в жутких корчах поволочился на аркане по степи, подпрыгивая на буграх и крепко ударяясь о землю. Пугачев внаутг держал аркан, во весь опор мчался к лесу. А вот и лес — березы, липы, осока. Вдруг в чаще леса аркан ослаб. Пугачев остановил коня, подтянул окровавленную петлю, прищурился, сам себе сказал:

— Петля пелехонька... Стало быть — башка оторвалась.

(Продолжение следует)

И. ЗАРЬЯН

Завещание Кира

(По Ксенофонту)

Когда я умру, чтоб никто не украсил
Мой прах серебром, не закутал в парчу.
Не жду, не хочу ни бальзама, ни масел.
Предайте земле меня — так я хочу.

Кому эта доля не будет желанна,—
В земле раствориться, великой, святой?

Она одаряет живых неуставно
Щедротами, благами и красотой.

Так страстно любил человека всегда я.
Так сладостно быть мне частицей того.
Чей цвет возвращается, смерть попирая,
Чтоб рода людского явить торжество.

Перевод с армянского С. ЛИПКИНА

Отчий дом

И в сновиденья памятью почною
Воссоздавал далекий отчий дом:
Большое небо детства надо мною
Раскинулось в сияньи молодом,

Со мною мать сидела, как бывало,
Мне по-армянски бормотал ручей,

И дерево мне песню напевало
Весенним легким шорохом ветвей.

А тонкий луч, проскальзывая в окна,
Жизнь открывал мне золотым ключом,
Смотрело солнце материнским оком,
Весь мир был ясен, прост, как отчий дом.

Перевод с армянского В. ЗВЯГИНЦЕВОЙ

ФРАНТИШЕК НЕЧАСЕК

Чешская литература и Россия

Когда гитлеровская Германия осуществила свое разбойничье нападение на Чехословакию, чехословацкий народ в дни величайших в его истории испытаний неразрывно связал свою судьбу с судьбами Советского Союза и в этой дружбе нашел залог своего будущего.

На путях дружбы с Советским Союзом, — дружбы не только на сегодняшний день, но и на будущее время, — чехословацкий народ сможет успешно разрешить основной «чехословацкий вопрос» — вопрос о возможности свободного и независимого существования малого государства.

Вот почему чехословацкий народ сейчас, в годы великой борьбы всех свободолюбивых сил человечества против гитлеровской Германии, с такой любовью и уважением обращает свои взоры к Советскому Союзу. И вот почему он с радостью и гордостью говорит себе: наше отношение к Советскому Союзу началось не со вчерашнего дня, мы искали его дружбы не только в нужде, нашей дружбе не «без года неделя».

Эта дружба имеет свою историю, свои традиции. И прежде всего в ней своеобразно сплетаются и сливаются воедино две традиции: старая любовь к «великому славянскому брату», к России, и любовь к «новой стране», «стране молодости», «стране чудес», как называют чешские писатели Советский Союз. Чешская литература, характерной чертой которой является теснейшая связь с интересами и чаяниями народа, служит верным выражением этих чувств.

1

К России, к русскому народу чешский народ обращает взоры в самом начале своего нового национального бытия. Это эпоха нового «становления», нового пробуждения к жизни после столетий жестокого гнета, последовавших за битвой на Белой горе в 1620 году, когда чешский народ утратил свою независимость.

«Чешское национальное движение зародилось в рабочих кабинетах немногих ученых и стихотворцев начала прошлого столетия, составивших смелый план пропаганды народной идеи среди обезличенной массы соотечественников». Так характеризует процесс чешского национального возрождения А. Веселовский в своем известном труде «Западное влияние в

русской литературе». А. Н. Пыпин в «Истории славянских литератур» уточняет эту характеристику, указывая, что первыми вождями чешского национального движения были филологи и историки.

Нет ничего удивительного в том, что чешское национальное движение приняло именно такую форму, а его первые политики появились на сцене почти на полстолетия позже. В долгий период послебелогорского гнета чешский народ был лишен не только своих политических прав, но, можно сказать, и своего языка. Первой потребностью национального пробуждения чешского народа было поэтому обновление и очищение языка, восстановление исторической преемственности, восхождение своего славного исторического прошлого. Слуги абсолютистского режима габсбургской монархии подозрительно следили за чешским движением и жестоко подавляли всякое проявление свободной мысли. И пробуждающийся чешский народ формулирует свои стремления и идеалы прежде всего языком филологии, истории и художественной литературы. Таким же способом был формулирован и принцип славянской солидарности, который становится одной из важнейших организующих сил чешского движения.

Урок истории и опыт живой действительности научили чешских «возродителей», что предоставленный самому себе чешский народ не сможет надолго сбросить с себя немецкое ярмо. И вполне понятно, что в поисках опоры и помощи они обращали взоры к родственным славянским народам, и прежде всего к могущественнейшему из них — русскому народу и видели в единении славянства спасение и гарантию будущности как своего народа, так и других малых славянских народов. Развитию славянской идеи в огромной мере способствовала отечественная война 1812 года в России, когда русский народ предстал перед Европой во всей своей невиданной мощи.

Идея славянской солидарности в таком ее понимании — вот истинный смысл жизненного дела И. Добровского (1753—1829), приобретшего мировую известность лингвиста, основателя славистики, получившего прозвище «отца славянского языкознания». Таков же смысл и знаменитых «Славянских древностей» П. Шафарика (1795—1861), положивших начало славянской археологии и заставивших всю научную Европу признать, что славянские народы являются не менее древними и подлинными

ли обитателями Европы, чем германские и романские племена¹.

И таков же смысл блестящего исторического труда Ф. Палацкого (1798—1875) «История чешского народа», который доказывает, что вся чешская история была историей борьбы с немецкой эоклансией. К этому же, наконец, сводился смысл филологических историко-литературных исследований Юнгмана, работ Коллара, Челаковского и других ученых, писателей и поэтов того времени.

Следует отметить, что этот период является золотым веком чешской науки, прежде всего — истории и филологии. Значение работы, проделанной чешскими учеными, выходит далеко за пределы чешских национальных рамок; их труды встречают широкий отклик у южных славянских народов в Польше и в России, где чешские ученые находят своих продолжателей.

Художественная литература того времени уступала по своему значению чешской науке, но и она оставила выдающиеся произведения, выражающие идею славянской солидарности. Одним из таких произведений, занимающих видное место в чешской литературе и до сих пор не утративших своего поэтического очарования, являются «Отзвуки русских песен» Ф. Л. Челаковского.

Интересна оценка, которую дает «Отзвукам» А. Н. Пыпин в своих письмах из Праги. Челаковскому, — говорит он, — «действительно удалось прекрасно понять и усвоить себе дух нашей народной песни. Говоря без преувеличения, немногие даже из наших поэтов сумели так хорошо передать характер народной нашей поэзии, соединить глубокое знание последней и свою поэтическую самостоятельность» (А. Н. Пыпин. «Мои замечки»).

Но на первом месте стоит, конечно, творчество Я. Коллара (1793—1852). В своей «Дочери славы» и в книге о «Славянском литературном единстве» он отчетливее и полнее всех выразил идею славянской солидарности. За это он и получил от своих восторженных почитателей во всех славянских странах почетное звание «апостола славянской солидарности», а его «Дочери славы» были названы «евангелием славянизма».

Колларовское понимание славянской солидарности насквозь проникнуто духом гуманизма, миролюбия и национальной терпимости; ему чужда мысль о насильственном угнетении других народов. Коллар призывает к объединению славянства во имя оборонительной борьбы против общего врага — немецких насильников, во имя сотрудничества и мирного соревнования с другими народами на арене служения человечеству и культуре.

Он отвергает насильнические приемы немцев и в качестве руководящей идеи славянской солидарности выдвигает на первое место гуманность. «И когда ты зовешь: «Славянин!», пусть ответит тебе человек!» — говорит он в «Дочери славы». Таковы возвышенные принципы, провозглашенные Колла-

ром. Эти принципы исповедуют славянские народы. Они начертаны на тех знаменах, под которыми славяне идут в бой против пангерманского расизма, против его политики насилия и порабощения.

Коллар прекрасно понимал роль России в общей семье славянства, роль могущественнейшей твердыни, вокруг которой должны сплотиться остальные славянские народы. «К могучему привейся дубу», — говорил он своему народу более ста лет тому назад.

Творчество Коллара нашло широкий отклик. «Дочь славы» и книга «О славянском литературном единстве» были очень скоро переведены на все славянские языки. Колларовские мотивы звучат в произведениях многих славянских поэтов. «Коллар, — писал Пыпин в 1880 году, в своей «Истории славянских литератур», — доселе не сменил никем как проповедник взаимности нравственно-национального единства».

На примере Коллара мы ясно видим также и слабые стороны всеславянского движения начала прошлого столетия. Но «виноваты» в этих слабостях были не приверженцы славянской солидарности, а исторические условия той эпохи. Славянизм был силен в филологии, в истории, в художественной литературе, в мечтах и помыслах, но, как только ему надо было дать конкретный ответ на конкретный вопрос современности, он утрачивал почву под ногами. В чем, например, заключается колларовская программа действий, нашедшая свое подробное выражение в книге «О славянском литературном единстве»? Уже самое заглавие показывает, чем вынужден был Коллар ограничить славянское единство: единством литературным. «Дух нынешнего славянства, — пишет Коллар в этой книге, — налагает на нас высокий долг считать всех славян братьями, принадлежащими к единой великой семье, и воздвигать здание великой всеславянской литературы».

Но эпоха, когда литература служила достаточной ареной для проявлений чешской национальной жизни, к тому времени уже миновала. Окрепший чешский народ начал добиваться от габсбургской монархии расширения своих прав, требовал больше простора. Наступили бурные сороковые годы, завершившиеся революционными событиями 1848 года, когда чешский народ снова самостоятельно выступил на арене истории.

Славянское самосознание сыграло огромную, можно сказать, решающую роль в новейшей истории национального развития чешского народа. Сознание принадлежности к великому славянскому племени и родства с великим русским народом подымало дух чешских патриотов, укрепляло их веру в будущее. В то же время проявления славянской солидарности вынуждали неприятеля считаться с этим фактором, который мог вырасти в грозную силу, вынуждали его, если не всегда к уступкам, то, во всяком случае, к осторожности.

На пути к более широкому и конкретному развитию взаимоотношений славянских народов стояло величайшее препятствие. Этим препятствием был царский режим в России. И в самом деле, какво могло быть отношение царизма к угнетению братских славянских народов, если царское правительство держало в жесточайшем порабощении свой

¹ Выдающимся продолжателем Шафарика на поприще славянской археологии и этнологии был чешский профессор Любор Нидерле, недавно скончавшийся в Праге. Его работы представляют собой ценнейший вклад в современную славистику.

собственный, русский народ, не говоря уже об украинцах или белорусах?

Весьма характерным и показательным примером может служить отношение царизма к первым русским славянофилам тридцатых и сороковых годов прошлого века. Славянофилы первого поколения — К. Аксаков, И. Киреевский, А. Хомяков, как известно, не пользовались расположением Николая I и его III Отделения.

Не вдаваясь в характеристику их политических воззрений, отметим отношение III Отделения к деятельности славянофилов, касающейся исторической и литературной разработки вопросов славянофильства. Так Дуббельт, фактический глава III Отделения, писал, что необходимо самым тщательным образом следить за славянофилами, даже когда речь идет только об изучении славянских древностей или собирании народных поговорок, а тем паче при их поездках с научными целями в Малороссию или в западные славянские страны.

С Россией Николая Палкина пришлось встретиться чешским патриотам.

Выразителем реалистического отношения к тогдашней России был в чешской литературе Карел Гавличек-Боровский, родоначальник чешской журналистики и выдающийся поэт-сатирик. Гавличек прожил в Москве два года (1842—1844) и вращался в кругах, близких к славянофилам. По возвращении на родину он в ряде статей и фельетонов познакомил чешскую общественность с русской действительностью. В этих статьях и фельетонах проявляются, с одной стороны, горячие славянские чувства и любовь к русскому народу и его культуре, а с другой — реалистическое понимание политики русского царизма. Не случайно Гавличек мастерски перевел на чешский язык «Мертвые души» Гоголя. К русской теме Гавличек вернулся еще раз в своей сатирической поэме «Крест святого Владимира». Мишенью своей сатиры Гавличек избрал царское самодержавие как воплощение отсталости и косности, но стрелы сатиры направлены одновременно и против австрийской монархии и всякой реакции вообще. Эта поэма до сих пор не утратила своей прелести, а ее остроумно высоко оценил Иван Франко, который перевел ее на украинский язык вместе с другими произведениями Гавличека.

II

Во второй половине прошлого века славянская идея и тяга к России несколько отступают на задний план, но не исчезают. Связь с братским народом не нарушается ни на единый миг. Чувство к России прочно живет в сердце народа и то и дело проявляется как в области политической, так и в культурной жизни¹. Чешская литература дает этому множество примеров, и притом в произведениях своих лучших представителей — Галека, Сватоплука Чеха, Ирасека, Зейера, Голечека,

¹ Например, знаменитое «Путешествие в Москву», предпринятое в 1867 году руководящими чешскими политиками с Палацким во главе, в виде демонстрации против превращения Австрии в двуединую австро-венгерскую монархию; или манифестация симпатий к России во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Красногорской, Сташека и других, ярко выражавших свои славянские чувства и нередкo бравших материал для своих произведений из русской жизни или из русской истории. Таким же примером могут служить и многочисленные чешские переводы Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Островского, Тургенева.

Но идет ли речь о славянской идее или об отношении к России, неизменно мы видим, как искренние братские чувства к русскому народу всякий раз сталкиваются с отрицательным отношением к царскому режиму и к его новой, «панславистской политике», которая в действительности означала подавление национальной самобытности чешского народа. Имелись, правда, известные группы, которые отстаивали самодержавную Россию и ее панславизм, но эти группы были немногочисленны по своему составу и играли малую роль в чешской жизни и чешской литературе, где они во всех отношениях являлись представителями реакции. В подавляющем большинстве чешские литераторы занимали отрицательную позицию по отношению к самодержавию и его политике. Недаром Победоносцев говорил, что чехи — «народ, подозрительный своим либерализмом».

К сожалению, политика самодержавия часто сталкивала чешских литераторов от подлинной, прогрессивной, борющейся России. До самого конца прошлого века чешская литература проходила мимо таких явлений в русской литературе, как Белинский, Герцен, Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин.

Только после Толстого и Достоевского чешские писатели снова обращаются к русской литературе и подпадают под ее влияние. Но и тут чешские писатели по большей части скользят по поверхности и впадают в распространенную в Западной Европе ошибку, видя в мистической идеологии Достоевского подлинное отражение России и «русской души». Творчество Толстого и его философские и моральные искания возбудили необычайно горячие споры. Ряд чешских писателей трактует аналогичные вопросы в своих произведениях. Толстовский реализм и гуманизм оказал большое влияние на чешскую литературу.

Многие чехи ездили в Ясную Поляну, добываясь личного знакомства с гениальным писателем. В их числе были Т. Масарик и Зд. Неядлы.

Ярким выражением славянских симпатий и надежд, распространенных в широчайших слоях чешского народа, является творчество выдающегося чешского поэта конца прошлого и начала нынешнего столетия — Сватоплука Чеха. Сватоплук Чех во многих отношениях был прямым наследником Коллара. В своих стихах и поэмах («Славия», «Зимняя сказка», «Утренние песни», «Степь»), в которых скazujeется большое влияние Пушкина и Лермонтова, он воспевает славянство, призывает его к единению, предвещает ему славную будущность.

Но между Колларом и Сватоплуком Чехом лежит целое столетие, — столетие полное бурных событий и перемен, эпоха, когда национальный вопрос встает в новых формах и на арену истории твердым шагом вступает новый класс — пролетариат. Сватоплук Чех, чуткий и восприимчивый поэт, видит и переживает все эти события и перемены. Он мечется, преследуемый опасениями за судьбу своего наро-

да, окруженного немцами, день ото дня усиливающимися свой натиск, и его тяжело угнетает мелочность и оппортунизм чешской политики. Он любит Россию и видит в ней оплот других славянских народов и в то же время болезненно воспринимает русско-польский спор. Он предпринимает поездку на Кавказ и выражает сочувствие доблесным горцам, сражающимся, за свою свободу и независимость против русского царизма. Он понимает несправедливость существующего общественного строя и становится на сторону угнетаемых.

Преодолеть эти противоречия и найти выход из них в согласии с идеей всеславянского братства — на это у поэта нехватало сил. Вот почему многие из его стихов звучат сейчас на редкость злободневно, тогда как другие кажутся нам безжизненными и малопонятными аллегориями.

Но надо во всяком случае подчеркнуть, что Сватоплук Чех сохранил в полной неприкосновенности и развил дальше благородное колларовское понимание славянского единства, как идеи гуманности, обороны против немецкого угнетения, свободы и братства народов, мирного труда на благо прогресса и всего человечества. Вместе с тем Сватоплук Чех никогда не переставал верить в великую будущность России. Фиророчески звучат сейчас его слова:

О, верь мне, друг, над челом России
Мерцает утренняя звезда новой мировой
истории!

Близок день, когда засверкает ярко
Весь лик ее, еще закрытый тучей!

И точно так же поэт никогда не переставал верить, что все славянские народы объединятся под руководством России для лучшей, счастливой жизни. И единство будет держаться

...не цепью железной, сжимающей сердце,
но крепкими узами дружбы,
прекрасным союзом любви...

Значительнейший этап в развитии чешско-русских отношений связан с именем виднейшего чешского деятеля конца прошлого столетия, впоследствии первого президента независимой чехословацкой республики, Т. Г. Масарика. Масарик и возглавляемое им движение «реалистов» горячо интересовались Россией и ее культурой, хотя и отвергали «туманный всеславянизм». Сам Масарик, кроме многочисленных мелких работ, написал большую книгу «Россия и Европа», в которой пытается разрешить проблему Запада и Востока. Масарик много сделал для ознакомления чешской общественности с именами Чаадаева, Белинского, Герцена, Чернышевского, Писарева, которым он дает высокую оценку как носителям идеалов гуманности и прогресса, возжегшим светильники во тьме царского самодержавия.

В области литературной критики и сам Масарик, и другие реалисты заимствуют очень многие реалистические принципы русских просветителей. Под влиянием Масарика и реалистов были переведены на чешский язык произведения Белинского, Герцена и Чернышевского. Любопытно, что противники Масарика и возглавляемого им течения часто пускали в ход против них кличку «нигилисты».

Широкий отклик в Чехии нашли революци-

онные события 1905 года в России, совпавшие с борьбой чешского рабочего класса за свои права.

Чешская литература так же ставит рабочий вопрос в порядок дня. И тогда же она знакомится с «буревестником русской литературы» Горьким (в 1905 году Масарик от имени чешской интеллигенции подписал протест против ареста Горького царским правительством). Снова всеобщее внимание обращается к России, которая удивляет весь мир своей таившейся под спудом революционной мощью. На сей раз это — молодая, революционная Россия, Россия будущего и ее великий писатель — Горький.

III

Великая Октябрьская революция открывает новый этап в развитии чешско-русских отношений. Тут сыграло свою роль и впечатление произведенное ею на широкие народные массы, прежде всего на рабочий класс всех стран, и то обстоятельство, что провозглашенный ею принцип самоопределения народов немало способствовал развертыванию и победоносному завершению освободительной борьбы чешского народа против австрийской империи и, наконец, общее мировое значение Октябрьской революции, отразившееся на исторических судьбах народов всего земного шара. Правда, борьба чехословацких легионов против большевиков вписала в историю темную главу. Официальная чехословацкая политика в этот период ориентируется исключительно на западноевропейские страны. Не будем склещать за сложными перипетиями развития политических взаимоотношений между Чехословакией и Советским Союзом, скажем только, что чешская литература, в лице своих передовых и, смею можно сказать, лучших представителей, проявляла больше дальновидности и понимания, или по крайней мере — доброй воли к пониманию. И если мы бросим взгляд на два десятилетия чешской литературы в независимой Чехословацкой республике, то, не рискуя власть в преувеличение, можем сказать, что не много найдется народов, литература и вся культурная жизнь которых были бы проникнуты таким всесторонним и притом принципиально-положительным интересом к советскому строительству. За двадцать лет существования Чехословацкой республики тяга чешской литературы к России превосходит все, что было в долгие годы ее прошлой истории. И это — с первых же дней существования советского государства.

Многие чешские писатели с восторгом приветствовали Октябрьскую революцию и рождение советского государства; они стали страстными защитниками Октября, восприняли осуществленные им идеалы освобождения трудящегося народа и строительства нового общества. Так поступило прежде всего молодое писательское поколение во главе с творцом чешской революционной поэзии двадцатых годов, Юрием Волкером, безвременно угасшим в 1924 году, в возрасте 24 лет. Волкер оставил после себя наследство, которое вошло в золотой фонд чешской литературы, а по популярности в самых широких массах народа лишь немногие из чешских поэтов могли бы поспорить с ним. В написанной им для себя эпитафии он характеризует себя как

поэта, «который мир любил и шел на бой за справедливость в мире», и решительно становится на сторону «великой России и доблестного Ленина», творящих новый, справедливый мир.

Но не только поколение Волкера, из среды которого вышли такие выдающиеся писатели и поэты, как Незвал, Сейферт, Вибль, Галас и Ванчур (казненный гитлеровскими оккупантами в 1942 году), сознательно становится на сторону советской России. Так поступают и писатели, занимавшие видное место в чешской литературе еще до первой мировой войны, как, например, социалистический поэт и публицист А. Маецк и вышедший из рядов индивидуалистического анархизма поэт С. К. Нейман. К числу их относятся также И. Ольбрахт, И. Гора и М. Майерова, которые шаг за шагом завоевали крупное место в чешской литературе. Следует назвать также и талантливого поэта-сатирика И. Гаусмана (тоже временно умершего), который жестоко высмеивал попытки реакции организовать крестовый поход против новой России.

У некоторых писателей мы наблюдаем часто продолжительный и сложный процесс: непонимание и неверие шаг за шагом отступают, побежденные правдой советской действительности, и одновременно художник достигает возмужалости и с полной искренностью определяет свое отношение к этой действительности.

Правда, писатели старшего поколения часто пускаются крови, без которой не может обойтись революция, боятся гибели ценностей, завоеванных в прошлом, и опасаются, что социалистический строй повлечет за собой подавление человеческой личности. Но с другой стороны, они видят, что нельзя честному художнику отрицать великие и возвышенные цели революции, ее стремление освободить трудящиеся классы, уничтожить отношения, недостойные человека, открыть для широчайших народных масс дорогу к наивысшим пределам человеческой свободы и счастья. Документами этой честной внутренней борьбы являются в частности стихи о Ленине выдающихся поэтов старшего поколения: А. Софр и И. Томана; если они и не вполне понимают ленинское дело, то отдают должное его великим освободительным идеалам.

Уже в первые годы существования советского государства в Чехословакию проникает новая советская литература. Явно сказывается большое влияние «Двенадцати» Блока, «150 миллионов» Маяковского, революционной поэзии писателей Пролеткульта, прозы Вс. Иванова, Гладкова и других.

В этот период в симпатиях к советской стране не ощущаются славянские мотивы. Наоборот, на этих мотивах играют враждебные элементы, которые стараются изобразить советскую мощь как «нерусскую» и даже «антирусскую», а принцип славянской солидарности пытаются направить против советского государства в пользу.. белой эмиграции. Но эта грубая и неумная агитация имела все меньший и меньший успех.

Вполне естественно, что при растущем интересе к советскому строительству возникает широкая публицистическая литература о СССР, и все более частым явлением делаются поездки в Москву, ибо чешский художник чув-

ствует потребность «вложить свою собственную руку в борозды «Поднятой целины»¹. Непосредственное знакомство с советской действительностью оодолжает творчество чешских художников (стихи Горы и Сейферта на советские темы) и порождает обширную литературу репортажа, воспоминаний и рассуждений о СССР (книги Ольбрахта, Майеровой, Копты, профессора Тилле, Пуймановой, Незвала, театрального деятеля Гонцля и других). Следует упомянуть также и о книге бывшего чехословацкого дипломатического работника в Москве И. Э. Шрома, убитого в 1942 году гитлеровцами в Праге. Эта книга, «В сталинской стране», является первой попыткой далекого эт социалистической идеологии политического деятеля дать объективную картину советского строительства.

Большая заслуга по ознакомлению чехословацкой общественности с Советским Союзом и его культурой, а также по искоренению предрассудков и клеветнической лжи принадлежит профессору пражского, а ныне московского университета — Зданеку Неедлы. Профессор Неедлы, который еще до первой мировой войны занимал одно из руководящих мест в чешской научной и культурной жизни, делал и очень много делает для развития дружественных отношений между народами Чехословакии и Советского Союза. Этой цели служат его разносторонняя публицистическая и организаторская деятельность.

Он является основателем и постоянным председателем чехословацкого Общества культурного сближения с СССР (с 1925 года), которое способствовало ознакомлению чехословацкой интеллигенции с Советским Союзом и его культурой. Он является также автором труда, в котором ярко выражено горячее сочувствие чехословацкого народа советским стремлениям.— обширной монографии о Ленине (до оккупации Чехословакии немцами вышло два тома).

IV.

С начала тридцатых годов интерес к СССР растет так быстро, что можно, не обинуясь, говорить о «повороте к России». Причинами

¹ Учащаются и поездки советских писателей в Чехословакию. В этом отношении двадцатилетие 1918—1938 гг. богаче, чем все предшествовавшее столетие. В Чехословакию радостно встречали П. Тычину, Л. Сейфуллину, Маяковского, А. Толстого, Корнейчука, Эренбурга, Фадеева, М. Шагинян, Кигсанова, Луговского, Безыменского и многих других представителей советской литературы, науки и искусства. Особенно плодотворными были поездки Маяковского, Эренбурга, Толстого и Фадеева. Маяковский запечатлел свое пребывание в Праге в очерке и стихах, принадлежавших к числу наиболее интересных отзывов иностранцев о чехословацком народе. Толстой наново переделал либретто оперы Сметаны «Подданный невеста». Эренбург сейчас, во время отечественной войны, написал ряд очерков о Чехословакии и поэму «Прага говорит». Фадеев, посетивший Чехословакию в 1938 году, написал о своих впечатлениях книжку и уделяет сейчас свое внимание публициста как самой Чехословакии, так и чехословацким воинским частям, сражающимся на советско-германском фронте.

служат, с одной стороны, наглядно убеждающие грандиозные успехи социалистического строительства, последовавшие за «годом великого перелома», а с другой — рост фашизма и военной угрозы со стороны Германии, который заставляет чехословацкий народ оценить благородную и бескорыстную внешнюю политику СССР, направленную к сохранению мира, сковыванию агрессора и охране интересов малых народов и государств.

В 1935 году был заключен советско-чехословацкий пакт о взаимной помощи. Перспектива обороны республик и демократии бок о бок с СССР, с Россией, дает чехословацкому народу новую силу и новую решимость. На стороне Советского Союза стоит подавляющее большинство чехословацкого народа и представителей его культуры. Эти пылки чувства бурно развиваются вплоть до последнего момента перед немецким нашествием и продолжают расти и сейчас, под гитлеровским ярмом.

Уже становится действительностью великая надежда чешских возродителей, надежда всего прошлого столетия и нынешнего поколения, надежда на то, что братская Россия поможет чехословацкому народу отстоять свою независимость и навсегда обеспечить ему свободу.

В годы перед гитлеровским нашествием происходит поистине триумфальный поход советской культуры в Чехословакию. Нет смысла перечислять советских писателей, произведения которых переведены на чешский язык. Такое перечисление превратилось бы просто в список всех видных советских писателей. Советская литература переводится в Чехословакию более полно и систематически, чем какая-либо иная. Пьесы советских драматургов ставятся в государственных театрах и на сценах театральных кружков. При демонстрации советских фильмов происходят политические манифестации в честь Советского Союза.

Сознание, что Советский Союз является выражением наиболее передовых идей и наилучших традиций русского прошлого, что советская литература достойным образом продолжает и развивает наследие русской классической литературы, пробуждает новый интерес и к русской классической литературе.

Выходят новые переводы русских классиков, возникает подлинный культ Пушкина. Чехословакия поистине достойным образом отмечает столетие со дня смерти Пушкина: печатаются новые блестящие переводы его важнейших произведений, впервые дающие чехословацкому читателю возможность полностью понять и полюбить величайшего русского поэта. Интересно, что культ пушкинского светлого гения еще больше разросся в годы немецкой оккупации. Чехословацкий народ наглядно показывает этим свои симпатии к России, свою оптимистическую веру в Россию и в свою собственную будущность.

Свою любовь к Советскому Союзу и к его гуманистическому делу выразили и самые молодые чешские поэты, и нестер чешской поэзии — семидесятилетний Ф. Таборский, старый переводчик Пушкина и Лермонтова. Весьма показательным является также тот процесс ревизии, который происходит в так называемой «легионерской литературе». Если прежде был одиноким голос легионерского офицера, писателя Кратохвила, который в

своей книге «Путь революции» не побоялся сказать правду о чехословацких легионах в России, то теперь легионерская война с большевиками трактуется всеми как трагическая ошибка. С большой художественной силой выразил это Ф. Лангер в драме «Конная разведка», где изображается столкновение между группой легионеров и большевиками. Один из выведенных в пьесе легионеров говорит: «Какие-то дипломаты решили, что мы должны остаться здесь, в России, и стрелять в русских, а они в нас. А я честное слово, никого на свете так не любил, как русских».

Весьма показательным является также творческий путь Карела Чапека. Чапек первого десятилетия Чехословацкой республики — сторонник философского прагматизма, «формальный демократ», не верящий в возможность коренных социальных реформ. Его пьесы и романы этого периода в значительной мере представляют собой полемику с революцией и социализмом, который, по мнению Чапека, означает гибель индивидуальной свободы и пивелировку человеческого общества. Но рост немецкого фашизма показал Чапеку, что враг человека и человеческого общества, враг демократии и гуманизма не там, где он сначала думал. И в своих последних пьесах, «Белая болезнь» и «Мать», как и в романе «Война с саламандрами», Чапек направляет острое своей критики и обличения против фашизма.

В этот период с новой силой проявляются славянские чувства чехословацкого народа. Они находят свое выражение в новых словах, наполненных новым содержанием. Увидеть славянского брата в Советском Союзе значит то же самое, что встретиться с любимым другом, который стал нам ближе, чем когда бы то ни было. Это чувство ярко выразил писатель Иозеф Копта в своей поэме «Песнь о ледоколе», прославляющей героизм экипажа «Красина»:

После долгих лет разлуки, снова
Горячо обнимаемся мы с русским человеком
Мы узнаем его по голосу, полному тепла,
По пламени очей славянских...
Мы знаем — только он может протянуть
Молодецки руку помощи.

Можно с полным правом сказать, что «Благодарность Советскому Союзу» С. К. Неймана¹ — одно из прекраснейших и самых глубоких по мысли произведений современной чешской поэзии. Эти стихи были написаны к двадцатилетию Советского Союза, когда над Чехословакией уже нависла всей своей тяжестью гитлеровская угроза; СССР был единственной силой, безоговорочно готовящейся к отпору агрессору, и стихи Неймана выражали не только личные чувства поэта, но и то, что делалось в сердце целого народа. Его устами весь чехословацкий народ говорил:

¹ С. К. Нейман — не только классик чешской революционной поэзии и автор популярнейших чешских стихов о СССР, Ленине и Сталине, но и автор блестящей полемической книги «Анти-Жид», в которой он беспощадно разделяется с клеветой Андре Жиды и других подобных господ на Советский Союз.

Вам благодарность и вам любовь,
И пусть звучат они, как колокол!
Ведь я не один;
Нас миллионы...

V

На чешскую литературу действовали непосредственно как самый факт советского строительства, картина живого творческого социализма, так и советская литература. Глубокое влияние на культурную жизнь Чехословакии оказывала при этом и советская художественная критика, советское понимание задач искусства и в частности волнующие призывы великого мастера советской и мировой литературы Максима Горького к западноевропейским мастерам — честно выполнить свой гражданский долг, быть голосом и стражем народа, подняться на защиту культуры и мира против фашистских поджигателей войны.

С первых же лет республики в чехословацком искусстве и литературе постоянно сталкиваются две концепции искусства: одна из них отставала «автономно искусство», как некое «творца прекрасного», не зависящего от времени и пространства и равнодушного к ним, — это была концепция упадочного формализма, которую поддерживали в чехословацком искусстве, главным образом, западные,шедшие из Парижа, влияния; другая концепция, реалистическая, видела в художнике выразителя насущных проблем современности и активного участника борьбы за прогресс и благо народа, — эта концепция органически вырастает из боевых, патриотических традиций чешского искусства и находит могучую поддержку в влиянии советской культуры. Чешская литература внимательно следила за советской дискуссией о различных направлениях в искусстве, в частности, широчайшему обсуждению подверглись проблемы социалистического реализма. В Чехословакии возникла группа «Блок», художественные принципы которой в основе совпадают с принципами социалистического реализма; вместе с художественной молодежью эта группа объединяла также и ряд выдающихся писателей старшего поколения, среди которых можно назвать С. К. Неймана, И. Ольбрахта, М. Майерову, Г. Малижову.

Огонь войны испепелил попытки культивировать парниковое искусство в «башнях из слоеной кости» и обнажил антидемократическую сущность таких стремлений. Печальнейшим примером может служить тут французского писателя Жана Жюно, автора идиллических пасторалей, которые одно время пользовались на Западе значительным успехом. Жюно не желал поддаваться влиянию «непоэтической эпохи», отвергал «грубую тенденциозность» и отстаивал свою «независимость». И в результате наступил день, когда Жюно провозгласил, что лучше быть живым зайцем, чем мертвым львом, и что он предпочитает жить под немецким сапогом, лишь бы жить. Можно ли сомневаться, что в ослаблении морального духа Франции накануне войны сыграли свою роль разные Жюно, и что эта червоточина немало способствовала падению Парижа?

Чешская литература в целом успешно вела борьбу с такими влияниями. Из экзотических

авантюрных экскурсий она возвращалась домой, на землю, где жил, трудился и добивался лучшей жизни чехословацкий народ и где чувствовалось приближение жестоких испытаний. Чешская литература все больше и больше поворачивалась лицом к жизни, к великим политическим и социальным проблемам современности. Широкий отклик в чешской литературе нашли события в Испании; чешские писатели правильно чувствовали, что там решается также и участь Чехословакии. В последние годы перед немецким нашествием большинство чешских писателей стояло в передовых рядах своего народа, стараясь мобилизовать его силы, чтобы дать отпор гитлеризму и отстаить свободу и независимость родины. И в период немецкой оккупации чешская литература также не изменяет своему народу и его правде. Большинство чешских писателей замкнулось в молчании, а многие из них за свою непримиримую позицию по отношению к оккупантам томятся в концентрационных лагерях. Не трусливый заяц типа Жана Жюно, но героический Владислав Ванчур, мужественно идущий на казнь, — вот истинный образ чешского писателя в теребящие тяжелые дни. И в этом доблестном исполнении своего гражданского долга чешская литература вдохновляется великим советским примером.

* * *

Сейчас у чешской литературы замок на устах. Она растоптана и закована в цепи. Но она не погибнет, ибо не погибнет чехословацкий народ. Она и сейчас прислушивается к голосу России — голосу правды и справедливости, и триумфальной симфонией звучит для нее гром орудий в Карпатах, возвещающий час освобождения от проклятого немецкого ига. Не подлежит сомнению, что как пережитые в прошлом, так и нынешние испытания во многом предопределяют будущую судьбу чешской литературы. Вместе со всем чехословацким народом литература прошла жестокою школу гитлеровского гнета и, освободившись от него, она еще теснее свяжет свои интересы с жизнью народа, с жизненной правдой. Освобожденному народу нужно будет правдивое, мощное национальное искусство, а не формалистические изысканности и безделушки. Перед чехословацкой литературой открывается широкая дорога создания произведений, проникнутых пафосом героической борьбы народа за освобождение и нового возрождения. Это путь создания глубоко национальной литературы, гармонически сочетающей народные чувства с прогрессивными гуманистическими идеалами. Стремясь к этой цели, чехословацкая литература еще теснее прижмет к своему великому другу и учителю, к героической литературе героического советского народа, которая своей ролью в отечественной войне вписала одну из самых захватывающих страниц в историю мировой литературы.

Так крепнет боевое сотрудничество славянских народов в войне против гитлеризма, а за ним и сотрудничество их в послевоенном строительстве, что открывает широчайшие возможности для развития всесторонней и глубоко коренящейся солидарности и расцвета славянской литературы, как литературы, сражающейся за идеалы гуманизма.

Перевел с чешского А. Гурович

О советской песне

Вряд ли стоит подробно говорить здесь о том большом значении, какое имеет песня в жизни нашего народа. Песня сопутствует человеку всюду — во всех его делах, во все моменты его жизни. Она выражает душу народа, его чаяния, его стремления и надежды. Она помогает ему в труде и в бою, она скрашивает его отдых. Песня имеет и громадное воспитательное значение.

Нельзя и представить себе жизнь народа без песни.

Вот почему работа над созданием все новых и новых песен должна стать одной из важнейших работ как поэтов, так и композиторов.

Советские поэты и композиторы за последние годы написали немало хороших песен, многие из которых стали подлинно народными. Но по сравнению с теми требованиями, которые к нам предъявляет страна, сделано все же мало, и особенно мало сделано по повышению идейно-художественного качества песни. Очень часто мы работали не в полную силу, работали наспех, кое-как, как-то забывая, что страна наша переживает такие дни, когда требуется величайшее напряжение всех материальных и духовных сил для достижения полной победы над врагом.

Между тем мы являемся свидетелями того, что у нас появилось много скучных, серых, однообразных и малограмотных песен, которые вряд ли нужны кому-либо другому, кроме разве написавшим их.

Поэтому мне кажется, что первостепенным вопросом должен стать вопрос о повышении идейно-художественного уровня советской песни.

Мне бы хотелось, в меру моих сил и возможности, указать на некоторые весьма существенные недостатки, которые присущи многим нашим песням, а также высказать несколько соображений о том, какой, на мой взгляд, должна быть советская песня.

При этом я сразу же оговариваюсь: я не считаю себя сколько-нибудь компетентным в музыке и буду говорить лишь о так называемых текстах песен. Я понимаю, что всякая песня состоит из двух элементов (из слова и музыки), слитых между собой воедино, но я все же думаю, что вполне возможно и целесообразно поговорить о текстах отдельно, потому что, как бы ни зависели слова от музыки, их ка-

чество играет и свою самостоятельную роль, и чем выше это качество, тем лучше песня.

Некоторые композиторы явно недооценивают значения текста в песне. Они считают, что главным в песне является музыка, а какие под эту музыку будут петься слова — это уже совершенно не важно, — это, как говорится, дело десятое. Если музыка удачна — значит песня пойдет.

Такие рассуждения кажутся мне неправильными. В песне, на мой взгляд, действительно главную роль играет музыка. Музыка — это как бы крылья песни, на которых она летит. Но несомненно также и то, что если этим крыльям нечего нести, то они вынуждены работать если, может, и не совсем, то в значительной мере впустую. И совершенно ясно, что для того, чтобы этого не было, слова надо выбирать хорошие, выразительные. И тогда польза от песни будет вдвое больше.

Нужно напомнить также и то, что народ, для кого, собственно говоря, и работают поэты и композиторы, воспринимает всякую песню не только как произведение музыкальное, но и как поэтическое и, может быть, даже больше, как поэтическое. Для поющих или слушающих песню важно не только то, как, на какой мотив поется та или иная песня, но и то, о чем в этой песне рассказывается и какими словами рассказывается. Музыка сама по себе, если так можно выразиться, «неконкретна». Она может создать у человека то или иное настроение, но конкретную суть песенного рассказа человек все же узнает из словесного материала песни. И само собой разумеется, что чем богаче этот словесный материал, чем поэтичней словесная ткань песни, тем лучше песня воспринимается, тем больше ее воздействие на человеческую душу.

Какие песни живут дольше других? Издательство «Молодая гвардия» в прошлом году выпустило сборник «Русские песни». В этот сборник включены популярные песни как дореволюционные, так и советские. Какие же это песни? Открываем первый раздел: «Ревела буря, дождь шумел», «Есть на Волге утес», «Из-за острова на стрежень», «Раскинулось море широко», «Сию за решеткой в темнице сырой», «Замучен тяжелой неволей», «Ой, полным-полна коробушка», «Солнце всходит и заходит» и многие другие. Во втором разделе: «На просторах родины

чудесной» и «По военной дороге» (Суркова), «Широка страна моя родная» (Лебедева-Кумача), «Каховка» (Светлова), «По долинам и по взгорьям» (Алымова), «Пролетают кони» (Ошанина), «Стелются черные тучи» (Суркова), «Священная война» (Лебедева-Кумача), «Тачанка» (Рудермана) и ряд других.

К этому списку можно прибавить еще и другие песни, не включенные в сборник. Например, «Партизан Железняк» (Голодного) и его же «Песня о Щорсе» и т. п.

Все эти песни, как видите, живут уже довольно долго, и они, несомненно, будут жить еще много лет, не теряя своего значения и пользуясь заслуженным успехом. Возможно, что в силу тех или иных причин отдельные из них будут забываться, но потом, несомненно, возникнут снова и снова.

В чем же секрет живучести этих песен, как советских, так и дореволюционных? Почему они не теряют своей свежести и обаяния?

Я думаю, что нельзя объяснить это только одной музыкой. Громадную роль здесь, несомненно, сыграло то, что названные песни написаны на хорошие, содержательные и по-настоящему поэтические стихи. Не все стихи в данном случае равноценны — есть лучше, есть хуже, но во всех случаях это все же поэтические произведения. В каждом из них есть свой замысел, свои поэтические краски, свое содержание. Каждое из них может существовать (и существует) самостоятельно, независимо от музыки. А коль написана к тому же удачная музыка, то и получается хорошая песня.

Одним из секретов популярности и живучести наших лучших песен является не только их музыкальная сторона, но и хороший текст.

Между тем многие композиторы продолжают писать музыку на заведомо плохие слова. Я не знаю, происходит ли это от недооценки значения текста, или оттого, что некоторые композиторы не всегда хорошо разбираются в поэтическом материале (бывает и такое), но факт остается фактом и за примерами далеко ходить нечего.

Вот хотя бы сборник, изданный в 1942 году Трансжелдориздагком. — «Песни Отечественной войны». В сборнике напечатано восемь песен братьев Покрасс, написанных на слова разных авторов, и в том числе пять песен на слова Я. Шварца.

Читаешь эти «творения» Шварца и просто диву даешься: зачем было писать музыку на такой заведомо словесный брак?

Вот, например, «Боевая железнодорожная»:

Над любимой родиной
Облака тревожные
Через перелески, горы и луга
Мчат составы
Железнодорожные,
Мчат составы прямо на врага.

Это очень убого и малограмотно. Сказано, что составы «мчат». Но что же они «мчат»? Неизвестно.

Может, автор хотел сказать «мчатся составы», но тогда так и надо было писать. Однако же, как могут мчатся составы «прямо на врага»? Я полагаю, что составы, подвезающие вооружение, не могут и не должны мчатся «прямо на врага». Если бы они мчались «прямо на врага», то враг, несомненно, принял бы

свои меры: он или взорвал бы их, или захватил бы.

А вот припев этой «песни»:

Только черный дым клубится,
Только рельсы убегают,
И оружие сверкает
В свете дня.
Нас на битву посылает,
Нас в пути благословляет
Изумительная родина моя.

Нужно быть лишенным всякого поэтического вкуса, чтобы не понимать, как неуместно, как оскорбительно, пошло звучат в данном контексте слова «изумительная родина моя». Нельзя так писать о родине.

Читаем дальше:

В помощь артиллерии,
В помощь славным летчикам
Эшелоны наши
Двинем без конца.

И опять плохо.

Нет смысла цитировать всю песню целиком. О ней можно сказать только то, что уже сказано: это заведомый брак.

Быть может, найдутся снисходительные к браку судьи, которые попытаются возразить: но, пожалуйста, по содержанию эта песня патриотическая, боевая, нужная нам и т. п. Иногда кое-кто так защищается, стараясь тем самым прикрыть свое неумение написать хорошую песню.

Нужно ли вновь и вновь доказывать, что во всяком истинно художественном произведении и содержание и форма его выражения слиты воедино. И только то произведение доходит до читателя или слушателя и по настоящему волнует его, в котором содержание облечено в соответствующую форму, в котором автор сказал какое-то свое, новое, свежее слово. Нужно ли доказывать, что, если автор повторяет лишь то, что до него повторено было сотни и тысячи раз, причем повторяет косноязычно и малограмотно, то все его намерения пропадают даром, хотя бы они и были самыми благими.

Другие четыре песни Шварца несколько не лучше этой. Вот песня «Казачий эскадрон», которая, очевидно, писалась как лирическая:

Ветер гнал облака над поляной
И будил на лугах тишину.
Эскадрон казачий вышел утром рано
В бой с кровавым врагом на войну.

Затяну на коне я подругу
И родным до земли поклонюсь.
Не грусти и жди меня, моя подруга,
Я с победой домой возвращусь.

Улыбнися, бойца провожая,
До околицы с ним добеги,
Золотистый колос мне от урожая,
Что я снять не успел, сбеги.

Сокрушит на пути все преграды
Острой шашки моей свист и звон.
Знаю я, врагу в бою не даст пощады
Наш казачий лихой эскадрон.

Позабывши войны пору злую,
Я цветочков душистых нарву,
Обниму тебя тогда и поцелую
И своею женой назову.

Вряд ли тут требуются какие-либо комментарии. И без них совершенно ясна безграмотность и пошлость этой «песни».

И удивительно, конечно, не то, что Шварц написал плохие стихи (мало ли у нас пишется плохих стихов!). Но зачем было писать на эти стихи музыку? Зачем было издавать их десяти тысячным тиражом, тратить государственные деньги и бумагу, которая столь нужна для других целей?

Было бы еще полбеды, если бы тексты Шварца являлись исключением. Но они, к сожалению, не исключение. Подобных текстов много. Одни из них, может быть, немного лучше, другие хуже, но общий уровень их примерно одинаков. Это все те же стертые, невыразительные фразы, которые никого не трогают, это все та же поэтическая беспомощность или даже откровенная халтура.

В сборнике «В бой за родину», изданном Музгизом совместно с Воениздатом в 1942 г., напечатана песня Г. Фарди на слова Преображенского — «Песня о русском штыке»:

Мой русский штык, товарищ мой,
Ты закален в огне сражений,
Пройдем повсюду мы с тобой,
Нигде не зная поражений.

Не уступай врагу пути,
Ни в тьме, ни в зареве пожарищ,
Врагу от смерти не уйти,
Рази его штыком, товарищ...

Как видите, автор песни вначале обращается к штыку во втором лице, называет его «товарищ мой» и говорит, что «повсюду мы пройдем с тобой». Но уже в следующей строфе начинается путаница, когда автор пишет:

Рази его штыком, товарищ!

Выходит, что штык должен разить врага штыком.

Эта вопиющая небрежность почему-то проходит мимо внимания и композитора, писавшего музыку, и редактора, редактировавшего сборник.

Там же напечатаны и другие, по-моему, очень плохие тексты: текст Богатыревой «Идут полки народные» (хотя, насколько я знаю, музыка на этот текст написана хорошая), Замятина «Казачья» и пр. Такие же тексты можно встретить и в других сборниках, вышедших за время войны в различных издательствах. Все они состоят из общих слов, все они перепевают перелетов сотни раз.

Но почему в песенном творчестве так много брака? Каковы причины этого прискорбного явления?

Я думаю, что причин тут несколько и на некоторые из них стоит указать.

Первая причина, как я уже говорил, состоит в том, что некоторые композиторы часто

пишут музыку на заведомо плохие слова и тем самым так или иначе «выводят их в свет». Музыкальные редакторы также мало внимания обращают на текст, и, таким образом, плохие тексты легко попадают в печать.

Короче говоря, создается такое положение, при котором легче всего «звйти в люди» именно по «музыкальной линии». В самом деле, если бы, скажем, цитированные мною авторы и многие другие, нецитированные, прислали бы свои стихи в какой-либо литературно-художественный журнал, то стихи эти в лучшем случае направили бы в литературную консультацию для начинающих поэтов, потому что ни у кого не могло бы явиться мысли их напечатать — так это далеко от поэзии даже среднего уровня. Но то, что нельзя напечатать в журнале, оказывается, почему-то можно напечатать в песеннике.

Вторая причина связана с первой и состоит в том, что, если проникнуть в печать легче «по музыкальной линии», то многие люди, которых отказываются печатать журналы или газеты по причине несовершенства их стихов, начинают писать песни, хотя часто не обладают для этого никакими данными. Таким образом, появляются своего рода «ремесленники», согласные писать песни на любую тему, в любом количестве и в любой срок. И они буквально наводняют песенную литературу своими весьма сомнительными текстами.

Третья причина заключается в том, что основные кадры наших поэтов в последнее время работали в области песни недостаточно горячо и серьезно. Можно, конечно, назвать целый ряд поэтов, которые дали песни, ставшие широко популярными. — это Сурков, Прокофьев, Твардовский, Симонов, Лебедев-Кумач, Гусев, Алымов, Долматовский, Софронов, Ошанин, Жаров и другие. Но, несомненно, от них можно было бы ожидать большего.

Говоря далее о недостатках наших песен, необходимо указать на их тематическое однообразие, на бедность поэтических приемов, на отсутствие во многих песнях поэтического замысла, на часто встречающуюся небрежность в отделке текста и т. п.

Если посмотреть, какие темы берут наши поэты для своих песен, то окажется, что этих тем немного.

Правда, темы эти очень важные и нужные, и пройти мимо них это значило бы забыть о главном. Но нужно помнить и то, что жизнь равнообразна и красочна. Круг песенных тем нужно всячески расширять. А главное, надо уметь писать на всякие темы более разнообразно, с большей поэтической силой.

В самом деле, возьмите к примеру «Балладу о Матросове» (слова Фатьянова). Вот эта баллада:

По волюшке-воле,
По чистому полю
Гуляют шальные снега.
Сквозь снежную россыпь
С друзьями Матросов
В атаку пошел на врага.

И в огненном круге
Свящцовою выгою!

Строчит пулемет на пути
И к вражьему доту
Не может пехота
Вперед ни на шаг подої

Над нами, ребята,
Тылают закаты,
За нами наш город родной.
Россия, Россия,
Деревни и хаты,
Березы над тихой рекой.

У речки, у моста
Промолвил Матросов:
— Мне, может, зарю не встречать,
Но я по болоту
Пройду к пулемету,
Заставлю его замолчать.

Подкрался Матросов
К немецкому доту,
Огнем пулемет окрестил,
Потом приподнялся
И сердцем отважным
Смертельное дуло закрыл.

Споем же, ребята,
Пусть в песне крылатой
Живет комсомолец-герой.
Россия, Россия,
Такого солдата
Запомним навеки с тобой.

Что в данном случае сделал Фатьянов? Он прочел в газете корреспонденцию о Матросове и зарифмовал ее, чуть-чуть разукрасив традиционными закатами и березками. Но никакого своего замысла он в песню не вложил, своего слова о Матросове он не сказал. Неслаженность некоторых песен доходит до того, что они просто рассыпаются на отдельные четверостишия или даже фразы. Вот «Гвардейская песня» Фатьянова:

Вражьи пули свищут над полями,
Рост ямы нам война,
Смерть-старуха бродит за плечами.
Смелым не страшна она.

Если пишем милая не пишет,
Двадцать немцев уложит.
Неприменно девушка услышит,
Больше станет дорожить.

Мы присяги данной не нарушим,
Не отступим ни на шаг.
Из немецких шкур мы вынем душу,
Если есть у них душа.

Разобьем фашистскую лавину,
Галину немецкую.
Донесем до самого Берлина
Песенку гвардейскую.

Эту песню, если ее вообще допустимо называть песней, можно петь как угодно. Можно начать с последнего куплета, можно со второго или с третьего, можно спеть половину и на этом кончить. Можно продолжить ее и написать еще четыре куплета и т. д. И ничего от этого не изменится, ибо в песне нет стержня, нет ни начала, ни конца, ни середины. Это уже не песня, а просто набор слов, при том набор малограмотный.

Отдельно мне хочется остановиться на шуточных песнях. За последнее время их написано довольно много. Стремление создать шуточную песню само по себе надо только приветствовать, потому что шуточных песен у нас мало, а спрос на них большой. Однако следует сказать, что особыми удачами в этом направлении мы похвастаться не можем. Хорошие шуточные песни насчитываются единицами. В большинстве же случаев шутки получаются довольно сомнительного качества. Вот предомногу песня на слова Олицкого — «Песня об осторожном парне»:

Это просто невозможно! —
С ним встречаюсь тут и там.
Ходит парень осторожный
Вслед за мною по пятам.

Ходит пасмурный, суровый
И поднять не хочет глаз,
Никогда не скажет слова,
А краснеет каждый раз.

(Мимоходом замечу, что начало песни по всему своему строю, по тону, даже по ритму напоминает известную песню «На закате ходит парень возле дома моего. Поморгает мне глазами и не скажет ничего». Однако, не в этом суть, хотя уже одно это говорит о том, что песня несамостоятельная.)

Читаем дальше:

Я о нем спросила Таню,
Таня бровью повела
И сказала: «Этот парень
Не из нашего села».

Я шагаю, он шагает,
Я гляжу, и он глядит,
Со значением вздыхает,
Ничего не говорит.

Парень ходит, как убитый,
Смотрит в речку он с моста...
Я сказала: «Приходи ты
К нам — калитка открыта».

«Этой ночью... Значит, можно?
За вопрос меня прости.—
И вдруг вымолвил тревожно: —
А собака на цепи?»

Парень бродит среди ночи,
Сердце прыгает в груди.
Парень крикнул, что есть мочи:
«Эй, Наташа, выходи!»

А Наташ в деревне нашей
Девятнадцать знаю я.
Прибежали все Наташи,
За Наташами — мужья.

Все галдят, руками машут,—
Разберись-ка в темноте.
«Кто Наташа?» — «Все Наташи!» —
«Вы Наташи, да не те».

Подошел ко мне мой милый
И к груди меня прижал,
Быть женою попросил он
И при всех поцеловал.

Что можно сказать о такой песне? Думаю, что только одно: песня получилась не шу-

гочная, а глупая. Шутка тогда бывает хороша, если в основе ее — жизнь. А здесь — случай с Наташами, которого в жизни не могут быть. Поэтому и песня нежизненна и, следовательно, неинтересна.

Вот еще одна шуточная песня Фатьянова — «Гаданье»:

Как-то летом шли девчата
Средь муравьистых лугов
И решили: будь что будет —
Загадать на женихов.

Порешили, сели кругом,
Стали песню запевать,
И одна из них подругам
Предложила загадать.

Если вдруг закружит птица
над лесочками,
Суждено тогда девицам
быть за летчиками.

Если трактор ты слышишь,
Сердце дрогнет и замрет,—
Знай: танкист письмо напишет,
Сватов в дом к тебе пришлет.

Если зыбью бирюзовой
Заколышется река,—
На крыльчке на тесовом
Поджидай ты моряка.

Солнце близится к закапу,
Как на зло, нет ветерка.
Запал куда-то трактор,
Как стекло, тиха река.

Пригорюнились девчата,
Перестали песню петь,
Знать, не ждать им к дому сватов.
Видно, в девках век сидеть.

Вдруг взлетает в небо птица
Над лесочками.—
Значит, суждено девицам
Быть за летчиками.

Но не видно самолетов,—
Неужель примета врет.
С песней по полю пехота
Прямо к девушкам идет.

Молодцы идут ребята,
На подбор, за рядом ряд,
И смущенные девчата
Узнают своих ребят.

С той поры у них забота
Ждать любимых женихов..
Ой, нейдет ли где пехота
Средь муравьистых лугов?

Мне кажется, что и здесь шуточная песня не вышла. А не вышла, во-первых, потому, что написана она неуклюжими и беспомощными стихами и, во-вторых, потому, что песня-шутка нежизненна. Такое «гадание», как у Фатьянова, нельзя принять даже условно. Слишком это наигранно, грубо и примитивно, такие вещи надо делать тоньше, с большим чувством меры и такта.

Эта же песня, кстати, говорит и о том, как неумело некоторые песенники обращаются с фольклором. Фольклор сейчас стараются использовать все. Это теперь «модно» — народный язык, традиции русской песни и т. п. Но многие товарищи при этом забывают, что

фольклором нельзя пользоваться механически, чисто внешне. Он хорош бывает тогда, когда вырастает в произведение органически как это можно наблюдать в стихах Твардовского, Суркова и других. Но если человек просто вставляет в свою песню такие традиционные-песенные слова, как, например, «воля-волюшка», «сила-силушка» или «молодец», то песня от этого отнюдь не становится народной. В песне «Гаданье» взят народный сюжет и совершенно механически приспособлен к современному моменту. Из этого ничего и не вышло. В языке же песни получилась своеобразная смесь «французского с нижегородским».

Если зыбью бирюзовой
Заколышется река,—
На крыльчке на тесовом
Подожди ты моряка.

«Бирюзовая зыбь» и «На крыльчке на тесовом» — это из совершенно разных словарей, и вряд ли эти выражения можно поставить рядом.

Некоторые товарищи просто копируют народную песню (например, Левашев), подделываются под нее. Я думаю, что это труд бесполезный. Надо не копировать, не подделываться (что, между прочим, довольно легко дается), — надо создавать свои, новые и по замыслу и по выполнению, произведения. Будут ли они построены на фольклорной основе или на какой-либо другой — это роли не играет. Важно, чтобы они обогащали песню, а не перепевали то, что уже пето и перепето.

Все, что было мною сказано, относится к песням, написанным на темы войны. Этих песен у нас довольно много. Одни из них лучше, другие хуже, но они все же есть, работа над созданием военной песни идет полным ходом, и надо надеяться, что качество ее все время будет повышаться.

Но что же сказать о песнях, посвященных жизни советского тыла? К нашему стыду, приходится признать, что таких песен почти нет совершенно. Количество их исчисляется единицами.

Тут в нашей работе, несомненно, существует огромный пробел, который мы обязаны заполнить.

Героический советский тыл, так же как и фронт, достоин того, чтобы о нем были сложены лучшие наши песни. И чем скорей мы возьмемся за эту работу, тем будет лучше.

Следует отметить и тот факт, что у нас очень мало создано детских песен, хотя наша детская аудитория поистине огромна. Многие композиторы охотно пишут музыку для детей, но вся беда в том, что текстов почти нет. Над детскими песнями работают Михалков, Барто и некоторые другие товарищи. Но этих товарищей мало и надо принять меры к тому, чтобы круг их был расширен.

Мне остается сказать несколько слов о том, какой же должна быть наша песня, какие качества должны быть заложены в ней.

Я понятия не собираюсь давать какие-либо универсальные рецепты, это и невозможно и не нужно.

Самое основное, на мой взгляд, заключается в том, что песня должна иметь самостоятельное художественное значение, независимо от того, написана на нее музыка или нет. Это

должны быть хорошие стихи с определенным поэтическим замыслом, доведенным до своего художественного завершения. При этом, однако, нужно учитывать, что не всякое, даже самое хорошее, стихотворение может стать песней. Значит, стихи, так сказать предназначенные для песни, наряду со своими поэтическими качествами должны заключать в себе и некоторые песенные особенности: простоту, напевность и прочие вещи, свойственные песне.

Я стою далее на том, что в основном наша песня должна быть сюжетной. Пусть этот сюжет будет самым простым, самым незамысловатым, но он должен быть. Все, или почти все, народные песни имеют свой сюжет, они о чем-то рассказывают, и это повышает интерес к песне. Песня, написанная общими словами, так сказать ни о чем, — мало интересна. Она не конкретна, расплывчата, трудно запоминается, и это, конечно, не может способствовать ее успеху.

Само собой разумеется, что могут существовать песни и не сюжетные, чисто лирические. Однако и в этом случае надо добиваться того, чтобы текст имел внутреннюю цельность, поэтическую собранность, чтобы он заключал в себе какую-то «поэтическую находку», чтобы он не рассыпался на отдельные, несвязанные друг с другом куски. Говорят: «Из песни слова не выкинешь». Вот и надо сделать так, чтобы действительно нельзя было выкинуть ни слова. Даже в том случае, когда поэт, скажем, просто пишет подтекстовку к готовой музыке (на практике это часто бывает), нужно добиваться, чтобы в подтекстовке был определенный поэтический замысел, свежее поэтическое слово и т. п. Короче говоря, во всех случаях к песне надо подходить не ремесленно, а творчески, и тогда количество плохих текстов у нас резко сократится.

Песни должны писаться очень простыми словами, смысл ее должен быть выражен с предельной четкостью и краткостью.

Возьмите наши популярные песни и среди них, к примеру, «Песню о родине» Лебедева-Кумача:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

В эти слова заложен очень большой, глубокий смысл. И выражен он с предельной ясностью, точностью и краткостью. Вряд ли тут можно что-либо замечать или добавять.

Или песня Суркова:

По военной дороге
Шел в грозе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги.
Мы коней подымали в поход.

И здесь в немногих простых, но очень точных словах дается широкая картина. Все это сделано крепко, хорошо, все поэтически слажено и оправдано.

Наконец возьмите такую прекрасную сюжетную песню, как песня «Проводы» Демьяна Бедного, которая в свое время была одной из популярнейших песен в нашей стране:

Как родная мать меня
Провожала,
Тут и вся моя родня
Набежала.
— А куда ты, паренек,
— А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванок,
Во солдагы...

Тут ни к чему не придерешься, тут найдены именно те слова, которые нужны, и каждое стоит на своем месте. Тут, между прочим, мастерски использован фольклор. Он вошел в песню не в качестве какого-то придатка, а слился воедино и органически со всеми остальными элементами песни.

Мне думается, что приведенные выдержки могут служить наглядным образцом того, как надо работать над текстом песни.

О том, что песня не переносит никакой вычурности, никакой надуманности, говорит нам случай с песней Алымова «По долинам и по взгорьям». Она совершенно заслуженно пользуется самой широкой популярностью. Есть в ней настоящая поэтическая простота и очарование.

Но Алымову, когда он писал эту песню, ее простые проникновенные слова показались, очевидно, чересчур простыми, и он решил их несколько «усложнить». Он написал:

Этих дней не смолкнет слеза,
Не померкнет никогда.
Партизанские атаки
Занимали города.

И конечно этот «изыск», как и следовало ожидать, не дошел, не был воспринят. И хотя текст Алымова печатался многие десятилетия, песню пели и продолжают петь так:

Партизанские отряды
Занимали города.

В той же песне у Алымова есть такое место:

Наливались знамена
Кумачом последних ран.

«Кумач последних ран» — опять-таки не совсем вразумительный образ, и он также не был принят. Это место народ переделал по-своему и поет его так:

Наливались знамена
Кумачом последний раз.

Из этого примера видно, как тщательно, с какой осмотрительностью нужно выбирать слова для песни. Не должно быть ничего лишнего, ничего тяжеловесного и надуманного. Песня не терпит фальши. И уж, конечно, в песне (да и во всяком другом произведении) совершенно нетерпимы такие обороты, как в песне «Два Максима» Дыховичной:

Пулеметчик был ранен, ребята,
Поврежден пулемет был «Максим».

У того же Алымова, в другой его песне, есть такие слова:

Много песен поет наш советский народ
Над полями, лесами густыми.

Почему народ поет песни над полями и над
лесами — непонятно.

К песне надо относиться с большой любовью,
в каждую песню надо, что называется, вкладывать душу, и только в этом случае мы сможем поднять нашу советскую песню на большую высоту.

Говорят, что пути песни неисповедимы, что трудно предвидеть, какая песня «пойдет», а какая нет. Поэтому, мол, не лучше ли просто писать как можно больше песен — авось какая-нибудь «вывезет».

Действительно, трудно предугадать, какая

песня «пойдет», а какая нет. Но все же, несомненно одно, что если и поэт и композитор приложат к той или иной песне настоящий труд, творческую изобретательность, у них будет неизмеримо больше шансов на то, что песня «пойдет».

Я не ставил своей задачей дать полный обзор советских песен. Это и невозможно сделать в одном выступлении, потому что песен у нас много — и хороших и плохих. Я поставил перед собой более скромную задачу — отметить лишь некоторые, наиболее серьезные, на мой взгляд, недостатки нашей работы в области песни и высказать несколько соображений о том, какой, на мой взгляд, должна быть по-настоящему народная советская песня.

В. ПЕРЦОВ

Повесть о Сталинграде

I

Развалины Сталинграда — их нельзя забыть.

Никакое описание не может передать то, что видишь: каменный скелет города простерся вдоль берегов великой русской реки, ни один дом в городе не уцелел, каждый погибал по-своему. Не улица и не отдельный район, а только весь разрушенный город в целом может дать представление о грандиозности борьбы, которую вели здесь наши люди. Недаром возникла мысль, приписываемая одному из американцев, побывавшему в Сталинграде, сохранить для потомства этот музей развалин — проклятием фашизму, а новый Сталинград сиречь рядом, на новом месте. Но, конечно, мы хотели бы как можно скорее расстаться с этим тяжелым зрелищем: новый строительный материал на поросших травой улицах между остовов зданий бодрит и радует. Мы эту радость ощутили со всей силой, когда, покинув центральную часть города, увидели латаные и вновь отстроены цехи первенца сталинских пятилеток — Сталинградского тракторного завода, с конвейера которого в июле 1944 года сошли первые опытные тракторы.

Как ни торопит душа время, когда сгинут развалины и на берегах Волги вознесется новый дивный Сталинград, кажется — вместе с развалинами изгладится и какая-то частица образа великой сталинградской битвы. Кому же, как не художнику-современнику, дано разгадать язык этих руин! При одном взгляде на них вас обступают тени героев, отдавших здесь свои жизни, но не пропустивших врага. И об этом неустанно напоминают нам братские могилы с их скромными надгробьями и трогательными наспех сделанными надписями...

Величественный памятник героям Сталинграда, который воздвигнет будущее, не заслонит этих знаков воинских почестей, отданных погибшим бойцам их товарищами. Так и произведение о Сталинграде, написанное художником-потомком, в распоряжении которого будет время и самые полные материалы, не заменит произведения, созданного современником-свидетелем и участником великих исторических событий. С таким чувством мы читаем повесть Константина Симонова «Дни и ночи». Это первое крупное произведение о Сталинграде, если не считать замечательной книги очерков В. Гроссмана, о значении которой мы писали.

К. Симонов — острый и наблюдательный бытописатель войны. Быстрота, с которой отливается у Симонова его наблюдения жизни в ту или иную литературную форму, вызывает у некоторых настороженность и недоверчивость. Может ли художник в столь короткие сроки осмыслить переживания столь потрясающие? Но это зависит от склада дарования, от силы дарования, от характера художественного замысла. Сколько времени для вынашивания образа? Этого никто не знает. Чтобы создать образ, обязателен не большой срок, а большое напряжение чувства, — вот вывод, который можно сделать из размышлений Л. Н. Толстого об искусстве. Время, нужное в одном случае, чтобы отстоялись впечатления очевидца великого исторического события, в другом случае может только охладить автора.

Повесть Симонова о Сталинграде заставила меня вспомнить другую сталинградскую повесть, написанную лет двенадцать тому назад и посвященную историческому событию, ставшему тогда в центре общественного внимания: сталинградский тракторный завод достиг про-

ектной мощности. Молодой писатель Яков Ильин, близко наблюдавший в течение многих месяцев труднейшую борьбу заводского коллектива за выполнение производственной программы, написал свое первое произведение о людях СТЗ, о людях первой пятилетки — «Большой конвейер». В обращении к своим читателям Яков Ильин говорит:

«В этой книге я жаден, тороплив, неосмотрителен. Мне хотелось все виденное и слышанное мной в последние годы и месяцы занести в книгу.

Я не добился строгого отбора людей, событий, слов, идей. Эта наисложнейшая задача литературной работы у меня впереди... Я не избежал длиннот, утомительных рассуждений, растянутых описаний. Но я полагаю, что читатель, не боящийся рассуждений и описаний, найдет в этой книге пульс нашей жизни, отражение своих интересов, дум, дел».

Автор был прав в характеристике недостатков своего романа, но он оказался прав и в оценке его главного достоинства: в нем бился пульс нашей жизни. В «Большом конвейере» мы узнаем тех, кто жил целями пятилетки, нас самих в те годы. Произведение Якова Ильина, хотя и несовершенное художественно, принадлежит к числу тех книг, значение которых сохраняется благодаря их правдивости. Перечитывая сейчас книгу Якова Ильина о людях первой пятилетки, начинаешь более отчетливо понимать, в чем мы изменились с тех пор, а в чем остались такими же, как были. Железная воля советских людей, проявившаяся в созидательном труде, еще более закалилась в трудностях нынешней войны.

В повести Симонова нельзя не сблизить мужество и стойкость его героев с исконной русской традицией, и здесь же чувствуется и начало традиции сталинградской. Никаким другим словом не назовешь того качества наших людей, в котором в дни отечественной войны соединились большевистское упорство и русский революционный размах. В планах комиссара Ванина о будущем озеленении Сталинграда, хотя вокруг творится сущий ад, в классическом героизме русского солдата Кониокова — участника войны 1914 года, в том особом сталинском военном духе осмотрительности и ошеломляющего маневра, свойственного командиру Проценко, Сабурову, живет сталинградская традиция. Но сталинградская традиция только намечена Симоновым в его повести.

В истории сталинградской обороны наиболее драматический момент, когда гитлеровцы прорвались к городу, связан с тракторным заводом. Враг подошел с севера, рабочие заняли оборону на реке Мечетка, вблизи от тракторного завода, в то время как их товарищи ремонтировали панки и составляли из своих же заводских рабочих их экипажи. Танки, выйдя из ворот завода, тут же вступали в бой. Эти рабочие отряды задержали врага, а потом влились в подошедшие части Красной Армии. Герой повести Симонова, Сабуров, в это время переправился со своим батальоном с левого берега Волги в Сталинград. И хотя Симонов не собирался писать историю обороны Сталинграда, хотя его повесть, охватывающая первый ее период, не претендует на то, чтобы быть повестью в строгом смысле слова исторической, но жаль, что в ней нет героя — рабочего с тракторного за-

вода. Это была бы фигура в высокой степени типическая для первого периода сталинградской обороны и, пожалуй, необходимая для полноты того, что мы связываем со сталинградской традицией. В городском сквере, на площади, окруженной развалинами, возвышается ныне рядом с обелиском, воздвигнутым пролетариатом красной Царицына, в память жертв белой контрреволюции, обширный холм братской могилы героев отечественной войны. Это соседство двух памятников глубоко символично.

В Царицыне-Сталинграде дважды переломилась новая история России: дважды сила врагов, опьяненных успехами, рухнула здесь, не будучи в состоянии возродиться.

Пролетариат Сталинграда должен увидеть себя в повести о городе-герое. Правда, из случайно оброненного Ваниным замечания по поводу военфельдшера Ани мы узнаем, что она работала нормировщицей на Тракторном, но этот факт ее биографии никак не сказывается в ее образе.

Когда сравниваешь людей первой пятилетки, показанных Яковым Ильиным, с героями симоновской повести, начинаешь понимать, как мы росли. «Философы» техники из «Большого конвейера», мечтающие о заводе без людей, об автоматическом управлении с пульта, при помощи нажима кнопки, с их несколько наглым пренебрежением к лирике, с их стыдливо скрываемой любовью к природе, — себя обкрадывали. Станным кажется инженер Бобровников, разыгрывающий из себя «делогу», лирик в душе, но этот тип схвачен верно — такие чудачки были. И правильно, что автор уже в то время противопоставил ему Егора Шуклина. Вот сцена на товарищеской вечеринке, перед отъездом группы инженеров в Америку на практику:

«Егор Шуклин организовал в углу стола хор и после десятка самых разнообразных веселых и печальных песен затянул «Каму».

Разговоры за столом прекратились.
Начинал Егор низко и тихо:

Ухнем, ребята,
Гора-то высокая,
Кама утрюмая,
Кама широкая.

Подхватывали все так же тихо и протяжно:

Эка жара,
Экой денек,
Эка гора,
Экой песок.

Сам пермяк, родившийся близ Камы, он жалостливо и натужно выводил переход. Он пел так, словно пел в последний раз, и, когда кончили, сказал твердо и восторженно:

— Нет лучше наших песен.

— Ну, ну, без национальной ограниченности! — грозил пальцем, крикнул ему, из-за стола Бобровников. — Посмотрим, что вы будете петь через два года.

— И тогда я «Каму» буду петь. — упрямо сказал Шуклин. — Давайте еще раз!..»

В героях повести Симонова мы чувствуем эти шуклинские черты.

Образ Сталинграда среди других образов, созданных самой героической действительностью отечественной войны, рождает особое чувство гордости русского народа: во всякой борьбе возможны временные неудачи, но есть рубежи, которых не отдают, за которыми открывается путь только к победе. Таков Сталинград. В этом имени заключено огненное для всего человечества великое содержание: историческое, моральное и стратегическое. «Не сдавайте врагу наш любимый город! Любимой ценой защитите город Сталина! Бейтесь так, чтобы слава о вас, как и о защитниках Царицына, звенела в веках», — писали участники героической обороны Царицына в обращении к защитникам Сталинграда. Правдивое предание о Сталинграде становится на века большой темой нашего искусства.

II

Когда поднимается занавес в первом акте постановки в театре Красной Армии. пьесы Юлия Чепурина «Сталинградцы», обычно сразу же раздаются взрыв аплодисментов. Зрители аплодируют декорации художника Шифрина, изображающей пылающий Сталинград на том берегу Волги. Действительно, декорация вместе со световыми эффектами дает полную иллюзию горящего города. Но мне пришлось слышать возражения участников обороны Сталинграда и людей, эвакуировавшихся отсюда, и против этих аплодисментов, и против вызывающей их эффектной декорации. В памяти этих людей незабываемы те ужасные дни, когда из зажженного немецкими бомбами города, под непрекращающимся обстрелом с воздуха, нужно было переправлять за Волгу стариков, женщин и детей. Зрелище пожара их родного города вызвало тогда у жителей такое негодование, гнев и презрение к нарушившим их мирную жизнь и труд захватчикам, до того не могло связаться с представлением о красоте, что, увидев в театре красивую декорацию пожара, они не могли воспринять ее только эстетически. И нужно сказать, что в своей слишком эффектной декорации художник не понял жизненную правду. Вопросы эстетики нельзя оторвать от той задачи, которая стоит перед всяким нашим художником: правдиво передать смысл переживаемых нами событий. Понять само собой, что эти вопросы встали и перед автором повести «Дни и ночи».

Он хотел показать стойкость защитников Сталинграда в самый трагический первый период обороны. Действие повести разворачивается почти целиком внутри трех домов, отбитых у немцев подразделением капитана Сабурова. Автору и не нужно было пытаться охватить все огромное пространство борьбы, чтобы передать то качество советских людей, которое решило судьбу Сталинграда. Напротив, замкнутость плацдарма борьбы, взгляд на все происходящее с точки зрения своей «колокольни», вернее сказать — из своего подвала, где помещается командный пункт Сабурова, отсутствие воздуха, света и пейзажа в этом произведении — все подчеркивает самую сущность сталинградской героики. Понимают ли эти люди всемирноисторическое значение того, что они делают? Они об этом не гово-

рят, и автор правильно замечает, что, выполняя приказ Сталина — «ни шагу назад», они меньше всего способны были смотреть на себя со стороны, любоваться собой и принимать красивые позы. В повести Симонова совершенно нет той «декоративности», которая в декорации пылающего Сталинграда кажется неуместной. Но хотя герои повести держат себя в высшей степени буднично, от читателя не может ускользнуть, что они действуют не безотчетно, что они готовы на все во имя высокой цели.

«Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство... спыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого — любовь к родине».

Это сказано Л. Толстым о защитниках Севастополя в 1855 году. С полным правом то же можно повторить о героях повести Симонова. Эстетическая традиция, в которой написана эта повесть, идет от Толстого. Иногда это чувствуется даже в построении фразы, в интонации, почти всегда это сказывается в трактовке героики наших людей.

Роль Толстого в развитии современной русской прозы можно сравнить с ролью Павлова в развитии науки физиологии высшей нервной деятельности.

Известно, что Чернышевский по «Севастопольским рассказам» сразу подметил одну сторону в художественном открытии Толстого, определив ее как «диалектику души» в изображении человека. Ленин назвал произведение Толстого шагом вперед в художественном развитии человечества. Эстетическая традиция Толстого по существу еще очень молода — мы это ясно почувствовали в дни отечественной войны.

«Самое близкое в литературе к тому, что я вижу, — это «Война и мир», — вот признание, с которым мы встречаемся не раз в письмах с фронта Юрия Крымова. Если образы «Слова о полку Игореве» воскресли в наши дни в замечательном «Слове о матери-родине» Максима Рыльского, то мимо толстовских образов русских людей на войне не может пройти ни один автор, пишущий на эту тему. Подобно тому как открытие Павлова живет в каждой новой работе его школы, то есть в каждом новом открытии, — так традиция Л. Н. Толстого — или какая-то одна ее сторона — живет сегодня и в отрывках романа Шолохова «Они сражались за родину», и в очерках Василия Гроссмана, и в повести Симонова о Сталинграде — именно живет, то есть обновляется, по-новому применяется.

В эпигонских, подражательных вещах, не основанных на новых жизненных наблюдениях, она разлагается. То чувство связи советской героики, которое обострила отечественная война, повело Симонова на путь традиции автора «Севастопольских рассказов». И это чувство не обмануло молодого писателя. Оно дало ему устойчивость, возможность спокойно разбираться в ошеломляющих впечатлениях потрясенного войной бытия.

И вот, от военного очерка-корреспонденции, напечатанного в сентябре 1942 года в «Красной звезде», под названием «Дни и ночи», где рассказано, как автор переправлялся через Волгу в Сталинград, автор переправился

к повести под тем же названием. Нужды нет, что его повесть напоминает этот очерк и вообще во многом напоминает собой очерк. Материал тут общий, но автор брал у самого себя. Если рядом с героем повести капитаном Сабуровым оказалась девушка-военфельдшер Аня, то «рядом со мной» — рассказывал автор очерка, — на краю парама сидела двадцатилетний военфельдшер девушка-украинка по фамилии Щепеня с причудливым именем; Виктория. Она переезжала туда, в Сталинград, уже четвертый или пятый раз». Повесть лучше сталинградских очерков Симонова, а вымышленные герои не только не обесцветили жизненных наблюдений, как это иногда бывает, но, напротив, позволили автору поднять более глубокий их пласт.

Повесть Симонова возбуждает желание знать больше о наших людях, но тому, что Симонов рассказал, веришь. Иное наблюдение стоит обобщения. Хорошо схватывает автор в деталях поведения людей и чертах быта самое главное, характерное для исторического момента. Следуя традиции Толстого, автор находит героическое в обыденном. В повести есть одна сцена, где нерушимость всеобщего убеждения, что Сталинград не может быть оставлен, выражена с непреложной силой факта. Как раз в момент нарастания опасности приходит в дивизию из Академии связи вызов на учебу командира Еремينا. Удивленный Еремин является для оформления документов к Бабченко — заместителю командира дивизии, человеку сухому, упрямому, хотя и большого личного мужества. Еремину хочется поговорить, услышать от своего начальника на прощание какие-то человеческие слова.

«Еремин протянул ему бумагу».

Бабченко, все так же не поднимая глаз от стола, подписал бумагу и протянул Еремину.

Наступило молчание. Еремин, переминаясь ногами на ногу, несколько секунд постоял на месте в нерешительности.

— Так вот, значит, еду, — сказал он.

— Ну, что ж. Поезжайте.

— Зашел проститься с вами, товарищ подполковник.

Бабченко, наконец, поднял глаза и сказал:

— Ну, что ж, желаю успехов в учебе. — и протянул Еремину руку».

С тяжелым сердцем уходит Еремин, он не мог представить себе, что «все произойдет до такой степени по-казенному». Сухость Бабченко не может не огорчить читателя. И хотя неприятно и даже больно сознавать бесчувствие Бабченко, но в том, что он принимает как самое обыкновенное дело отъезд Еремина на учебу из пылающего Сталинграда, где каждый боец на счету, нельзя не ощутить спокойствия и уверенности.

На командный пункт к Сабурову приползает под жестоким обстрелом следователь из штаба дивизии, чтобы снять допрос с дезертира Степанова. В момент допроса начинается немецкая атака, в отражении которой принимают участие с оружием в руках и следователь, и Степанов, и красноармеец, охранявший Степанова. После отражения атаки следователь выносит постановление: прекратить дело Степанова и отправить его на передовые. Отправлять его, конечно, некуда, потому что

дело происходит в Сталинграде. И в поведении следователя, невозмутимо исполняющего свои обязанности в исключительной обстановке, и в спокойном ожидании сталинградской жительницы с тремя детьми, оставшейся в подвале дома, — «может, вы немцев отобьете», и даже в несимпатичной сухости Бабченко, выражена сталинградская стойкость, всеобщая нерушимая вера в разум и волю, направляющие ход событий. Каждый из этих эпизодов может быть развернут в психологическую новеллу. Но автор не ставит себе такой задачи и с помощью одних только метких художественных деталей создает картину героического быта, будничного массового подвига сталинградцев.

На этом фоне подвиг капитана Сабурова, сумевшего в течение одной ночи дважды проползти под самым носом у немцев в расположение отрезанного ими полка и связать с ним штаб Проценко, не кажется невероятным. Кто такой Сабуров? Автор подчеркивает в нем черты общие и типические для людей октябрьского поколения. Это русский человек, спокойный и простой в своем мужестве, сердечный и твердый, склонный к лиризму и волевой в одно и то же время. Это хороший гражданин своей советской родины. Вместе со всей молодежью он строил новые заводы сталинских пятилеток. Потом он, молодой человек, пришедший из народа, стал советским интеллигентом, избрав для себя специальность историка. Война, в которой он участвовал с первых дней, сделала его солдатом, ему доставляет наивное удовольствие то, что Аня обманывается, принимая его за кадрового военного. Повесть верно передает историческую атмосферу, насыщенную волей к овладению всинским мастерством.

Автор показывает целеустремленность своих героев: капитана Сабурова, командира дивизии Проценко, старого солдата Конюкова, рост их военных знаний, изучение приемов борьбы с сильным и коварным врагом. Стремление овладеть воинским мастерством составляет ту страсть, без которой нельзя понять этих людей, подобно тому как нельзя представить себе людей первой пятилетки, избравших Яковом Ильиным, вне их страстного желания освоить американскую технику. Но, повидимому, одной «профессиональной» целеустремленности мало, чтобы раскрыть человека. В одном из набросков предисловия к «Войне и миру» Л. Н. Толстой писал:

«Для историка, в смысле содействия лицом какой-нибудь одной цели, есть герой, для художника, в смысле ответственности всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди»¹.

В повести Симонова мы оцениваем Бабченко как плохого командира также и потому, что мы ощущаем его как человека. Видя, что атака не удалась, упрямый Бабченко требует ее возобновления, не слушает разумных доводов Сабурова и гибнет благодаря своему упрямству. Смешанные чувства жалости к убитому товарищу и облегчения, освобождения от воли неразумного начальника, из-за которого бе-

¹ Л. Толстой, Полное собрание художественных произведений, том VII, М. 1929, стр. 315.

смысленно гибнут люди, овладевают Сабуровым, дорисовывая образ Бабченко. В этом мы чувствуем «соответственность всем сторонам жизни». Есть в повести еще один штрих, неожиданно обнажающий в характере Бабченко, хмурым и замкнутом, нелепо самонадеянным, глупою боль за родину:

«Они оба с минуту постояли молча. Вдруг Бабченко, попрежнему не оборачиваясь к Сабурову, но уже совсем в другом тоне, обращаясь к нему на «ты», сказал с неожиданным гневом и обидой в голосе:

— Нет, ты посмотри, что они с людьми делают, сволочи!

Мимо них, тяжело переступая по шалам, вереницей шли сталинградские беженцы, оборванные, изможденные, перевязанные серыми от пыли бинтами».

Эта небольшая сцена в начале повести, как и личное мужество Бабченко, примиряют с его безрассудством и сообщают его образу внутреннее благородство. В известной примитивности Бабченко автор нашел ключ к его образу. Другое дело Сабуров — главный герой повести. Это, по замыслу автора, человек думающий, осмысливающий события. В лице Сабурова мы знакомимся с теми кадрами, которые были подготовлены к защите сталинградского рубежа в суровой школе первого года отечественной войны. Автор дает почувствовать значение опыта войны для боевых успехов своего героя, но как будто оставляет в стороне тот огромный нравственный опыт, каким не мог не стать Сталинград для такого человека, как Сабуров. Автор хочет продолжить эту односторонность, показывая Сабурова в ином разрезе. Любовь Сабурова и Ане, этот любовный мотив — не просто дань романтической традиции, а желание увидеть в суровой обстановке борьбы, в которой люди оторваны от всего личного, мечту о личном счастье, которая только усугубляет героинку долга. Вряд ли, однако, любовь к Ане вносит ту «соответственность всем сторонам жизни», которая только и создает образ. Любовь Сабурова не ватронула в нем какую-то глубокую струну, которая звучала бы во всем строе его личности. Что узнал Сабуров в Сталинграде, стал ли он как-то по-иному, по-новому смотреть на людей, на жизнь, на самого себя под влиянием огромного исторического и просто человеческого опыта — на этот вопрос не дает ответа любовь Сабурова, этот вопрос остается без ответа и во всей повести.

Автор повести, написанной под влиянием Толстого, не смог плодотворно воспользоваться этим могучим влиянием в самом главном.

«Соответственность всем сторонам жизни» в изображении человека есть тот драгоценный принцип в художественном открытии Толстого, который слишком часто забывают наши авторы, желая показать «содействие лица одной какой-нибудь цели» — производственной, государственной, военной. Симонов настолько поглощен тем, что делают его герои, что из его повести выпал портрет. Проценко вызывает к себе Сабурова. Мы узнаем, как выглядел блиндаж Проценко:

«Он любил, чтобы блиндаж был хорошо открыт, по возможности просторен, со столом, с табуретками, с удобным местом для сна. Это была привычка обстоятельного человека, который воюет уже не первый год и для ко-

торого блиндаж давно превратился в постоянное местожительство».

Вид блиндажа, конечно, характеризует Проценко — опытного военного, но как выглядел Проценко, не сказано даже тогда, когда он смотрится в зеркало.

О своем главном герое, капитане Сабурове, автор так говорит в начале повести:

«Очень большой и казавшийся, несмотря на свои могучие плечи, все-таки слишком высоким, он своей огромной сутуловатой фигурой, простым и суровым, почти строгим лицом чем-то неуловимо напоминал молодого Горького».

Если бы не было этого последнего сравнения, то вряд ли мы смогли бы представить себе Сабурова. Но в дальнейшем ходе повествования физический облик Сабурова не ощутим, нет ни одной портретной детали, которая связывалась бы с его образом. Повесть Симонова иногда напоминает литературный сценарий. Ее язык, передающий только действия, чуждающийся краски или оттенка, выразительнее в диалогах. Но за исключением традиционного говорка старого солдата Конюкова, индивидуальность персонажей мало чувствуется в их речах.

Сопоставьте теперь с Сабуровым того же Конюкова — участника войны 1914 года, или молодого офицера Масленникова, чья героическая гибель остается в памяти, — этим привлекательным образом также вредит односторонняя трактовка.

Автор сочувственно говорит о честности Масленникова, о его тщательно скрываемом от всех соперничестве со своим знаменитым братом-летчиком:

«Этот мальчик был честолюбив и тщеславен тем тщеславием, за которое трудно осуждать людей на войне. Он непременно хотел стать героем и для этого хотел сделать любое, самое страшное, что бы ему ни предложили».

Трудно не согласиться с автором в его сочувствии к своему герою, нельзя не оправдать, не полюбить Масленникова с его сбавлением молодости и готовностью к самопожертвованию. В образе Масленникова автор идет от толстовского Пети Ростова. Но и здесь автор не смог «применить» традицию Толстого, чьи герои конкретно историчны, и, стало быть, правильно понята традиция Толстого учит изображать советских людей не похожими на толстовских героев. Правильно то, что источник героизма Масленникова Симонов видит в зависти мальчишка, обожающего своего знаменитого брата и ревнующего к его славе. Но разве толстовское умение раскрывать сердца не учит художника подходить к человеку во всей его сложности, видеть правду подвига в реальном переплетении различных стимулов? Масленников вспоминает о том, как его брат вернулся из Испании. Неужели воображение подростка, каким был тогда Масленников, поразила только воинская доблесть брата-летчика и не запала в душу идейная цель его борьбы? Где же и когда воспитывался этот мальчик? Почему ни он, ни кто другой в повести не думает, не вспоминает о великой обороне Царицына? Читатель повести Симонова, идя от своего знания жизни, самостоятельно добавляет образ Масленникова к нужному направлению, но как бы вырос этот образ, если бы автор глубже взгляделся в своего героя.

В творчестве Симонова повесть «Дни и ночи» может стать переходом к большой работе. И, мне кажется, автор повести, веря в свое будущее, мог бы сказать о ней, подобно Якову Ильичу:

«В этой книге я жаден, тороплив, неосмотрителен. Мне хотелось все виденное и слышанное мной в последние годы и месяцы занести в книгу. Я не добился строгого отбора людей, событий, слов, идей. Эта наисложнейшая задача литературной работы у меня впереди...»

Войны проходят, искусство остается. Не так давно автору этих строк пришлось ломиться в открытую дверь, доказывая необходимость такого искусства в этой войне, которое остается. Конечно, никогда не поздно художнику сказать правдивое слово о своем времени. Но дорого слово, сказанное для своего времени. Недостатки повести К. Симонова очевидны. Однако значение сильных и убедительных картин сталинградского военного быта, составляющих ее главное художественное достоинство, таково, — вся повесть настолько исполнена современного интереса, что мы не можем не отнестись к ней и в целом иначе как с полным сочувствием. В быстроте, с какой она написана, мы уважаем желание поделиться с читателем тем, что автор увидел и чем понастоящему был потрясен. Во всем мы чувствуем, как нравственная сила любви к родине поддерживает защитников Сталинграда в самых ужасных условиях, и они среди ежеминутной смертельной опасности всем

своим поведением — и в большом и в малом — утверждают величие советского человека. Необычайно долгими кажутся нам те два месяца или, лучше сказать, те шестьдесят «дней и ночей», которые прошли с тех пор, как капитан Сабуров выгрузил свой багальон на левом берегу Волги, переправился в Сталинград и отбил у немцев три дома, сохранив незабываемым свой рубеж, несмотря на отчаянные атаки врага. И вот наступил канун исторического дня генерального наступления наших войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года. Немногими, но верными словами рисует Симонов образ товарища Сталина, живущий в душе каждого защитника Сталинграда. Вера в Сталина — вот истинная опора стойкости сталинградцев. Вместе с далеким гулом нашей артиллерии читатель слышит радостное бие сердце Сабурова, Масленникова, Проценко, видит их посветлевшие лица, проникается чувством несравненной торжественности минуты, переживает «что-то волнующее и величественное — то, что заставляет холодеть спину, от чего подкатывает ком к горлу, то, о чем будишь писать в истории, чему будут завидовать не испытавшие этого в своей жизни потомки».

Повесть Симонова со всеми ее художественными достоинствами и недостатками — честное горячее слово современника о великом историческом событии. За честность, горячность и достойную простоту повествования мы благодарны автору.

М. РОЗЕНТАЛЬ

Книжка о Белинском

В издании пензенской газеты «Сталинское знамя» вышла небольшая книжка В. Нецаевой под заглавием «Виссарион Григорьевич Белинский». Как узнаем из объявления на обложке, издательство газеты наряду с уже выпущенными брошюрами предполагает издать ряд других брошюр, посвященных прославшимся людям своего края. А Пензе есть чем гордиться! Радищев, Лермонтов, Белинский, Огарев, Салтыков-Щедрин и многие другие выдающиеся русские деятели — уроженцы Пензенского края.

Бога та русская земля великими талантами и замечательными людьми, и если бы другие издательства предприняли такую же работу по ознакомлению трудящихся своих областей и краев с политическими деятелями, литераторами, художниками, учеными, имена которых связаны с данной областью или краем, то это имело бы большое культурное и воспи-

тательное значение. В свое время Горький призывал к организации такой работы.

Но чтобы достичь своей цели, издаваемые книжки должны быть тщательно подготовлены и сделаны с любовью. Ответственность за них чрезвычайно серьезна. Нельзя писать «как-нибудь» о таких людях, как Радищев, Белинский, Салтыков-Щедрин, люди эти — слава и гордость советского народа.

К сожалению, книжка В. Нецаевой сделана неряшливо и содержит ряд существенных ошибок в освещении жизненного пути Белинского. Автор не продумал основательно план и структуру своей работы и не приложил усилий, чтобы в маленькой книжке (52 страницы небольшого формата) сказать как можно больше и лучше о значении Белинского в истории России. Все, что в ней сказано о литературной и политической деятельности великого русского мыслителя и революционера,

часто поверхностно и не всегда внятно. Отдельные главы, как, например, последняя, посвященная высказываниям Белинского о России, сделаны неплохо. Но критике должна быть подвергнута основная часть брошюры, где автор пытается показать развитие философских взглядов, мировоззрения Белинского.

Путь поисков Белинским научной и революционной истины был поистине великим подвигом. Белинский буквально выстрадал те истины, которые составляли вершину его деятельности. Он был самостоятельным и оригинальным мыслителем, стоявшим на уровне знаний своего века, и дороже всего на свете ему были интересы переустройства жизни своего народа, интересы развития своей страны. Его поиски научного философского взгляда на мир были целиком подчинены его общественно-практическим стремлениям, страстному желанию избавить Россию от гнета крепостничества и видеть ее Россией народной, передовой, цивилизованной, стоящей во главе прогресса.

Недаром Ленин назвал Белинского предшественником русских революционных социал-демократов. Белинский внимательно анализировал ход истории, учитывал опыт развития разных стран, и ту или иную теорию творчески рассматривал в свете основной практической задачи — создания подлинно человеческих условий жизни народа. Нельзя ничего понять в развитии взглядов Белинского, если не исходить из этой основной для его деятельности предпосылки. Тогда ясен будет и получит правильное освещение вопрос о связи взглядов Белинского с западноевропейскими теориями, его отношение к таким философам, как Шеллинг, Фихте, Гегель. Хотя В. Нечаева и отмечает, что теории этих западноевропейских философов не имели решающего воздействия на Белинского, но в ее изложении благодаря тому, что недостаточно подчеркивается решающая предпосылка всей деятельности Белинского, он выглядит то как «страстный шеллингианец», то как «фихтеанец», то как «гегельянец», что конечно, в корне неверно.

Несомненно, сопоставляя опыт России и Западной Европы, жадно следя за каждым новым словом Европы, Белинский воспринимал те взгляды, которые ему казались правильными, производил активный отбор, давал им свои оценки и на этом пути имел и победы и поражения. Но не учеником был он, а крупнейшим самостоятельным мыслителем, сумевшим в условиях отсталой, крепостнической страны двигать общественную мысль России в сторону научного мировоззрения.

Да, Белинский временно принимал те или иные ошибочные выводы Фихте, Гегеля, но ни на минуту не прекращалась в его сознании борьба за подлинно научное и революционное мировоззрение, и достойно изумления, с какой энергией и силой раздвигался он с этими выводами, быстро становившимися для него чужеродными, отделял прогрессивное — живое от реакционного и мертвого, с какой удивительной быстротой, — поистине семимильными шагами, — шел он вперед и вперед в сторону философского материализма, революционной диалектики, социализма.

Вот этот процесс развития Белинского не нашел своего отражения в книжке В. Нечаева.

Более того, В. Нечаева в ряде случаев просто обнаруживает незнание некоторых элементарных теоретических вопросов.

Она, например, пишет:

«К 1836—1838 годам относится сближение Белинского с М. А. Бакунинным. Последний познакомил его с философией Гегеля. Учение этого философа, сыгравшее такую большую роль для Маркса и Энгельса, воспринявшаяся Герценом как «алгебра революции», в трактовке Бакунина вело к консервативным выводам. Белинский, не имея возможности самостоятельно изучить сочинения Гегеля, принял неправильное толкование Бакунина и, развивая в этом направлении формулу Гегеля «все разумное действительно, все действительно разумно», пошел по ложному пути».

Все это от начала до конца неверно.

Известно, что не «учение этого философа» воспринималось Герценом как «алгебра революции». Герцен «алгеброй революции» называл диалектику, притом диалектику в ее рациональной, а не мистифицированной форме. Герцен резко критиковал идеалистический характер гегелевской диалектики и великолепно понимал ложность ее идеалистического исходного пункта. Что же касается «учения», то есть системы Гегеля в целом, то он его решительно отклонял за то, что Гегель «был в ладу с существующим», за то, что «ему было жаль разить» и т. д., то есть за его консерватизм.

Неверно, далее, что философское учение Гегеля «в трактовке Бакунина вело к консервативным выводам», что дело «в неправильном толковании Бакунина». Бакунин в первый период своей деятельности действительно делал консервативные выводы из положений Гегеля, но не потому, разумеется, что он «неправильно толковал» их, а потому, что сам Гегель давал для этого основания и делал такие выводы.

Разве примирение с действительностью — выдумка Бакунина, а не основной принцип философской системы Гегеля? За что же с такой страшной силой обрушился впоследствии Белинский на Гегеля, если не за то, что философская система последнего требовала признания существующего реакционного строя разумным. Потому и напал Белинский на Гегеля и подвергал его взгляды глубокой критике, что гегелевскому «нежному снисхождению к существующему» — по выражению Чернышевского — он противопоставлял свой принцип — принцип отрицания отжившего, без которого, по его словам, история превратилась бы в «стоячее и вонючее болото».

Потому и в развитии передовой русской общественной мысли критика, притом всесторонняя критика, взглядов Гегеля была закономерным и важнейшим этапом. Через этот этап прошли и Герцен, и Белинский, и Чернышевский, давшие блестящую и оригинальную критику гегелевской философской системы.

В. Нечаева далее пишет:

«Отказываясь от философии Гегеля, Белинский принимал, однако, его учение о развитии, его диалектику...»

И это неверно. Еще Чернышевский в своих знаменитых «Очерках гоголевского периода русской литературы» писал: «Пылкие и рьяные умы, как Белинский и некоторые дру-

гне, не могли долго удовлетворяться теми узкими выводами, которыми ограничилось приложение этих (то есть диалектических — ... P.) принципов в системе самого Гегеля; скоро заметили они недостаточность и самих принципов этого мыслителя.

Не мог Белинский, ставший материалистом, принять гегелевскую диалектику в том виде, в каком она была развита на идеалистической основе. Он видел положительные стороны философии Гегеля, заключавшиеся в ее диалектическом методе, но он понимал слабость этой диалектики и материалистически ее перерабатывал.

Указанные ошибки В. Нечаевой тем более серьезны, что она странным образом, почти ни словом не обмолвилась о материализме Белинского. Как можно говорить о развитии мировоззрения Белинского и ничего не сказать о материалистических его воззрениях, о его боевой и полной революционной пафоса материалистической критике идеализма!

Вместе с тем В. Нечаева впадает в другую крайность и утверждает, что Белинский подошел к пониманию «сущности законов капиталистического развития».

Несколько лучше обстоит дело, когда автор книжки излагает отдельные литературные

взгляды Белинского, но и здесь не обходится без неряшливых формулировок. Например, говоря о том, что Белинский боролся за «идейное искусство», В. Нечаева заявляет: «Но он предостерегал от погони за идейностью произведения в ущерб его художественности...»

Что общего имеет это вульгарное положение с действительным Белинским и как можно приписать такую мысль великому критику? Не от «погони за идейностью» предостерегал Белинский, а от разрыва двух неотъемлемых элементов подлинного искусства, взаимопроницающих друг друга, немислимых друг без друга. Без идейности нет и не может быть подлинной художественности, без художественности нет и не может быть подлинной идейности в искусстве — такова действительная мысль Белинского.

Таким образом, если подвести итог, книжка В. Нечаевой, выпущенная издательством пензенской газеты, страдает серьезными недостатками и в силу этого не достигает своего благородного предназначения. Издательство должно позаботиться, чтобы следующие выпуски были подготовлены лучше и основательнее.

В. АЛЕКСАНДРОВ

По областным изданиям

I. СТРАНА И ДЕТИ

Девочка рассказывает о себе: «Я жила в деревне. Было мне около шести лет. Я любила играть с подружкой Валей в куклы и строить домики из песка и щепок. Валя построила у забора много домиков и сказала: — Смотри, какой у меня город!»

Девочка никогда не бывала в городе и очень обрадовалась, когда узнала, что осенью все они поедут в город и останутся там жить.

«И вот мы приехали... Густой, густой лес стоял возле нашего костра.

— Где же город? — спросила я.

— Мы в городе, дочка, — ответила мама.

— Только его еще нет, — смеясь добавил отец, — но он скоро будет».

Жили в маленькой избушке, которую отец девочки построил сам. Около них поселились другие горожане. Нашлись новые подружки. «Играли вместе возле землянок, а в лес ходить боялись. Да и ходить туда было незачем: ягоды, грибы, дрова — все рядом было. Надо на завтрак грибов — побежишь на сто шагов и собирай, сколько хочешь. А ягоды к чаю мы прямо с кустов рвали». Однажды зашли подалее, встретили медвежонка, испугались, побежали, увязли в болоте.

Зимой боялись волков, когда отцы уходили

на работу, матери жгли костры. Как-то раз, когда все спали, костры потухли. «Волки осмелели, окружили «город» и начали выть... Часто шел снег. Так, бывало, завалит, что выйти нельзя — дверь не откроешь. Выйдут рабочие на улицу и не знают, как до строительной площадки добраться. Потом придумали. Запрягут лошадей в фозвальни и пустят по снегу. Подвода пройдет, снег утопчет, а вслед за ней рабочие идут, — землекопы, плотники, столяры, каменщики, служащие...»

Был такой случай. Возле продуктового ларька девочки увидели толпу. Ларек собираются вскрывать: ночью туда забрались воры; две доски выворочены из стены. Но только продавец распахнул дверь — «на него бросился огромный медведь, сбил его с ног и кинулся наутек».

«Испуганный продавец поднялся на ноги и сказал:

— Только вчера привез мед из Свердловска, а он уже унюхал.

После этого случая я пришла домой и сказала маме:

— Зачем ты меня обманула? В город, говорила, поедем жить, а тут в магазинах, вместо игрушек, живые медведи живут.

Прошло девять лет. Я учусь в седьмом классе 80-й школы уральского ордена Ленина завода тяжелого машиностроения. Мои подружки учатся тоже в седьмых классах.

Недавно мы вместе вышли из школы, и я, остановив девочек, спросила:

— Помните, как мы вот на этом самом месте грибы собирали и от медвежонка удирали?

— Да,— ответила Паня,— а теперь здесь наш красивый город. Родной город!

Это написано очень хорошо. Город — сперва в игре, в воображении, в мечте деревенской девочки; потом город как будто и настоящий, и совсем необычный, фантастический, город с приключениями, с волками и медведями на улицах, с грибами и ягодами возле дома. Город растет, а вместе с ним, вместе с новой жизнью страны растет и ребенок.

Этот рассказ — «Родина заводов» — из книги, которую написали о своем родном крае пионеры и школьники Урала¹.

Прекрасное дело, характерное именно для нашей советской культуры, опиралось на уже накопленный опыт, на сложившуюся традицию. В 1933 г. такую коллективную книгу написали иркутские пионеры — 20 ребят; их начинание приветствовал Горький. Несколькими годами позже появилась книга о Заполярье, написанная школьниками и пионерами Игарки. В этой работе принимали участие 3000 детей. «Урал — земля золотая» требовал еще более широкого охвата — и по материалу, и по авторам; тем трудней и сложнее были задачи, стоявшие перед составителями; ведь на Урале, — сообщает А. Климов, — одних школ больше 6000, миллион школьников. Для книги было прислано «свыше 8 тысяч рассказов, очерков, дневников, стихотворений», «больше 500 картин, этюдов, рисунков, иллюстраций»².

План издания хорошо продуман. Начать нужно было именно так — с естественной истории, с рассказа о том, как «в течение миллионов лет поднималось дно Древнего Уральского моря», как, «прорывая осадочные породы, известняки и песчаники, из глубины земли на поверхность хлынула жидкая лава». Потом — переход к истории человека: «когда-то давно эта река (Виссера) была известна не только на Руси, но и далеко в жарких странах Азии, в Персии, в Византии. Сюда приезжали купцы из солнечных стран торговать «мягкую рухлядь» — пушнину. Где-то здесь у камня Говорливого, у Полюда существовала легендарная страна Биармия, завоеванная новгородцами...» И дальше: от сказов о Ермаке, о кладе Пугачева, о Салавате — к гражданской войне и современности.

В этой фольклорной и исторической части есть некоторый пробел. Шире могли бы быть показаны труд и быт старого крепостного

Урала и Урала пореформенного, сохранившего, как известно, до самой Октябрьской революции многие пережитки крепостной старины; материал, примыкающий и к фольклору, и к семейным преданиям, и к личным воспоминаниям. Можно было бы выполнить работу, аналогичную той, которую среди горнорабочих южной и западной Сибири провел А. А. Мисюров (такие, например, записи, как «Отцы сказывали», «Рассказы бергала», «В самые первые времена», «Старушка и пристав», «За что ты драли», рассказы об управляющих Фрезе и Болдыгреве, «Окаянный николаевский строй», «Бунты на Тайлахе», «Супротивцы» и другие¹. В рецензируемой книге такой материал почти совершенно отсутствует. Жаль. В беседах с уральцами-стариками можно было бы (и было бы совсем не трудно) собрать много поучительного в этом отношении — полезного и для молодых авторов книги, и для ее читателей.

О том, как интересны и ценны такие воспоминания, можно судить, в частности, по роману Сигова «На старом Урале»; автор (давно скончавшийся) — сын крепостного крестьянина. В его романе² — живая картина предков.

Современность (книга была написана в разгар ошеломительной отечественной войны) представлена кратко и увлекательно: строительство новых заводов и вновь возникающие процессы: Мотовские горки, Калийный комбинат, домы и шахты, открытие и разработка горных уральских богатств, каменного угля и нефти, бокситов, меди, слюды, асбеста, золота, платины, драгоценных камней — всего не перескажешь.

Разумеется, как и во многих очерках, написанных взрослыми авторами, здесь время от времени появляется лицо, которое «близко к нам»: «из боксита получают не только алюминий, но и другие материалы для изготовления различных изделий... железной, карборунд... Они употребляются для обработки твердых металлов, например стали...» Разумеется, эти сведения услышаны от взрослых или вычитаны из книг. Как же иначе? Было бы нелепостью для сохранения эстетической детское восприятия? Исключить науку взрослых из этой книги. Важно то, что это усвоенное знание не остается у наших детей отвлеченным и книжным; оно воспринимается непосредственным знакомством с содержанием этого знания, проходит сквозь предельно, сквозь жизненный опыт, обрывает плоть и кровь. Вот они, эти бокситы; а вот они, эти известняки, вишне-красные, вишне-красные, серые, желтые, яшмовидные, белые, белые, красивые пласты! Смотрите... шовки... торты».

Мальчик (Виктор Щенников) не только писал о драге, он видел ее, и написал о ней хорошие стихи:

¹ Замечательный сборник Мисюрова («Легенды и были», предисловие М. К. Азадовского, 2-е издание, Новосибирск, 1940), хорошо известный фольклористам, заслуживает внимания самых широких читательских кругов.

² Роман вышел в Молотовском областном издательстве.

¹ «Урал — земля золотая». Книга пионеров и школьников Свердловской, Молотовской и Челябинской областей. Организатор и составитель Анатолий Климов, редакторы Ф. Колычев, А. Котов, Н. Рождественская. Огиз, Свердловск, 1942.

² Многие рисунки превосходны. Особенно хочется отметить рисунок пятиклассницы М. Тасмановой (Становище Бурмантова) к хорошему очерку А. Хатанзеевой «У намола манся».

По краям глубокого оврага
Мох, шиповник, белый строй берез.
В стороне грызет породу драга,
А за ней раскинулся покос.

По утрам прохладой дышит
Эта топь желтеющих болот,
Дым колеблется над дражной крышей,
По низам прозрачный пар ползет.

Драга — золотое судно на причале,
Загудит, как будто пароход...

С какими приключениями, в скольких интереснейших путешествиях — в лесах и горах, по рекам и озерам, в пещрах, коях, запovedниках драгоценных минералов — обогащалось это живое знание страны, ее работы и природы, где только не побывали авторы книги «Урал — земля золотая».

«Давно мы мечтали побывать наверху дома... Взирались мы на домну по лестнице, обвитой вокруг железного квадратного столба шириной метров семь, по которому в клетях на домну подается руда. Столб этот с земли кажется очень высоким, верхушка как будто уперлась в небо. Последние ступеньки. Еле еле передвигаем ноги... Люди кажутся букашками, поезд с вагонами — игрушечным» («На домне»).

«— А теперь жми, — учил его шахтер. — Жми!»

Собрав все силы, Коля налег на молоток, тот зашипел и всей пикой ушел в мягкий уголь, так что его еле вытащили.

— Нет, ты, брат, не так. Ты не силой, а кваткой бери, — сказал ему шахтер и, взяв молоток, начал бурить. Уголь шумным потоком посыпался к его ногам. — А теперь ты попробуй.

На этот раз у Коли получилось лучше.

— Из тебя хороший шахтер, — похвалил шахтер («В подземном городке»).

Отсюда, от этого предметного опыта — естественная органическая образность, художественная конкретность воплощенных в книгу литературных произведений. И хотя этот опыт осуществляется с непосредственным увлечением детской игры, временами он не так уж далек от вполне серьезных, по-взрослому значительных результатов.

Работали в партии геологов, на вышке, у бурильной машины. «Отвинтили коронку и стали вынимать керн. Андрей радостно вскрикнул:

— Смотри, Глеб, жила!

В синеватом столбике керна ясно вырисовывался белый слой кварца. Это была золотосодержащая жила» (Г. Сычев, «Жила»).

Или другой эпизод.

«— Чего ты кричишь? Волки? — спросили меня прибежавшие ребята.

— Какие там волки. Касситерит!

— А что это?

— Ребята, это — олово».

«Мы искали оловянную руду долго-долго. И мы ее нашли. В геологическом управлении подвергли проверке нашу находку...

— Двести лет люди думали, что на Урале олова нет. Вы, ребята, разбили эту теорию. Олово на Урале есть» (И. Шляпкин, «В разведках»).

Много прекрасных страниц посвящено деятельности юных натуралистов и описаниям уральской природы.

В чувстве природы, — говорил Тимирязев, — есть «какая-то смутная память об общем детстве человечества, как и воспоминание о личном детстве, с годами становящаяся только более дорогой»¹. Это глубокая и правильная мысль. Наше отношение к природе действительно связано с воспоминанием о детстве и с нашим отношением к детям. Может быть, именно поэтому так увлекают нас эти страницы в книге, написанной детьми.

Когда мы бываем в зоопарке, мы смотрим не только на его обитателей, мы смотрим на то, как смотрят на них, как переживают эту встречу с природой (живой, двигающейся, и поэтому особенно интересной) всегдашние посетители зоопарка — дети, и радуемся вместе с ними.

Трудно отказаться от удовольствия процитировать рассказ шестиклассника В. Мешкова из села Печеркина «Пернатый разбойник» о том, как поймали филинчика, как он рос, что он вытворял, сколько хлопот и беспокойства причинял своему хозяину. Рассказ написан живо, с хорошим юмором.

«У бабки Татьяны, что живет неподалеку от нас, он петуху раз голову оторвал... Мы его купили петуха на птицеферме в колхозе. Успокоилась бабка, я вздохнул свободно. Но не тут-то было.

Через несколько дней видим, бабка плетется к нам и несет подмышкой петуха.

У меня сердце екнуло, спрашиваю:

— Что бабушка?

— Не надо мне этого петуха, давай другого. Это не петух, а воображало какой-то: ни на одну курицу и глазом не поведет.

Вот беда! Поплелся я в соседний колхоз, в котором разводят петухи другой породы — красивые и большие. Обменял два рубля приплатил, петуха выбрал на славу: высокий, орет, как паровоз.

Бабка этим петухом осталась очень довольна.

Вечером зашел в сад, Филька сидит на сопе, я погрозил ему:

— Разбойник! Идол! Из-за тебя со всеми старухами в деревне в войну вступишь.

И на самом деле. Бабка Татьяна опять пришла с петухом.

— Это не петух. Избил чисто всех. Меня бьет, кур бьет, кошку бьет... Убирай куда знаешь. Не прими такого петуха.

Что делать? Еще раз сходил и обменял петуха.

Несу его и чуть не со слезами всю дорогу глажу по голове и спрашиваю:

— Будь, Петя, умницей, успокой ты старуху! Наведи ты у ней в курятнике порядок, измучила она меня.

Петух тот, видимо, удался, бабка больше не бывала с жалобами».

Кто-нибудь вспомнит Багрова внука с его птицами и с его удочками и скажет: ведь детей всегда к этому тянуло, что же здесь нового, особенного, характерного для нашего времени, для нашей общественной жизни?

¹ «Фотография и чувство природы». Сборник «Насущные задачи современного естествознания», публичные речи К. Тимирязева, 1908.

Такие интересы у детей были всегда — это верно; но (если оставить в стороне какие-то редкостные, исключительные случаи) какова была судьба этих интересов в эксплуататорском обществе?

В книге помещен рассказ Мартина Андерсен Нексе «Белая птица (из воспоминаний детства)»: Больной, в коросте, ребенок. Вернувшийся с работы отец, по обыкновению, пьяный, принес под своей парусиновой курткой замерзшую, полумертвую от голода чайку. Она могла стоять только на одной ноге — другая повисла, как тряпка. Птицу занесло в тавань известкового завода на льдине, лапы у нее вмерзли в лед. Отец освободил ее, забравшись на другую льдину и разбив лед деревянным башмаком. На обратном пути пришлось из-за этой птицы податься в прилическим. «Чайка стояла на одной ноге у меня на груди, прикрыв глаза. В тот вечер мы гордились отцом, мы его все любили... Вивонницей торжества, была белая птица... Мать купила: она подбросила еще пару кусков торфа, и пламя, ярче вспыхнув в отверстие дверцы, озарило чайку. Долго лежал я, разглядывая птицу, пока она не растаяла в моих глазах». А на другой день «белого вестника счастья» зарезали, зажарили, съели; опять началось будня.

Простой и глубокий смысл грустного рассказа, тяжесть, безвыходность этого быта, в противопоставлении с той «интересной жизнью» (название одного из разделов рецензируемой книги), о которой рассказывают наши авторы, жизнью, ~~Бременем~~, разумеется, трудной и все-таки интересной, — все это так наглядно и так ясно, что вряд ли здесь требуются какие-нибудь дополнительные пояснения.

Я вспомнил бы еще ~~описания~~ Генрика Цилле: гордской двор-колодец, уютное одионое цветка, выросшее под одним из окон; дети, такие, которые могли вырасти на этом дворе; кто-то кричит в окошко: «Убирайтесь прочь от цветка, ступайте играть на мусорном ящике».

Та многосторонняя талантливость и тот артистизм, которые обнаруживаются в детской игре, — подавляются, уродуются прозаической практикой буржуазного общества; чтобы стать взрослым, деловым человеком, претендующим на какое-то место в этом обществе, нужно забыть эти детские увлечения. Ты рисовал, ты писал стихи, ты любил птиц и зверей, засушивал цветы, собирал красивые камни — выкинь все это из головы.

Наоборот, книга уральских школьников рассказывает о том, какие дороги раскрываются перед этой детской талантливостью у нас, как она входит во взрослую работу и взрослую культуру, как сбывается, как реализуется то, чем увлекался, во что играл ребенок.

Советский воздух во всех этих очерках, рассказах и стихотворениях. В них урок советского патриотизма. Перед нами то, за что сражается наш народ: страна и ее дети.

Книга была подготовлена к печати до войны. Авторы обещают: «о том, как и чем уральские ребята в Великой Отечественной войне помогали Родине громить врага, мы расскажем в следующей книге». Пожелаем им успеха в этой большой и серьезной работе и благодарим составителя и авторов за книгу, которую они нам дали.

II. «У КАМЫ»

Некоторые стихотворения Б. Михайлова в природе были в свое время непонятны и плохие. Они действительно неплохие, но не больше того.

Разная бывает лирика природы. Даже слово не сводится к тому, чтобы кратко «свежо» изобразить ливень или ручей (как это Б. Михайлов умеет делать, и иногда выходит в самом деле свежо и приятно). Все зависит от того, что берет с собой человек, направляясь в природу, насколько он внутренне богат. Мы знаем лирику природы глубокого, напряженного: «описание природы» — а в чем (то отчетливо выражаемое, то только подразумеваемое) большое общественное переживание, большой общественный смысл. Именно такой была эта лирика у наших классиков нашей поэзии; именно это общественное переживание придает такую значительность тютчевской лирике природы (ср. у Добролюбова противопоставление Тютчева «Ягу»; из западноевропейских поэтов хочется, в этой связи, вспомнить в первую очередь Шелли: «Облако», «Жаворонка» и особенно, «Оду к западному ветру»).

Мы, разумеется, не собираемся рецензировать рецензируемую книгу с классическими примерами. Мы вспомнили о них только ввиду возражения тем критикам, которые в любую лирику природы готовы видеть сомнительным.

Во всяком случае, мы в ~~этом~~ стихотворении же берет с собой» Б. Михайлов:

В лесу рассыпаются
Чиста ключевая вода!
Немного в дорогу беру,
Но кружка со мною всегда.

~~Пью, от жары~~ — не томится!
Родник, разливаясь у ног,
Под солнцем журчит, шаркая,
Ему моя грусть невдомек.

И в другом стихотворении:

Окно открыто. «Можно ли напиться?»
«Водички дам! Водичка хорошая».
Люблю в жару попить водички,
И ковш беру из первого ведра.

На вопрос о том, с какими чувствами и какими пристрастиями идет в природу тот человек, о котором рассказывает Б. Михайлов, придется, пожалуй, ответить: «от жары хочется попить, когда жарко. Ничего другого сказать, пожалуй, не скажешь. Небогато».

И вдруг обнаруживаешь черты не то узости, самолюбования — хотя, казалось бы, любоваться тут нечем; в том же стихотворении, откуда взяты цитированные строки («Пью. От жары не томится»):

Иду по дороге, по камням,
А ты попрошу подвезти.
Я часто тебя покидаю,
За это меня ты прости.

Дорога, дорога, дорога,
И редкая тень под листвою.
Изъезжено, кажется, много,
Исхожено больше того.

Устану ли? Нет, не устану.
Вернусь, а ты встретишь одна,
Обнимешь и скажешь: — Как рано
Пошла на висках седина.

Какая дорога? Вот такая любительски-прогулочная, почти ликвидовая? Отчего седина — от этих прогулок? Седина еще заработать нужно, и она не так зарабатывается.

Для перехода к военной тематике такая лирика, конечно, не подготовка. И мы не будем удивляться тому, что военная тема трактуется т. Михайловым внешне и поверхностно.

Эх, землянка узкая...
Эх, винтовка русская...

И в другом стихотворении:

Эх, суровые невзгоды,
Ветер огневой!

Нужно иметь слух и нужно чувствовать, насколько это «эх» не к месту в таких строчках:

Эх, не ляжет Родина
Немцу под сапог.

Из стихов 1941—1944 годов лучше других «Рассказ старого шахтера», тут в реальном,

жизнейском общении с людьми намечается кой-то путь к более серьезному и ответст. ному пониманию жизни.

А та узость, о которой упоминалось выше, заметно выступает в стихотворении «О любви»

Тихо. Не зашелчут, не зови,
Спрятанные сумерками явы.
Стали мы черствы и молчаливы:
Некогда подумать о любви!
Все ж она живет, не умерла,
Травкою под камнем изнывая,
Отвали его, и, узнавая
Свет и небо, встанет, как была.

Любовь здесь, очевидно, понимается, как нечто сугубо личное и интимное, отделенное от всего сверхличного и не интимного. А нам кажется, что так отделять одно от другого неправильно. И о «некогда» сказано неправильно. Когда люди совершают подвиги, разве они об этом не думают? Только не в полном смысле, который придается человеческому чувству в стихах Михайлова. Любовь «травкою под камнем изнывает» и ждет, что кто-то другой этот камень отвалит. Мы думаем по-другому, мы думаем, что именно она отваливает камень и горы сдвигает с места. Нельзя понять героиню нашего времени если так понимать человеческие чувства, как понимает их т. Михайлов.

Книга не радует. Тов. Михайлову нужно расти и расти, обогащаться мыслью, чувством, жизненным опытом. Без этого роста и обогащения будут писаться, может быть, «высшие» и «приятные» стихи но не будет поэзии.

Содержание

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ — <i>Лето, стихи</i>	
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Стихотворения	
АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ — <i>Это было в Ленинграде, повесть</i>	
И. Ч. ШИШКОВ — <i>Емельян Пугачев, историческое повествование (Продолжение)</i>	
А. МИРИ ЗАРЬЯН — <i>Завещание Кира, Отчий дом, стихи</i>	

ПУБЛИЦИСТИКА

В. Г. ГАРАНТИШЕК НЕЧАСЕК — Чешская литература и Россия

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

И. И. ИСАКОВСКИЙ — <i>О советской песне</i>	
В. П. ПЕРЦОВ — <i>Повесть о Сталинграде</i>	
В. П. РЕНТАЛЬ — <i>Книжка о Бессарабии</i>	
А. А. АЛЕКСАНДРОВ — <i>По советским изданиям:</i>	
I. <i>Сказки и дети</i>	
II. <i>У Камы</i>	

НЕОБХОДИМЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ № 7—8

Стран.	Колонка	Строка	Напечатано	Следует
101	левая	1 св.	закормам	закормам
133	левая	28 св.	1901 г.	

Составители: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАЛФЕРОВ, И. В. Ш. ШИШКОВ,
С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь)

1964 г.
1 год издания. Тираж 25.000 экз. Подписано к печати 15/11/64 г.
12 Печ. листов 8,25 Уч.-авт. л. 16,6 В печ. л. 20540 зн. Цена 5 руб. Зав. № 119
типография треста «Полиграфкнига» О.ИЗ при С.Н.К. РСФСР, Москва, Пятницкий пер. 13.